

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Легко быть смелым,
если разрешили.
А как же мы в былые



годы жили?
Пила Россия.
И пила страна.
И в том беда ее,
а не вина.
Я написал тогда
стихи
«Россия пьет».
Их напечатал
только
мой блокнот.
Андрей Демутьев

Пройдя полжизни
задом наперед,
Смотрю в окно,
не умствуя.
И разом
Я вижу там
Вселенную и Разум.
Вселенная
содержит перелёт
Каких-то птиц и будку
«Пиво-воды»,
и разум, обладающий
свободой,
В ней пиво пьет.



Анализ процесса Демьянюка неумо-
лимо склоняет к выводу, что тради-
ционно соблюдаемые современной
уголовной юрис-
пруденцией гаран-
тии недопущения
ошибок в деле Де-
мьянюка либо пол-
ностью отсутство-
вали, либо в значи-
тельной степени
были преданы
пренебрежению.

Пейшенс Т.
Хантворт



Сомнений больше не было. Горел
фаланстер. Он внезапно со всей от-
четливостью припомнил то, чего
раньше не хотел
замечать, — хму-
рость мужиков, их
многозначитель-
ное хмыканье;
бревна, которые
вдруг падали чуть
не на голову бари-
ну, когда он ходил
надзирать работы.

Валерий
Шубинский



Тут нет закона.
Одни столбы
на мути законной
да галки.

Метафизика
больна.
В ничьей земле лежит
ее анатом,
Над ним,
неисчерпаема,
как атом,
Действительность
меняет имена.

Ольга Рожанская

Кисть краснеет, большой палец от-
гибается, и из пятнышка засохшей
крови у ногтя вылезает продолго-
ватая, витиевато
сужающаяся к кон-
чику почка. До-
бравшись до раз-
мера бобового
стручка, она про-
рывается, и корич-
невая, прозрачная
виноградинка вы-
лупляется из нее.

Леонид
Межибовский



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Сидней Хук · Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём

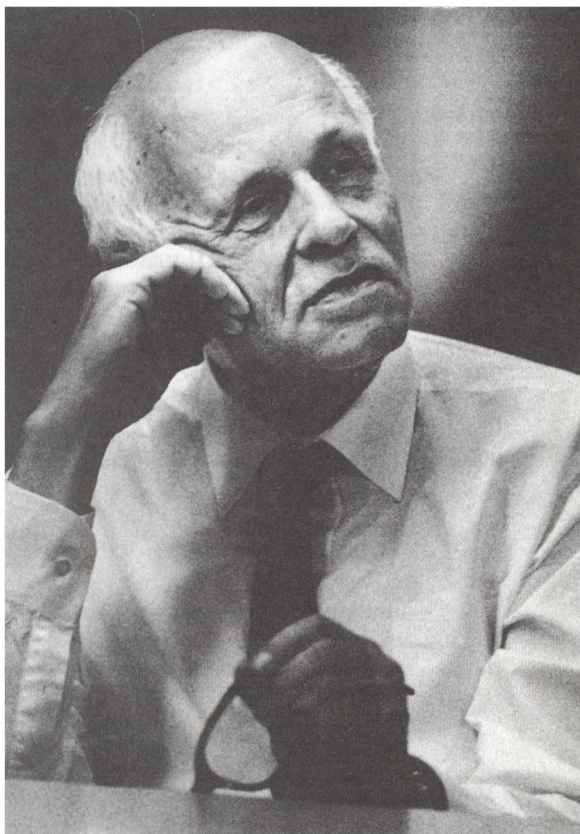
Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D. Lozansky 3001 Veazey Terrace, N. W. Washington, DC 20008, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова





14 декабря 1989 года в Москве скончался
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

62

1990

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Publié par l'Association des Amis
de la revue «Continent»

11bis rue Lauriston
75116 PARIS, France

Directeur de la publication — Vladimir MAXIMOV

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский — Представление. (Стихи). — Демократия! (Одноактная пьеса)	7
Ольга Рожанская — Поэт и муза (и другие стихотворения)	43
Валерий Шубинский — Фонтан слез. Рассказ	51
Владимир Ханан — Четыре стихотворения	85
А. Турбин — Каким быть ДСУ?	91
 <i>СТИХИ ИЗ РОССИИ</i>	
Ольга Киреенко, Виктор Ян Шан-ли, Евгений Бачурин, Андрей Дементьев	116
Леонид Межибовский — Рассказы	134
Бахыт Кенжеев — Из стихотворений 1989 года	149
Владимир Максимов — Кукла, или Конь Калигулы. Фантазия на троих в двух картинах	156
 РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Дора Штурман — Вокруг «Белых одежд»	173
 ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Ян Тесарж — Отсечь «приводные ремни». (Из чешского опыта 1969 года)	195
 ЗАПАД — ВОСТОК	
Пейшенс Т. Хантворт — Дело Ивана Демьянюка. Комментарий юриста	211
 ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Виктор Каган — Запад и права человека	231
 ИСТОКИ	
Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье	239
 РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Евгений Звягин — Что такое «богемные христиане»?	253
 ИСКУССТВО	
Дмитрий Хмельницкий — Картинки с выставки	257

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Мария Шнеерсон** — Художественный мир
писателя и писатель в миру 273

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Софья Марголина** Размышления об одном
варианте. (Стихотворение Осипа Мандельштама
«За гремучую доблесть грядущих веков...») 299

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА 317

- НАША ПОЧТА 319

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Иосиф Косинский** — Кентавр в качестве
идеала 339

- Леонид Межибовский** — Камера хранит 343

- Александр Златкин** — Надежда 349

- Василий Тележинский** — Рассматривая фон,
рассматривая «Оттиск» 353

- КОРОТКО О КНИГАХ 365

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 373

НАША АНКЕТА

- Никакой мелодрамы. Беседа с **Иосифом**
Бродским. Ведет журналист **Виталий**
Амурский 381

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Михаилу Николаеву

Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо
тела.

Многоточие шинели. Вместо мозга — запятая.
Вместо горла — темный вечер. Вместо буркал — знак
деленья.

Вот и вышел человек, представитель населенья.

Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.

«А почем та радиола?»
«Кто такой Савонарола?»
«Вероятно, сокращенье».
«Где сортир, прошу прощенья?»

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах —
папироса.

В чистом поле мчится скорый с одиноким
пассажиром.

И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника
жиром

оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.

Прячась в логово свое
волки воют «Ё-мое».

«Жизнь — она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».

натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
размышляя о причале, по волнам плывет «Аврора»,
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.

Ой ты, участь корабля:
скажешь «пли!» — ответят «бля!»

«Сочетался с нею браком».
«Все равно поставлю раком».
«Эх, Цусима-Хиросима!
Жить совсем невыносимо».

Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут
в рощах.

Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.
Лучший вид на этот город — если сесть
в бомбардировщик.

Глянь — набрякшие, как вата из нескромная
ложбины,

размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.
Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.

Ветер свищет. Выпь кричит.
Дятел ворону стучит.

«Говорят, открылся Пленум».
«Врезал ей меж глаз поленом».
«Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый».

Входит Сталин с Джугашвили, между ними вышла
ссора.

Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка... Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.
И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.
Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.

Друг-кунак вонзает клык
в недоеденный шашлык.

«Ты смотрел Дерсу Узала?»
«Я тебе не всё сказала».

«Раз чучмек, то верит в Будду».
«Сукой будешь?» «Сукой буду».

Входит с криком Заграница, с запрещенным
полушарьем
и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен.
Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем,
придирается к закону, кипятится из-за пошлин,
воскликая: «Как живете!» И смущают глянцем плоти
Рафаэль с Буонаротти — ни черта на обороте.
Пролетарии всех стран
маршируют в ресторан.

«В этих шкарах ты как янки».
«Я сломал ее по пьянке».
«Был всю жизнь простым рабочим».
«Между прочим, все мы дрович».

Входят Мысли О Грядущем, в гимнастерках
цвета хаки.
Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядам.
Они пляшут и танцуют: «Мы вояки-забияки!
Русский с немцем лягут рядом; например,
под Сталинградом».
И, как вдовы Матрёны, глухо воют циклотроны.
В Министерстве Обороны громко каркают вороны.
Входишь в спальню — вот-те на:
на подушке — ордена.

«Где яйцо, там — сковородка».
«Говорят, что скоро водка
снова будет по рублю».
«Мам, я папу не люблю».

Входит некто православный, говорит: «Теперь я —
главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю.

Хуже порчи и лишая — мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадьё

джаза».

И лобзают образа
с плачем жертвы обреза...

«Мне — бифштекс по-режиссерски».
«Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,
исхудав от лучевой».

Входят Мысли О Минувшем, все одеты как попало,
с предпочтением к чернобурым. На классической

латыни

и вполголоса по-русски произносят: «Всё пропало,
а) фокстрот под абажуром, черно-белые святыни;
б) икра, севрюга, жито; в) красавицыны бели.

Но — не хватит алфавита. И младенец в колыбели,
слыша „баюшки-баю“,
отвечает: „мать твою!“».

«Влез рукой в шахну, знакомясь».
«Подмахну — и в Сочи». «Помесь
лейкоцита с антрацитом
называется Коцитом».

Входят строем пионеры, кто — с моделью из фанеры,
кто — с написанным вручную содержательным

доносом.

С того света, как химеры, палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им, задорным и курносым,
что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу

к тятё

выгнать тятю из двуспальной, где их сделали,

кровати.

Что попишешь? Молодежь.
Не задушишь, не убьешь.

«Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду».
«Я с ним рядом срать не сяду».

«А моя, как та мадонна,
не желает без гондона».

Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале,
в котором
взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча
рожи.

Пылкий мэтр с воображеньем, распаленным
гренадером,
только робкого десятку, рвет когтями бархат ложи.
Дождь идет. Собака лает. Свесясь с печки, дрянь
косая

с голым задом донимает инвалида, гвоздь кусая:

«Инвалид, а инвалид.
У меня внутри болит».

«Ляжем в гроб, хоть час не пробил!»
«Это — сука или кобель?»
«Склока следствия с причиной
прекращается с кончиной».

Входит Мусор с криком: «Хватит!» Прокурор скулу
квадратит.

Дверь в пещеру гражданина не нуждается
в «сезаме».

То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку
катит,
обливаясь щедрым недрам в масть кристальными
слезами.

И за смертною чертою, лунным светом залитою,
челюсть с фиксой золотою блещет вечной
мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил
тех, кто головы сложил.

«Хата есть, да лень тащиться».
«Я не блядь, а крановщица».
«Жизнь возникла как привычка
раньше куры и яичка».

Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!
Взвиться соколом под купол! Сократиться

в аскарида!

Либо всем, включая кукол, языком взбивая пену,
хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида.
Бо, пространство экономя, как отлиться в форму

массе,

кроме кладбища и кроме черной очереди к кассе?

Эх, даешь простор степной
без реакции цепной!

«Дайте срок без приговора!»

«Кто кричит: „Держите вора!“?»

«Рисовала член в тетради».

«Отпустите, Христа ради».

Входит Вечер в Настоящем, дом у чорта на куличках.

Скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего

убранства.

Исключив сердцебиенье — этот лепет я в кавычках —
ощущенье, будто вычтен Лобачевский

из пространства.

Ропот листьев цвета денег, комариный ровный

зуммер.

Глаз не в силах увеличить шесть-на-девять тех,

кто умер,

кто пророс густой травой.

Впрочем, это не впервой.

«От любви бывают дети.

Ты теперь один на свете.

Помнишь песню, что, бывало,

я в потемках напевала?

Это — кошка, это — мышка.

Это — лагерь, это — вышка.

Это — время тихой сапой

убивает маму с папой».

ДЕМОКРАТИЯ!

(Одноактная пьеса)

Действующие лица:

БАЗИЛЬ МОДЕСТОВИЧ — Глава государства
ПЕТРОВИЧ — министр внутренних дел и юстиции
ГУСТАВ АДОЛЬФОВИЧ — министр финансов
ЦЕЦИЛИЯ — министр культуры
МАТИЛЬДА — секретарша

Примечание: реплики не маркированы. Актерам и режиссеру следует самим определять, кто произносит что, исходя из логики происходящего.

Кабинет Главы небольшого социалистического государства.

На стенах — портреты основоположников.

Интерьер — апофеоз скуки, оживляемый только чучелом — в полный рост — медведя, в чью сторону персонажи кивают или поглядывают всякий раз, когда употребляется местоимение «они».

Можно еще прибавить олени рога.

Высокие окна, в стиле Регента, затянутые белыми гардинами. Сквозь гардины просвечивают шпили лютеранских кирх.

Длинный стол заседаний, в центре которого на блюде алеет разрезанный арбуз.

Рабочий стол Главы государства: столпотворение телефонов.

Полдень.

Трое мужчин среднего возраста и одна женщина — неопределенного — поглощают пищу.

Ничего рябчик, а?

Рябчик что надо.

Главное, подлива.

Подлива замечательная. Это в ней чего? икра?

Ага, подлива с икрой. Астраханская, что ли?

Гурьевская.

Гурьев-Гурьев-Гурьев... Это где у них? В Европе или в Азии?

На Урале. Пиво у них там хорошее. Молодое. Ноги вяжет, особенно летом.

Рябчик тоже, между прочим, из Сальских степей.

Одно слово — Евразия.

Лучше — Азеопа. Учитывая соотношение.

Н-да. Пельмени сибирские.

Спички шведские.

Духи французские.

Сыр голландский.

Табачок турецкий.

Болгарский: Джебел.

А-а, то же самое.

Овчарка немецкая.

Право римское.

Все заграничное.

Н-да. Конвой вологодский.

Наручники, между прочим, американские. Из Питтс-бурга, в Пенсильвании.

Не может быть!

Честное слово.

Ему, Цецилия Марковна, можно верить. Все-таки — министр юстиции.

Не может быть!

Да хотите покажу? У меня всегда с собой, в портфеле. Вот полюбуйтесь.

Ой, не надо.

Да не бойтесь. Они ж американские.

Покажи, Петрович.

Вот тут написано: «майд ин ЮэСэЙ».

У них, значит, тоже.

А вы как думали. Одно слово — капитализм. У нас таких не делают. Валюту тратить приходится. Ну, это такое дело — не жалко.

Не жалко — чего?

Да валюты. Хотя — кусаются. 20 долларов штука. Это если в розницу. Но даже если оптом и со скидкой, все равно кусаются.

Со скидкой?

Ага. 20 процентов. Как дружественной державе.

Ему можно верить, Цецилия. Все-таки — министр финансов.

Тогда уж лучше бы духи. Все-таки французские. Да они и польскими обойдутся.

Опять же название красивое — Бычь Може. Быть Может по-нашему. А то — Коти.

Коти — тоже красиво.

К тому же, французы скидки не дают, Цецилия. Да и не напасешься духов на всех-то. Даже польских. Духи, они же знаете, как идут. Флакон за неделю. Тут никакой валюты не напасешься. Наручники экономичней. С точки зрения финансовой дисциплины то есть.

Да, народ у нас смирный. Он и веревкой обойдется. Базиль Модестович, можно мне арбуза?

Давай. Арбуз тоже, между прочим, астраханский.

Ничего себе смирный. Я вчера демонстрацию виде-ла.

Это которая за независимость?

За экологию.

Ну, это то же самое.

Не скажите. Все-таки защита окружающей среды.

Независимость — тоже защита. От той же, между прочим, среды.

Ну, это ты загнул, Петрович.

Это, Базиль Модестович, не я. Это демонстранты.

Да какие они демонстранты. Так, толпа.

Э, не говорите. Все-таки народ, масса.

А масса всегда в форму толпы отливается. Или — очереди.

Ну да: площади или улицы. Других-то вариантов нет.

Это надо записать!

Да чего там. И так записывается. *(Кивает на медведя)*

А чего тогда они всегда к Дворцу идут? Кино, что ли, посмотрелись?

А того и идут, что площадь перед Дворцом. А к площади улица ведет. Пока по улице идут, они — очередь. А когда на площадь выходят — толпа. Оба варианта и получаются. Даже выбирать не надо.

Есть, конечно, и третий: во Дворец войти. Как в кино.

Да кто ж их сюда пустит? Да и сами не полезут. Все-таки — не 17-й год.

Даже если и войдут — не поместятся. Кино все-таки черно-белое было — тебе ли не знать, Цецилия?

Так-то так, Базиль Модестович, да ведь вечером цвет скрадывается. Не говоря — ночью. Искусство вечером всегда сильнее влияет. Лебединое-то озеро всегда вечером и дают. А кино так вообще в темноте смотрят.

Так-то оно так, Цецилия, да на демонстрацию вечером не ходят. На демонстрацию днем идут.

Ну да, чтоб западным корреспондентам снимать легче было. Особенно если на видео.

Бехер из Японии сообщает, что они там выпуск новой сверхчувствительной пленки освоили. Так что, того гляди, западный корреспондент себя Эйзенштейном почувствует.

Ну уж и Эйзенштейном. Как там Бехер-то, между прочим. Тоскует?

Тоскует, Базиль Модестович. Рыбу сырую, говорит, жрать заставляют. Одно слово — японцы. Можно мне арбуза?

Давай, Петрович.

Жаль, у нас не растут.

Что поделаешь, приходится расплачиваться за географическое положение. Все-таки — Европа.

И Берия так считал. Я, когда назначали сюда, — упирался. А он говорит: ты что, Петрович? Все-таки Европа.

Да, шесть часов поездом — и Чехословакия.

Либо — Венгрия.

Не говоря — самолетом.

Стук в дверь, входит Секретарша.

Ну, чего тебе, Матильда?

Базиль Модестович, вас к телефону.

Сколько раз тебе повторять, Матильда: в обеденный перерыв — никого.

Да, но это Москва вызывает.

Кто?

Не знаю, Базиль Модестович. Какой-то с акцентом.

Густав Адольфович, ты кончил? Подойди к телефону, а? Поговори с ним с акцентом.

С каким, Базиль Модестович?

А хоть с каким. С курляндским.

Г.А. идет к столу, нерешительно смотрит на телефоны.

Какой? Красный, наверно?

А то какой же.

Г.А. поднимает трубку.

Яа? Кафарит Гюстаф Атольфофитч... Пошалюста? Найн, йа йест финанс-министр. Найн, он апетаает. Исфините? Как ви скасаль? Ах, отин момент... *(Кладет трубку, идет к столу)* Базиль Модестович, он орет. Обозвал меня — Цецилия Марковна, прикройте ушки — пыздорванцем. Акцент, по-моему, грузинский.

Базиль Модестович вскакивает.

Иосиф Виссарио... тьфу, не может быть. *(Вытирает вспотевший лоб)* Петрович, подойди, если кончил, а? Привыкли в любое место звонить! Хамство все-таки, не говоря о суверенитете.

П. идет к столу, берет трубку.

Алё. Ян Петерс говорит. Иван Петрович по-вашему. Министр юстиции. Ага, внутренних дел по-вашему. Чего? Бехер — иностранных, и он в Японии. А?.. Да не разоряйся ты, сказано: обедает... Кончай, говорю, лаяться. Охолони. Ну да, с ним, со мной и с министром культуры. Ага, тамбовская она. Что? Да, лучшие ноги в Восточной Европе. *(Смотрит в сторону Цецилии, подмигивает)* Чего? Ха-ха-ха. Никогда, говоришь, их вместе не видел? Хахаха... Орел! Да ладно там — срочно. Срочно, срочно. А где Сам-то? А, на пресс-конференции. Чего ж сразу не сказал. А, ну понятно. Ладно, щас попробую. *(Кладет трубку, возвращается к столу)* Это Чучмекишвили,

Базиль Модестович, министр иностранных дел ихний. Вас просит. Вообще-то, по протоколу, не имеет права. Вас к телефону только Сам звать может. Министр только министру звонит, да и то — соответствующему. Но, видать, там что-то экстренное. К тому же, Бехер в Японии. Может, подойдете.

Езус Мария, не дадут человеку поест нормально. Ладно, скажи: сейчас подойду. Вот только арбуза себе отрежу.

П. идет к телефону, берет трубку.

Алё? Шас подойдет, хотя вообще не по протоколу. Да, даже нам. Хотя, по-моему, ты тоже раньше внутренних дел был, в Тифлисе-то. Ага, вишь, я помню. При тебе же педерастирование тех, которые не колются, и ввели. Ну да, мужики у вас на Кавказе гордые. Не, я — рязанский. Что? Нет, бронетанковую кончал, в Харькове. Не, я на местной женат. Чего? Тянет, конечно, да как тут выберешься, даже в отпуск не получается. По ихнему-то? — ничего, гуторю. Ага... Идет он, идет. А где Сам-то? На пресс-конференции? А, ну понятно. Ну вот он, идет. Ага, ну бывай. Вот он, даю.

П. передает трубку Б.М. и возвращается к столу.

Б.М. вытирает салфеткой губы.

Я вас слушаю. Да, это я. Добрый день. Да-да, спасибо. Ничего-ничего, мы уже кончили. Ну что вы! Да, так я вас слушаю. *(Пауза)* Майн Готт! Когда? *(Пауза)* А посол знает? Нет, не наш, а ваш. Да нет, чтоб он танки не вызвал. Ну да, по старой памяти. Не может быть! Не может быть. И суверенитет тоже. Не может быть! Нет-нет, отчего же? Да-да, записываю. Записываю-записываю. Да не волнуйтесь: я — старый подпольщик. А! Как вы сказали? А, окей. Окей, окей, окей. Все будет окей. Ага, вечером Самому позвоню. Около десяти, окей. А не позновато? А, из китайской жизни. Нет, если «Мадам Баттерфляй», то раньше, чем «Турандот». Да, в худшем случае прямо в ложу. Номер-то? Номер есть. Главное — по-

сла известите: горячий он. Ну-ну, спасибо. Все будет окей. Ага. Всего доброго. Окей, окей. *(Вешает трубку)* Окей. Густав Адольфыч, отрежь мне арбуза, а? *(Пауза)* Значит, так. Господа *(при этом слове все вздрагивают)*. Господа министры. Я должен сообщить вам *(Петрович и Цецилия понимающе улыбаются)* приятное известие. У нас учреждена демократия!

Всеобщее остоленение.

То есть?

Что вы имеете в виду?

Как учреждена?

Какая демократия? Социалистическая? Народная?

Может быть, буржуазная?

Нового типа?

Все заграничное.

Когда мы научимся употреблять существительные без прилагательных?

Это смотря какое существительное.

И смотря какое прилагательное.

Да ладно вам. Будет умничать. Что случилось-то, Базиль Модестович?

Да ничего, Петрович. Грузин этот, который у них министр иностранный, говорит, что полчаса назад Сам на пресс-конференции заявил, что у нас демократия вводится. *(Кричит)* Матильда! *(Входит Матильда)* Матильда, никаких телефонных звонков. Впредь до особого распоряжения.

А если из Москвы?

Из Москвы? Ладно — только если Сам. Поняла?

Да, товарищ Генсек.

И еще — если главнокомандующий. Ясно?

Ясно, товарищ Генсек.

И не называй меня больше Генсеком. Поняла? Президентом можно.

Да, товарищ Президент.

И лучше без товарища. Диковато звучит. Вроде как товарищ прокурора! Давай лучше господином. Понятно?

Понятно, господин Генсек. То есть товарищ Президент. То есть товарищ Генсек. То есть господин Президент.

Вот так-то.

Матильда выходит, расстегивая на ходу блузку.

Что же это теперь будет, Базиль Модестович?

Да не бойтесь вы, Цецилия Марковна. Обойдется.

Да, обойдется. Вот вы уже господин Президент, а мы кто?

Кто был ничем, тот станет всем.

Не спешим ли мы, Базиль Модестович?

Да нет, как раз наоборот, Петрович. Через полчаса тут пресса будет. Подготовиться надо. Оно, конечно, мало ли что там Сам брякнет, но куда они, туда и мы. Все-таки общая граница, не говоря — идеалы.

Не говоря — культура. С ее министра и начиная.

Да как вы, Густав Адольфович, смеете!

Так что ты тоже, Петрович, господин министр теперь. Про Густава и говорить не приходится. Ну и Цецилия.

Я — госпожа министр?

Отчего же нет, Цецилия?

Да звучит как-то — того... Ни то, ни сё. В юбке я все-таки.

Это мы заметили.

Привыкнешь, Цецилия... Было у тебя с ним?

О чем это вы, Базиль Модестович?

С грузином этим, с Чучмекишвили?

Да что вы, Базиль Модестович! Да как вы могли подумать.

Краснеешь, Цецилия. А еще мхатовка бывшая. А еще молочные ванны ежедневные... И чего ты в нем нашла? Ну, понимаю, политбюрошные ихние. Это, так сказать, наш интернациональный долг. Но этот...

Так ведь грузин он, Базиль Модестович. Для здоровья она. У них ведь...

Замолчите, Петрович!

...эта вещь — сунешь в ведро: вода кипит.

Петрович!!!

Ах, Цецилия, Цецилия. Бойка однако. С другой стороны, конечно, кто мы? — дряхлеющий Запад. Ладно, не красней — флаг напоминаешь, не говоря — занавес. Значит, так: Густав Адольфович, за дело! Мы что тут раньше-то производили?

Раньше — чего?

Перемены К Лучшему. До исторического материализма и индустриализации.

А, до 45-го. Бекон, Базиль Модестович. Мы беконом всю Англию кормили.

Ну, бекона теперь в Англии своего навалом.

Угря копченого. Мы копченым угрем всю Европу снабжали. Даже Италию. У итальянского поэта одного стихи такие есть. «Угорь, сирена / Балтийского моря...» Консервная фабрика была. 16 сортов угря выпускала.

Ага, и у французов блюдо такое было: угорь по-бургундски. С красным вином делается.

Ну да, потому что рыба.

Рыба вообще с белым идет.

Да что вы понимаете! Его три дня сушить надо. Прибиваешь его к стенке гвоздем — под жабры — и сушишь.

Вялишь, что ли?

Да нет. Чтоб не извивался. Живучий он ужасно, угорь этот. Даже через три дня извивается. Разрежешь его, бывало, и в кастрюлю. А он всё извивается. Виляет...

Как на допросе.

...даже в кастрюле виляет. То есть извивается. И тогда его — красным вином.

Я и говорю — рыба. Крови в нем нет. Как кровянку пустишь, тут они вилять и перестают.

Потому, видать, и добычу прекратили. Бургундского на всех не напасешься.

Да, и чтоб дурной пример не подавал. Живучий больно. На национальный символ тянул. Вернее — на идеал. Дескать — как ни режь, а я...

Холоднокровные потому что.

Я и говорю. Аберрация возникает. Как вообще с идеалами. В нас крови пять литров и вся — горячая. А идеал, он — всегда холодный. В результате — несовместимость.

Горячего с холодным?

Реального с идеальным?

Материализма с идеализмом.

Ну да, гремучая смесь.

И отсюда — кровоупускание.

По-нашему: кровопролитие.

Чтоб охладить?

Да — горячие головы?

Не, наоборот. Идеалы подкрасить.

Придать им человеческий облик.

Вроде того. Снять напряжение. Так они лучше сохраняются.

Кто?

Идеалы. Особенно — в камере.

Ни дать ни взять консервы.

Ага, в собственном соусе. Особенно — когда в сознание приходишь.

Макабр.

...на нарах калачиком. Угорь и есть. На экспорт только не годится.

Но на национальный символ вполне.

Макабр.

Сколько, Густав Адольфыч, говоришь, сортов было?

Шестнадцать. Шестнадцать сортов фабрика выпускала. Копченого, маринованного, в масле, в собственном соусе — тоже.

А теперь?

Теперь — радиоприемники и будильники. Хорошие, между прочим, будильники: с малиновым звоном. Приемники только длинно- и средневолновые. Короткие волны вон он (*кивает на Петровича*) запретил.

Такое уж у нас море, Базиль Модестович. Все-таки — жестяного цвета. Я считаю: преемственность надо сохранять.

Небось, и свободные выборы?

И свободные выборы. Без свободных выборов концессий нам не видать.

А вывод союзных войск?

Без этого тоже. Как своих ушей. Демократия вводится — танки выводятся. Вечером позвоню Самому — спрошу.

Но это же поворот на 180 градусов. За такое раньше...

Да хоть на 360, Петрович. Тебе что, назад в Рязань захотелось? Пресса здесь через полчаса будет, господа министры. Они вон Самого так допекли, что он демократию нам учредил. А нам — что учреждать, если надавят? Потомка Витольда Великого, что ли, из Воркуты выписывать и на престол сажать? Нам же даже и легче: нам свои войска — не то что Самому — ниоткуда выводить не надо. И вообще: увеличим призыв в армию. Национальная гордость удовлетворяется плюс лишних ртов меньше вполчину. Не говоря — голов на демонстрации. Тебе же легче, Петрович. Правильно я говорю, Густав Адольфыч? В общем, кто — за?

А нацменьшинства — как?

Ты (*подозрительно*) кого это в виду имеешь, а?

Известно кого.

Цецилия кивает в сторону медведя.

Базиль Модестович, он нас в виду имеет!

Не горячись, Петрович. В конце концов, он о себе заботится. Все-таки — немец, хотя и восточный. Правильно я говорю, Густав Адольфыч?

Ияа.

Зондеркоманда!

Бехер тоже.

Ну, его-то хоть в плен взяли. К тому же — в 41-м.

Я сам сдался.

Ну да, в 45-м.

Зондеркоманда.

Вообще-то — Мертвая Голова. Ваффен СС.

Кто старое помянет, тому глаз вон.

А кто забудет — тому оба. Мертвая Голова и есть.

Бехер тоже. А еще министр иностранный.

Именно поэтому. Иностранный министр должен быть иностранцем. Это только логично. Правильно я говорю, Густав Адольфыч?

Натюрлих, то есть — конечно.

Ах, у нас все министры иностранные. Кроме здравоохранения. Хотя он — душка.

Цецилия! Впрочем, потом разберемся. Сейчас некогда. Значит, так, с наименьшими повременим. Концессии от них не зависят. В общем, Густав, ты за или не за?

За я, за! Всегда считал: займы и концессии — выход из положения. Займы особенно. Чего косишься, Петрович? Сам говоришь: валюта нужна!

Из какого положения?! Какой выход?! Контра ты, Густав, недорезанная. А еще «финанс-министр»! Ты Польшу вспомни. Займы возвращать надо, да еще с процентами. Капиталист — он тебе зачем, думаешь, в долг дает? Угря разводить? Дудки! Чтоб в долг тебя вогнуть. Для него — должник самая малина и есть. Особенно — если целая страна. Потому и капитализм, что в долг берут. Если б у них в долг не брали, их бы и не было.

Ну да. Мы у них в долг 50 лет не брали, и они все еще есть, а вот нас скоро совсем не будет.

Одни мы потому что. Социалистический лагерь. За то они нас и не любят, что в долг не берем. Бизнес подрываем. И чем нас больше будет...

Ну да! Читали. Народно-освободительные движения и так далее. Да хоть и в долгу! Все лучше, чем когда жрать нечего. Я имею в виду: населению.

Оппортунист ты беспринципный, Густав. Аграрий. Земля в тебе говорит. Кулацкий сынок. Националист.

Да брось ты, Петрович, обзывать. Жрать, говорю, нечего. Индивидуально-то принципы соблюдать просто. Можно упереться и в долг не брать. С твоим пайком осо-

бенно. А другим — как, без пайка которые? Их не жалко? Не тебе, конечно. Тебе, как вон и Косолапому (*кивает в сторону медведя*), все равно, а у нас прирост населения нулевой. На огурцах да на капусте вареной не поразмножаешься. Вон и рыба вся в Швецию ушла. Нет, лучше уж займы.

Базиль Модестович, слышишь? Он союзную державу оскорбляет. (*Кивает в сторону медведя*) Министр финансов, а почему капиталист в социалистическое государство вкладывает — не соображает.

Они вкладывают, Петрович, потому что у нас рабсила надежная. Забастовок, например, как у них, нет. Для них в нас вкладывать — как на вдове жениться. Надежное дело. Мне Бехер сказывал: у банка, который в страну вкладывает, репутация солидной. Уважают больше, не говоря — доверяют. Рыба действительно вся в Швецию ушла. Я Самому жаловался; он обещал туда субмарину послать для выяснения. Пока никаких результатов. С другой стороны, он тоже займов набрал. Куда они, Петрович, туда и мы. Все-таки — общая граница. На сколько градусов ни поворачивайся. В общем, кто — за?

Нас же только четверо, Базиль Модестович. Двадцати двух еще министров не хватает. Совет Министров...

Совет Министров, Совет Министров! Ты еще, Густав Адольфыч, «Политбюро» скажи. Да нам колоссально повезло, что их нет. За полчаса с такой толпой и Сталин бы не управился. Один здравоохранения — баран еённый — чего стоит. Двадцати двух, он говорит, не хватает! Да как раз наоборот: может, нас слишком много для демократии? Ну, как голоса поровну разделятся? Даже если у меня — право решающего?

Если хотите, я могу выйти, Базиль Модестович.

Сиди, Цецилия. У нас один выход — голосовать единоголосно. Мы же — мозг государства. Министр финансов, внутренних дел, культуры и я. Хотя — стоп! Лучше, если один против. Кто-то должен быть против, иначе не

демократия. Густав, хочешь быть против? Или нет, финансы — это серьезно. Петрович — ты?

Я, значит, несерьезно? Внутренние дела и юстиция!

Прости, не подумал. Цецилия? Хотя министр культуры в оппозиции — получается некрасиво. Тогда — тогда — тогда это буду я. Даже и лучше. «Генсек под давлением министров соглашается...»

Да вы же уже не Генсек. Вы же только что себя...

Еще лучше! Президент под давлением министров соглашается... Звучит как демократия. Большинство и меньшинство.

Да какая это демократия? Больше — переворот сверху. Особенно без двадцати-то двух министров. Раньше за такое...

Петро-о-о-вич! Пресса здесь через полчаса будет! Ах ты, Боже ты мой, Петрович, да демократия и есть переворот сверху. Дворцовый. В наших условиях, во всяком случае. Переворот снизу будет что? Диктатура пролетариата. Ее тебе захотелось? Через полчаса, если не договоримся, она и наступит. Ты хоть о себе — если тебе на меня наплевать — подумай. Не говоря о Густаве и Цецилии!

Ты, значит, Базиль Модестович, обо мне заботишься?

Да обо всех нас, Петрович! Мы ж — мозг государства.

Нервный центр скорее.

Пусть нервный центр. О нем кто позаботится? Тело, что ли? Главное, что остальные — тело. А мы — мозг. Мозг — он первый сигнал получает, демократия или не демократия. Кто рябчика с подливой и арбуз хакает? Мозг! Потому что на остальных рябчика и арбуза этого не хватило бы. На тридцать рыл никакой арбуз не делится, не говоря — рябчик. На четыре — да. То же самое — история.

Теоретически арбуз на 30 частей разделить можно. Может, неравных, но — можно.

Что-то не замечал я, Густав, чтобы у тебя что-нибудь на тридцать частей делилось, ровных или неровных.

А-а-а мы время теряем! История здесь происходит! В мозгу! Голосуем мы или не голосуем?

Чего голосовать-то, если уж ты сам все решил.

Да в вашем мозгу она и происходит.

Уже, можно сказать, произошла.

Для проформы голосовать неинтересно.

Да, мы это уже делали.

Какая ж это демократия!

Особенно если вы — против.

Лучше уж единогласно.

Или пусть мы трое против, а вы — за.

Да, так спокойней.

Хотя и не демократия.

Ага. Тирания.

Но спокойней.

Действительно, Базиль Модестович. Что, если они всё это нарочно затеяли?

Что это?

Ну, поворот на сто восемьдесят градусов. Чтоб снова нас потом завоевать.

История повторяется — Маркс сказал.

Да, подвох.

Потому войска и выведут.

Так что лучше мы сейчас в оппозиции.

На них нельзя надеяться.

А то получится, что мы — не лояльны.

А вы — лояльны.

Нам — по шапке, а вы опять сухим из воды.

Пусть уж лучше тирания.

Хотя бы и левая.

Потому что если вас на Восток отзовут, то вас на пенсию посадят, а нас — куда?

На счетах щелкать.

Отделом кадров заведовать.

Об удобрениях статью переводить.

В Улан-Баторе.

Или в Караганде.

В лучшем случае.

Езус Мария! Езус Мария. И это — мозг нации! Ведь пресса здесь через двадцать минут будет! Если мы не проголосуем, вы в Караганде этой уже послезавтра окажетесь. Ну — через неделю. Потому что, если тирания — пусть и левая, — пресса взбесится. А пресса взбесится — Сам взбесится. Даже если и не взбесится — получается: он тиранию поощряет. Да просто посол ихний взбесится и танки вызовет. И нас всех к чертовой матери свергнут — при поддержке народных масс. Это и будет Эйзенштейн. Дошло?

Пауза.

Доходит, Базиль Модестович.

То-то, Петрович. И пусть я буду в меньшинстве и против. Какая же это демократия, сам говоришь, без оппозиции. Я и буду оппозиция. Лояльная то есть. Потому что оппозиции доверять нельзя, а мне — можно. То есть я сам себе и доверяю. То есть во главе оппозиции должен стоять человек, которому доверяешь, как самому себе. Чтобы ее контролировать. А такого человека нет. Я бы даже бабу свою не назначил.

Ага, баба — та же оппозиция. Доверять еще можно, но контролировать нельзя.

Доверять тоже. Нет такого человека, которому доверять можно. Такой человек только я. Поэтому я должен быть оппозиция. Доходит?

Доходит.

Уже дошло.

Почти.

Я — меньшинство, вы — большинство. Я уступаю. Это и есть демократия — когда меньшинство уступает.

Я думала: это когда меньшинство и большинство равными правами обладают.

И когда танки выводятся.

Или когда меньшинство большинством становится.

В результате голосования.

Ага, и наоборот.

То есть когда меньшинство большинству подчиняется.

Или наоборот. Как в нашем случае.

Да какое ж Базиль Модестович меньшинство? Большинство он.

Субъективно — да, но объективно — нет.

Как раз наоборот: объективно да, а субъективно нет.

Все дело, кто — субъект.

Кто объект-то, оно известно.

Да на то и голосование, чтоб объективное от субъективного отделить!

А если получится, что он меньшинство, а мы большинство?

И слава Богу, Цецилия.

А если наоборот?

Восторжествует субъективизм.

А если единогласно?

Тогда переголосуем. Так, Базиль Модестович?

Угу. Только побыстрее!

Даже если он в меньшинстве окажется?

Да прекрати ты сентиментальничать, Цецилия!

В самом деле... даже неловко как-то...

В худшем случае, Цецилия, представь следующее: он — меньшинство, которое о судьбе большинства заботится. Обо всех нас, не о себе одном.

Тебя включая.

И все равно мне не нравится. Какой-то наш Базиль Модестович меньшевик получается.

Да говорят же тебе, Цецилия: не 17-й год.

Да. Не говоря о том, что тогда большинство о меньшинстве позаботилось.

Точнее, большевики меньшевиков победили.

Что значит — точнее? Что ты этим, Густав, хочешь сказать?

Что победа большинства над меньшинством и большевиков над меньшевиками — не одно и то же. Ровно наоборот, между прочим. В процентном отношении, во всяком случае. По отношению к нации большевики ничтожным меньшинством были.

Ну, заговорил! Базиль Модестович, слышь, что Густав несет? Да тебе за такие речи... Где мой портфель?

А, пусть его, Петрович. Пятнадцать минут осталось. Ну-с, господа министры, — голосуем?

Да как же, Базиль Модестович! Это ж чистая контрреволюция. Его брать надо!

Нельзя его брать, Петрович: он нам для кворума нужен.

Трое за, один против — это победа большинства. Двое против одного — драка в подворотне. Без Густава получается не голосование, а черт-те что. Позор в глазах мировой общественности. Сначала, говорю, проголосовать надо.

А после? После мы его берем, да?

А после, Петрович, если большинство победит — Густава брать не за что. Потому что после будет демократия. Что до демократии было контрреволюцией, при демократии — славное прошлое.

Тогда я, Базиль Модестович, против демократии! Кого же мне при ней брать? Себя, что ли?

Потому-то ты и должен голосовать за. То есть прикнудить к большинству. Насчет кого брать при демократии — не волнуйся: этого добра всегда хватает. Масса людей будет против, в оппозиции. С меня можешь и начать. Хотя я — оппозиция лояльная.

Да как ты можешь, Базиль Модестович, говорить такое? Да чтоб я...

Тебе же легче, Петрович, будет: при демократии, я имею в виду. Работы меньше. Сначала тех, кто за демократию, выпустишь. Это тебе на несколько лет хватит. Потом тех, которые против, хватать — это ж совсем не бей лежачего. Старая гвардия и т.д. — да ты их и знаешь лучше.

Все равно против. Потому что выпущенные во Дворец попрут, и нам — кранты.

Потому-то ты и должен голосовать за. Чего им во Дворец переть, если мы — за. За то, за что и они. Если во Дворце меньшинство большинству подчиняется? Ведь

это их голубая мечта и есть. Да и не выпускай ты их всех сразу. По одному.

Все равно попрут. Одно слово — демонстрация.

Да, от слова «демон».

Я думала — «монстр».

«Демос», Цецилия, «демос». Народ по-нашему.

Неважно. Их голубая мечта — демократия повальная. У них насчет демократии — полное единогласие.

Темные они, Петрович, — оттого что слишком долго в оппозиции были. А мы им разъясним. Верно, Цецилия? Доверим это дело министерству культуры?

Я записываю, Базиль Модестович.

Да и так записывается, Цецилия. *(Кивает в сторону медведя)* Не сейчас. Времени нет. Ну, в общем, кинь им эту идею, что единогласие — мать диктатуры.

Вернее, дитя.

Дитя всегда в мать. Главное, чтоб поняли, что за что боролись, на то и напоролись... Что цель достигнута, как говорил кайзер. Больше бороться не с кем. Во всяком случае, не с нами.

А за торжество справедливости?

Да, они же — за торжество справедливости. За идеалы.

Да, они против нас. Мы же — правительство.

Когда проголосуем, они будут за. Торжество справедливости выражается, Густав, в тех же формах, что и торжество несправедливости. То есть кончается тем же: правительством.

Ой, записываю.

Давай, давай, а то Топтыгин уже вспотел, поди.

Входит Матильда, на ней одна комбинация.

Господин Президент, там пресса собралась, вас требуют.

Скажи, обеденный перерыв еще не кончился. Поняла?

Поняла, господин Президент. Ой, а правда, что у нас демократия будет?

Там будет видно. Через пятнадцать минут. Зарплата, во всяком случае, у тебя не изменится. Рабочие часы и телефон тоже. Ступай.

Матильда выходит,
стаскивая с себя на ходу комбинацию.

Чего это она?

В чем дело, Петрович?

Ну это... одета легко. Не лето ведь.

Может, у нее с телохранителем что?

Ревнуешь, Цецилия?

Да как вы можете, Базиль Модестович?

Или состояние экономики нашей символизирует.

Или — отход от догмы.

Скорее — последнее.

Все-таки — представляет народ.

Трудящихся.

Но не пролетариат.

Крестьянство тогда.

Н-да, кровь с молоком.

Либо — интеллигенцию.

Нашлась интеллигентка! (*Взрываясь*) У-у-у, бесстыжая! Да в старые добрые времена я бы ее даже форингов доить в валютный бар не пустила! Она же и языков не знает! Только наш да местный. Интеллигентка! Я ей билет на Лебединое бесплатный предлагала. Так не пошла! Я бы ее... я бы ее... она даже Чехова не читала. Че-хо-ва!

Ревнуешь, Цецилия. Матильда в партии с 17 лет. Дочь проверенных товарищей. В театр не пошла оттого, что работала сверхурочно. Доклад о сельскохозяйственной политике готовила.

Я и говорю — кровь с молоком.

Тем более — лебединая песнь. Говоря о сельском хозяйстве.

Одно слово — Чайковский.

Сен-Санс!

Молодец, Цецилия.

Да где там Сен-Сансу до Чайковского! У них даже и коллективизации не было.

У лебеда, Петрович, шея — главное.

Ноги. Вон хоть Цецилию спросить.

Ну-с, господа, министры, — голосуем?

Голосуем, голосуем.

А у нас, Базиль Модестович, зарплата изменится?

Да, рискуем все-таки.

Работа вредная.

На атомной электростанции за это даже молочко дают.

Ну, диета, я думаю, у нас не изменится. Из Варшавского пакта и из СЭВа мы выходить не собираемся. Сам всегда считал, что меню у союзников должно быть общее. Залог, так сказать, взаимопонимания.

Ну да, пищеварение как общий знаменатель.

Верней — пищеварения этого итог.

Густав! При дамах!

Насчет зарплаты это вы Густава спрашивайте. Что до молочка, то все-таки не советую. Коровы все-таки местные. От ихнего вымени Гейгер больше балдеет, чем от самого реактора. Верно, Петрович?

Да. Молочко это за вредность — сплошная тавтология.

Если только, конечно, Сам в Общий Рынок не вступит. Чего бы я ему, конечно, желал; а то у них там уже мыла нет. Да и на кой ему всю дорогу с пятилетним планом себе голову морочить? Пусть его в Брюсселе составляют. У них и компьютеры получше.

То-то он про общий европейский дом распелся.

С другой стороны, они там в Евразии только раз в месяц в баню ходят. Спросите хоть Цецилию. Или лучше Петровича.

Да ты, Густав, молчи! Тебя каким мылом ни три, контуру не отмоешь.

Вот-вот, патриот разговорился. По Рязани своей скучать изволите, Петрович? Ностальжи де ла бу, иначе не назовешь. Сколько лет тут живете, а все в хлев тянет. Хотя, казалось бы, на местной женат.

Ты бабу мою, Густав, не трожь. Она хоть местная, да полукровка. У местных ваших клитора днем с огнем не сыщешь. Рыбы!

Петрович! При дамах!

Оттого мужик тут в педрильство и кидается. Или на демонстрацию. Часто не знаешь, какую статью ему шить.

Базиль Модестович, он наше национальное достоинство оскорбляет!

Господа министры, господа министры, не ссорьтесь.

Я всегда считал, что иностранец не должен быть министром внутренних дел. Иностранцев — пожалуйста, а внутренних — нет.

Контра ты, Густав, нераскаянная. Не говоря — клитор дело внутреннее. Ну, да откуда тебе знать-то с твоей местной.

Да как вы смеее!

Да как вам, Петрович, не стыдно!

Господа, господа, не ссорьтесь.

Министру внутренних дел стыд неизвестен, Цецилия. Министр внутренних дел — он как гинеколог.

Я всегда считал, что иностранцу нельзя...

Господа министры, господа министры, успокойтесь. Во-первых, Густав, ты неправ. Министр внутренних дел...

И юстиции.

...и юстиции должен быть иностранцем. Гарантия большей объективности, и никакого nepoтизма. Вспомним римское право. Плюс всегда лучше, если угнетатель — а закон всегда угнетатель — чужеземец. Лучше проклинать чужеземца, чем соотечественника. На этом все империи держатся. Вспомним цезарей, в худшем случае Сталина. Своего рода психотерапия. Здоровей ненавидеть чужого, чем своего.

Ой, записываю.

Но я не могу голосовать вместе с человеком, который оскорбляет достоинство моей нации!

Если бы он был свой, то да, тогда бы ты, Густав, не мог. Но поскольку он иностранец — можешь. Ибо он ве-

дет себя естественно. Более того: благодаря его естественности, и ты ведешь себя естественно, приходя в бешенство. Что есть естественная реакция. Это, значит, во-первых. Во-вторых, гинекологические его наблюдения если и оскорбительны для достоинства нации, то только для ее половины. Вон даже Цецилия не реагирует.

Ей что. У нее четверо детей. Скуластенькие. Или потому что знает, что Петрович преувеличивает. То есть преуменьшает.

Погорячился он, Базиль Модестович.

Погорячился ты, Петрович?

Ага.

В любом случае достоинство нации не размером этой вещи определяется. И в любом случае мы должны заботиться о достоинстве всей нации. Поэтому прибавим еще восстановление флага и гимна, которые до Перемены К Лучшему существовали, а? Ты как на это, Петрович?

Я чего, я за. Хотя чего он символизировал — никогда не мог добиться. Даже пыткой.

Ну-ка, Цецилия, по твоей части.

Серые полосы на белом поле. Символизируют местный климат. Погоду вообще.

На телепомехи похоже.

А я на американский флаг грешил.

Или на кошачью спинку.

Значит, восстанавливаем Цвета Национальной Погоды. Гимн?

Гимн, Базиль Модестович, был не Бог весть что. Можно было петь на мотив или «О май дарлинг Клементайн», или «Кукарачи». Как «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес».

Н-да, Сам может фыркнуть.

Не понять.

Понять неправильно.

Может, ихний обработать?

Не будем впадать в крайности.

Десять же минут осталось.

Как насчет «Тэйк файв» Брубека? Холодно и энергично.

Жив он: авторские платить — казны не хватит.

Может, что-нибудь народное?

«Слезы рыбацки»?

Заунывно.

«Где мой милый»?

Сам не поймет.

Ясно, что в Сибири.

Может, «Милый край, не расстанусь с тобой»?

Это лучше.

Гораздо лучше.

Музыка и слова народные.

Никакой идеологии.

Я это для себя всегда на мотив «Маленького цветка» Сиднея Беше пою.

Ну-ка, ну-ка.

Цецилия поет.

«Милый край, не расстанусь с тобой / Ни за что никогда не покину тебя». Ой, я сегодня не в голосе.

Недурно, недурно.

Совсем недурно.

Так голосуем, господа министры? *(Напевает)* Милый край, не расстанусь с тобой, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум-пум.

Голосуем, голосуем.

Исторический момент.

Великое — пум-пум-пум-пум-пум-пум — событие.

Поворот на 180 градусов.

Демократия.

И волки сыты, и овцы целы.

И волки, и овцы.

Пум-пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум-пум.

Кто за — поднимите руки.

А чего поднимать — и так все ясно.

А того, что — *(кивает в сторону медведя)* записывается. И на видео — тоже. Сам, может, даже по прямой трансляции смотрит. Хотя он на пресс-конференции.

Да наверно уже кончилась.

У него кончилась, у нас — начинается. Через две минуты. Ну, кто — за? *(Голосуют)* Так: три — за. Кто против? *(Поднимает руку)* Так: я — против. Большинство голосов — пум-пум-пум-пум-пум-пум, тьфу, привязалось...

Базиль Модестович, это же национальный гимн!

Ах, да, простите... резолюция о переходе к демократической форме правления и экономической реформе — пум-пум-пум-тьфу!.. принята. Подписи. *(Расписывается)* Густав! *(Протягивает бумагу Густаву, тот расписывается)* Петрович! *(Протягивает бумагу Петровичу, тот расписывается)* Передай Цецилии. *(Петрович передает документ Цецилии, та расписывается)* Матильда! Эй, Матильда!

Входит Матильда в чем мать родила.

Переведи это на местный язык.

Когда?

Сейчас.

Ой, так там же пресса.

Подождут. Обеденный перерыв еще не кончился.

Но они в двери лезут.

Обождут. Не 17-й год. Переводи. Это — что за маскарад? Вернее — наоборот.

Так ведь поворот на 180 градусов.

Так то на 180, Матильда, а ты на все 360 хватила.

Это чтоб бесповоротность символизировать, господин Президент: что после демократии дальше ничего не будет. И что демократия естественна.

Прессе это должно понравиться. Хороший кадр: рядом с Топтыгиным. *(Распускает галстук)* Переводи.

Ой, щас. *(Убегает)*

Петрович, сигару хочешь? Фидель прислал.

Ага... Кровь, говорю, с молоком.

Держи. Ну, про молоко мы всё знаем. Гейгер зашкаливает.

Про кровь тоже.

Что да, то да.

Даже неинтересно.

Интересно, что это в Матильде больше демократии радуется: кровь или молочко?

И — и. Густав, сигару? Впрочем, что ж это я? Ты ж некурящий. Тебе, Цецилия, тоже не предлагаю. Кончай арбуз.

Я бы взял одну. Ради такого случая.

Какого «такого»? Держи.

Ну, демократия все-таки.

В Густаве это, конечно, кровь.

Ну, я бы ради этого, Густав, не стал развязывать. Тем более — если кровь.

А ради чего вы б развязали, Базиль Модестович?

Да ни ради чего. Я ведь, Густав, заметь, и не завязывал. Да вот хоть тот же Фидель: мне присылает, а Самому перестал.

Ему хорошо: у него остров.

Одни идеалы общие. Можно и не бриться (*кивает на портреты*).

Базиль Модестович, а если спросят, кто нас уполномочил? Ведь без парламента, без всего...

Не спросят, Цецилия. Им в голову не придет.

А если все-таки.

Скажи: история.

Но они же дотошные. Настырные и дотошные.

Ну и?

Ведь ни парламента, ни конституции. Только телефонный звонок...

История и есть. Телефон, Цецилия, орудие истории. Личной, во всяком случае. Иногда — национальной. Особенно — если записывается. Тогда личного от национального не отличить. История, скажи, устала от конституции.

Тем более, что все — одинаковые.

Да, и теперь ей больше телефон нравится.

Не говоря — телик.

Да, новые формы. Все-таки: переход от тирании к демократии.

Ага, требует новых форм. Вызывает их к жизни.

Так что скажи: история. Или скажи: революция. Для них — одно и то же.

А они скажут: где народные массы, стрельба, баррикады?

А ты скажи, что — не в кино. Что революция народ всегда врасплох застает. И что если им так охота кровопролитие увидеть, я могу вызвать войска и открыть по ним огонь. Надоели!

Ой!

Не ойкай: не спросят. Да, Петрович, — позвони, пожалуйста, Бехеру в Японию. Скажи ему, чтоб не волновался, когда газеты увидит. Особенно — Матильду голую. А то он, чего доброго, с перепугу политического убежища попросит и правительство в изгнании создаст.

Да, старой закалки человек. Жаль, не было его сегодня.

Ага, мне тоже: рябчик был замечательный, не говоря — подлива.

Да, теперь следующая партия еще когда будет.

Будет — да только немецкая.

Или американская.

Скорее немецкая. Как часть займа.

Арбузы, поди, совсем кончатся.

Не кончатся, Густав, не волнуйся, Сам не допустит.

Да, все-таки символическое растение.

Овощ.

Все равно. Главное — снаружи зеленый, внутри — красный.

Да, цвет надежды и страсти.

Не говоря — пролитой крови.

Какая разница.

Только, пока не разрежешь, не знаешь — зрелый или незрелый.

Да. И потом — семечки.

Подумаешь, семечки! Семечки всегда можно выплюнуть.

Что да, то да.

Послушай, Петрович. Тебе что больше нравится: прошлое или будущее?

Не знаю, Базиль Модестович, не думал. Раньше будущее. Теперь, думаю, прошлое. Все-таки я — внутренних дел.

А тебе, Густав?

Как когда. Когда будущее, когда прошлое.

Настоящее, значит. Тебя, Цецилия, не спрашиваю. С тобой все ясно. Сплошная надежда и страсть.

Женщина, Базиль Модестович, всегда будущим интересуется. Все-таки материнский инстинкт.

Усложняешь, Цецилия. Причем тут материнский? Просто инстинкт.

Какой вы все-таки грубый, Петрович!

Если я и грубый, то оттого, что неохота на старости лет немецкий учить. Или английский. Правильно я говорю, Базиль Модестыч?

Что да, то да.

А тебе самому, Базиль Модестыч, что больше нравится?

Сам не знаю, Петрович. Думаю, все-таки прошлое. В большинстве оно... Кофе будешь?

З а н а в е с

ПОЭТ И МУЗА

Муза: Вставай! Горит заря свободы,
Из-под ворот рычат народы,
И Слово Вольное с метлой
Сияет бляхой.

Поэт: Дверь прикрой.

Муза: Лежит, как сноп. Опух от сплина.
Не хочешь тоги гражданина —
Так запахни хотя б халат,
Ведь срам глядеть! А был крылат!
Взмывал и реял, круг сужая,
И камнем падал, в жилу жая.
Аль нет? Ну, полно дуться! Встань!

Поэт: Аминь, рассыпся! Сгинь. Отстань.

Муза: Что, совесть? Нравственное чувство?
Причастность к боли вне стиха?
Вот то-то вижу: в банках пусто,
Лишь сыра корочка суха.
Мне, думал, дела нет до боли?
А я-то, дура, пачку соли
Тащила, раны посыпать.
Ну, встанешь, неслух?

Поэт: Встану, мать.

* * *

Переварив неоднородный демос,
Москва потеет, как Максвеллов демон,
Блюдущий ток, как Цербер на цепи.
Тут все сошлось, и смыслы кратны π .
А в ночь одну воздвигнутый Петрополь
Трепещет весь, как годовалый тополь,
И по ветру бесплотный сеет пух.
Как дым, редет иноземный дух.

Ей-богу, это слишком в местном духе:
Надрать наядам мраморные уши
И выставить на финское болото
Под мокрый снег, без байковых кюлотов.

Но сердце моему милей Москва,
Где явный пир и тайная чума.

* * *

Возьмите, врата, князи ваша...

Пс.23

А какого вы, ребятушки, роду-племени?

— От Бориса, от Глеба,
От овчинки в полнеба,
От дуги, коромысла,
Да от галльского смысла,
От Нерчинска, от Шилки,
Где кушают без вилки.

А что вы, ребятушки, на земле делали?

— Пили да ели,
В бумагу смотрели,
По пятым, двадцатым
Считали зарплату,
И научились при помощи электричества
Переводить качество в количество.

А чего вам, ребятушки, от Меня надобно?

— Чтоб пожар выше ели,
Да портки не сгорели,
Чтоб к чинам бы — да души,
А на вербе — да груши,
Временам бы — да связи,
Воротам бы — да князи.

* * *

Под гул времен и труб водопроводных
Мы ищем смысл в поправке прав народных,
Нам Бог сулил сидеть в своих отсеках,
В окно следить за сменой генсеков.

А говорят, когда-то что-то было.
(Прошел еврей, восставленный из мыла.)
Бумага не горит, но обомнется.
А ты, пиит, скажи, когда начнется.

Безлюдно. Розно. Пасмурно. Сугубо.
Мы сами ль есть, иль снимся Сологубу?
Век, подражая шахматной фигуре,
Всё ходит буквой «Г» и просит бури.

* * *

«...Душа обязана трудиться»

Н.Заболоцкий

От работы у души
Выпрут жилы, хороши.
Выйдут солнце и луна,
Только ахнут: Вот те на!
Мир лежит, как сытый кот,
К Богу выставив живот,
Искры бегают по ём.
Однава, братва, живем!
Пошабаши́м! — перекур? —
Меж субстанций много дур.
Аз да буки им вдолбить —
Легче в пыль чугу́н дробить.
.

Кто сулил нам труд да глад,
Верно, нынче Сам не рад.

* * *

Империя погибла от того,
Что конюх был с похмелья не тово,
И chère матан не ездила к соседке,
Зато читала Надсона в беседке.
И, повздыхав, простить решила Глашку,
Наказанную утром за промашку.

Теперь, когда нам ясно из последствий,
Что в этом мире нет причин без следствий,
Напомню вам, что мальчики в тот вечер
Под яблоней устроили род вече
И клятву дали: не учить супины,
Доколе гнет на них рабочий спины.

И будет все красно, куда ни плюнь;
И к февралю прилепится июнь;
И, сунув Киреевского в котомки,
Рванут в Царьград Олеговы потомки;
И новый человек положит хер
На старый мир, как на фиту и ерь.

* * *

Пахарь просто идет за плугом,
И граф Лев Толстой идет за плугом,
Солнце идет по кругу.

Пахарь лицо утирает локтем,
Пахнет от пахаря потом и дегтем,
И граф лицо утирает локтем,
И солнце лицо утирает локтем
И потом пахнет.

Пахарь ногами мыслете пишет,
Граф для народа рассказы пишет,
Солнце всё пашет.

В ПОЕЗДЕ

Пройдя полжизни задом наперёд,
Смотрю в окно, не умствуя. И разом
Я вижу там Вселенную и Разум.
Вселенная содержит перелёт
Каких-то птиц и будку «Пиво-воды»,
И разум, обладающий свободой,
В ней пиво пьёт.

Тут нет закона.
Одни столбы на мути законной
Да галки. Метафизика больна.
В ничьей земле лежит ее анатом,
Над ним, неисчерпаема, как атом,
Действительность меняет имена.

Еще одна
Снялась с болота стая, букву «Ще»
Изобразив под низким небосводом.
Дверь лязгнула зубами (что вообще
Тут отличает мертвую природу),
В явлениях отражая суть вещей.

О чем бишь я?
В России дверь есть форма субъектива.
Но кто сказал, что нужно быть счастливым?
И пузырится пена бытия.
И оседает, требуя долива.

* * *

Под кремлевской звездой
Всё идет чередой:
После снега — капли.
Хочешь — куй, хочешь — пой,
А на месте не стой,
Инда пятки вспотели!

Ванька видел царя.
(Антр ну говоря,
Со спины и в отрывках.)
Куды прешь, больно скор!
Кому — «хол», кому — «гор»,
А кому — по загривку.

Ай, Москва ты, Москва!
Ты без ног голова,
А по стогнам — плакаты.
Такова селява,
Волком воют слова,
Потеряв денотаты.

* * *

Сыр Ниневия месит
И новых ягнят купает,
Белеет в ночи известкой
И жиром бараньим тает.

Жирны ее менялы,
Брови сурьмят ее девы,
И не могут руки правой
Они отличить от левой.

А ты пожалел растение! —
Господь говорит Ионе.
— А мне без тебя зачали
Мальчика в царском доме
И девочку — на соломе.

* * *

Не ходи, душа, за дворянина!
У дворянина — звон да весело!
А как стучалась к нему Матерь Божия
— Застыдился он от товарищей.

Не ходи, душа, за учителя!
У учителя — свечка за полночь,
А как стучалась к нему Матерь Божия
— Пожалел для Единой множества.

Ступай, душа, за горького пьяницу!
Как лежал он в канаве придорожная,
Проходила мимо мать Божия
— Сама над ним заплакала.

* * *

Нам до рта не достала чаша,
Но она, без сомнения, наша,
И других претендентов нет.
Петербургский размер кандалный
Тут подходит — он всех печальней
И прольет на многое свет.

Это веку, как соль, полезно,
И тем более — что железный,
Что часов ни с кем не сверял.
Так начнем — с коридора мехмата,
Там, где желтая кофта фата;
Как пристала она когда-то
Нашим отроческим угрям!

Нам, взошедшему поколенью,
Обещали ясное зренье,
Говорили: увидишь сам.
Там, где Блок прикладывал ухо
К рельсу, к веку, к Святому Духу,
Мы отвергли возможности слуха
И хотели верить глазам.

И не лязг водосточной флейты,
Не заоблачный голос чей-то,
Нам другой достался поэт —

На ночную лампу летевший,
В десятиваттном аду сгоревший,
Как оса, летевший на свет.

* * *

Что Рождество? — Один саднящий звук!
Стада заблудших душ бредут на юг,
Их путь петлист среди жилой степи,
Где бензовоз, сорвавшийся с цепи
Гекатиной, кровавый снег лизал
И жаркую утробу отверзал.

Там смрад и темень. Утонув, стопа
Не сыщет тверди. В морду бьет крупа.
Но вьюга осиянна изнутри.
И пастыри. И ясли. И цари.

Усталый раб с коробкою сардин,
Ты — видимой вселенной господин;
Иди, — что стал? — не спрашивай куда.
И Дева. И Младенец. И звезда.

РОЖАНСКАЯ Ольга родилась в Москве, училась на механико-математическом факультете МГУ, откуда ее дважды исключали за распространение «Хроники текущих событий» и участие в демонстрациях. Окончила Калининский университет, занимается математикой. Замужем, мать двух детей. Пишет стихи с 15 лет, печатается впервые.

ФОНТАН СЛЕЗ

Еще был сентябрь, еще не было полдня, и плоский солнечный треугольник покачивался в комнатке третьей по счету в левом флигеле — библиотеке, оживляя теплую пыль и оставляя в черной тени батальон золоченых, ненавистных переплетов. И неподвижная чернь пугала, и свет стал злым, гнилым в глазах невыспавшейся Темиры. Здесь до Бонапартова разора, до бегства в Нижний и горестного возвращения, когда содержали балет, живали танцорки (Танька — Темира — была еще девчонка), а в правом — танцоры. Представления же бывали на брошенном теперь дворе, где было полоумное хозяйство старого барина, Петра Ивановича, где тиран и скончал свою непутевую жизнь от руки старого Еремея.

Треугольник — цельно-желтый посередине, рябоватый по краям, где свет процеживался сквозь кружевные занавески, — качнулся, задев дубовый столик, и Танька легко заметила книжицу, которую велено было взять. Но уходить не хотелось; за стеной был скучный шум — визг метлы перемежался топотом смещаемой мебели — флигель прибирали, со дня на день ждали Ивана Александровича — сероглазого офицера с веселыми усиками и ятагановскими толстоватыми надбровьями. В окне зашелестело, твякнуло, двором пробежала собака, потом другая, потом парень в тулупе — и Темира кожей почувствовала, как там, верно, холодно, на лужах с утра корка; и посмотрела на самое себя в окно, и увидела себя, почти слившуюся с крашеной стеной, и полюбила, и пожалела свою тяжелую и гибкую, цыганскую, медленно разворачивавшуюся и вдруг взрывающуюся свирепой звездной путаницей красоту, в одночасье давшую ей как бы власть над тем, что в окрестных деревнях звали, озираясь, «срамным дворцом».

Так бы и застыла она здесь — Бог весть, как надолго, но какая-то совсем быстрая, шуршащая тень качну-

лась в окне, и вдруг потемневшая Тамара медленно, как бы еще наблюдая за собой со двора и оттого стараясь не выдать гнева, вышла из комнаты, но через минуту вернулась, вспомнив о книге, и, покачиваясь, улыбаясь, пошла через девичью половину, через флигель, который освобождали для барского сына, в главную, неопределенного назначения комнату, делившую дом надвое и превращавшуюся по необходимости в обеденный зал или гостиную и по прихоти — в господскую спальню. Там в сафьяновом креслице дремал шестидесятилетний барин, окруженный своими гуриями, порхавшими в легком отдалении — в ожидании повелителя каприза. В своих лиловых и зеленых платицах они были очень милы — все: и Темира, и юная Марфинька — Милёна, и Дашенька, и Лиза, и сошли бы за барышень — только большие руки и цепкий, хитрый взгляд выдавали рабынь.

Во сне он был каким-то мягковатым и лаковым, округлым, и в своем теплом красном халате напоминал пасхальное яичко. Александр Ятаганов никогда не был похож даже на, говорят, сильно прикрашенный портрет родителя, висевший в барском кабинете, но в особенные минуты его брови сходились, а в зрачках рождался родовой адский огонек — отблеск страсти, получивший иное, чем у отца, направление. Этот-то огонек, пугавший юных, стыдливых, плечистых, голубоглазых девок, был слаще сладости Темире — она и не заметила, как хищноватое счастье власти над барином перешло в нежную привязанность. Не ей достались его лучшие годы, когда единственный оставшийся в живых наследник буйно и в одночасье проживал буйно и в одночасье нажитое имение. Вот когда облысевший и чуть потускневший Александр Петрович вернулся из Нижнего в свою полусторевшую вотчину, когда отстроили заново дом, мало-помалу возобновили — пусть в сокращенном виде — прежнюю жизнь, — тогда и была взята на барский двор седьмая дочь Никифора Грубиянова, переименованная — по тутошнему обычаю — в Темиру. Всем еще распоряжалась Анна Федотовна, солдатка, давняя подруга Ята-

ганова, мать его не без труда узаконенных детей. Расплывшаяся, как квашня, она была неколебима в своем положении, безраздельно владея душой невенчанного супруга — пусть три-четыре ею же подобранных девки (остальные предназначались для дворни) услаждали его плоть. Девкины дети сплавлялись в деревню. По смерти Анны Федотовны Темира заняла ее место, но могущество прежней полухозяйки осталось для нее недоступным — может, из-за бездетности (единственного младенца Танька выкинула), может, и барин уже был не тот...

Она знала всё — до полушепота, до скрипа. Ее обязанностью было провожать в спальню-гостиную нынешнюю господскую наложницу, как некогда ее проводжала Анна Федотовна. А ведь она еще и молода (ей было двадцать восемь), и хороша! Она слышала всё: девки спали в горенке рядом с залом, ей же был огорожен особый угол, с выходящей в зал дверцей. Говорят, что в прежние годы в зале собирались все девки разом и все дворовые люди и под барским началом затевалось такое, что и посейчас знающие люди прикусывают язык. Танька этого не застала, но тогдашнюю дневную жизнь — с музыкой, богатой охотой, кормленными рысаками, важными гостями в крестах — помнила хорошо.

Бурные забавы сменились после войны тихими семейственными вечерами за книгой. Анна Федотовна грамоте не знала, а девок бывший барчёнкин мусью учил по-французски. Из Таньки вышла отменная чтица; она мельком заглянула в книжицу, которую нынче предстояло читать; книжка была совсем небольшая, стихами — хорошо, легко будет читать, новенькая.

2

Петр Иванович Ятаганов, человек неизвестного происхождения, в последние годы правления государыни Елисаветы Петровны был придворным истопником. Об этой поре его жизни ничего, кроме послужного списка,

неизвестно. Он стал придворным лакеем, камер-лакеем, мундшенком. Казалось бы, как раз в эти годы он был на виду, но людей такого звания замечать не полагалось.

В 177... году Ятаганову было пожаловано дворянство. Он был направлен в герольдию на предмет определения на службу, однако выпросил отставку и был отпущен на все четыре стороны с чином коллежского асессора. Ятаганов отправился в Смоленскую губернию, Вяземский уезд, где купил на собранные за годы придворной службы средства деревню, переименованную им по своей фамилии. Крестьяне этой деревни и соседи-помещики были первыми людьми, давшими себе труд взглянуть в Петра Ивановича. Это был господин довольно высокого роста, худощавый, с жилистыми руками и длинными белыми пальцами. Лицо его было испорчено оспой; острые скулы, огромные обезьяньи надбровья, небольшие, но острые, как иголки, глаза — все было каким-то диковатым, нечеловеческим. Он казался не имеющим возраста, что можно было объяснить тогдашними пудренными париками, которые всех мужчин без различия награждали красивой сединой; но, когда мужики увидели барина без парика, оказалось, что и волосы его, серые, редкие и почти не отличающиеся от такой же серой кожи, не дают понятия о его летах. Может статься, он родился с такими волосами, а возможно, они стали такими от времени.

Как ни странно, о ранней истории деревни Большие Лопухи, позднее называемой Ятагановкой, известно больше, чем об основоположнике ее владетельного дома. Кажется, она относилась к владениям Долгоруких или Голицыных — родов, попавших в немилость при императрице Анне. Во всяком случае, в правление помнянудой государыни имение было пожаловано курляндцу Петеру Канту. То, что известно об этом (довольно отдаленном) времени из нашего источника (о котором ниже), позволяет лишь приблизительно представить себе это-

го человека. Итак, Петер Кант, сосланный в Сибирь Анной Леопольдовной, был помилован и восстановлен в дворянстве Елизаветой; однако по каким-то причинам ему было запрещено как проживание в столице, так и возвращение в Курляндию (о чем он просил). Петеру приказано было удалиться в свое имение; по характеру своему он был заядлым реформатором, страстным к преобразованиям и переделкам, сочетая немецкую деловитость с немецкой же мечтательностью. Сохранившиеся планы показывают, что он собирался выпрямить русло реки, исправить ландшафт и проложить дороги. К несчастью, Кант был силен скорее в фортификации, нежели в мелиорации; памятником его, впрочем, неоконченных, землеройных работ стало некоторое подобие водохранилища близ недостроенной плотины, на месте вполне идиллического заливного луга. Искусственное это озеро сразу же начало цвести зловонной ряской и прекратило свое существование при обстоятельствах, описанных ниже. Работы эти, на которые сверх барщины отвлекались крестьяне, грозили им полным разорением. Однако никаких следов пребывания при варварском дворе Анны Иоанновны у Канта незаметно; ни о чем, хоть отдаленно похожем на шутовские свадьбы и ледяные теремы, источники не сообщают. Так или иначе, в одно майское утро Кант был найден на дне недокрытого канала с перерезанным горлом. Приехали со следствием из губернии; допрошенные крестьяне указали на Федора Гаврюшкина, разбогатевшего, сбывая в Москву лен и сало и вызывавшего зависть односельчан. Видно, приказным дали в лапу, потому что на третий день они неожиданно отбыли в Вязьму, а тем временем на дворе Гаврюшкиных случился пожар, в котором погиб хозяин вместе со всей своей семьей. Говорят, что мужички накануне свели и вынесли с гаврюшкинского двора всё, что можно было увести и унести, и поделили толково, по совести. Еще были слухи, что, когда на пепелище нашли обгоревшие останки, одного из сыновей Гаврюшкина — какого, определить не удалось —

не досчитались. Но в официальных бумагах на сей счет ничего не обнаружено.

Несколько позднее хозяином Больших Лопухов был некто Борис Борисович Завалихин, служивший в столице, одно время состоявший во франкмасонской ложе и дружный с известными сочинителями — Херасковым и Ржевским. Было это в начале правления матушки Екатерины. Господин Завалихин оставил службу по нездоровью и отправился в свое имение, где, уединившись, занялся литературными трудами; через два года он напечатал поэму «Жестокости Венус, или Пастушок Альцест». Вскорости пошли глухие доносы о каких-то диких кощунствах и странно изощренных издевательствах над дворовыми людьми. Это были годы после «Наказа»; вслед за Салтычихой и некоторыми другими дошло дело и до Завалихина. Он был признан безумным, и за его имением была учреждена опека. Через два дня Борис Борисович был найден повешенным в конюшне. Губернский суд решил, что безумный помещик сам наложил на себя руки (что могло быть правдой).

Во всяком случае, ятагановские крестьяне были готовы ко многому — и на многое. Но то, что на третий день после въезда в имение провозгласил своим холопам новый барин, даже их повергло в замешательство. Петр Иванович объявил прежде всего, что снисходит к нуждам крестьянства, вынужденного день-деньской работать на барина, посвящая скудные ночные часы и дни святых праздников, предназначенные Господом для отдыха, своим бедным наделам. А посему он с этого дня изволит взять всю крестьянскую землю в свое прямое владение, а крестьян принять на свое иждивение.

Межи были уничтожены; всю скотину было приказано продать барину по назначенной им цене. Все, не исключая и бывших дворовых, работали теперь на барском поле, под надзором самого Ятаганова и его сыновей. Кроме того, из самих людей были назначены старшие, или десятники. Для нерадивых, воров и ослушников на барском дворе сложили холодный сарай. Нака-

зывали кнутом и колодками, но ятагановская порка была легче завалихинской — новый барин не желал жертвовать работниками. Мудрено было понять этого человека; все его действия были, на первый взгляд, внушены простым корыстолюбием. Но на уме у него было что-то другое. В нем жила какая-то невнятная страсть; к сожалению, ему не везло на наблюдателей — лишь смерть сделала его предметом всеобщего внимания.

Работы продолжались часов по двенадцать; в полдень и на закате работников кормили на барском дворе тюрей и квасом. В первый год разбухшее было хозяйство Ятаганова сократилось чуть не на треть, часть людей пришлось продать или отпустить на заработки в город, чтобы избежать голода и связанной с ним неразберихи. Но на второй весне Петр Иванович позаботился как следует — ловко расставил работников по местам, отличившимся обещал сверх ежедневного пропитания месячину — и к зиме не только восстановил свое достоинство, но и начал скупать окрестные деревни... Еще два года были удачными, но потом случился неурожай, часть людей разбежались, а на следующий год оставшихся было уже не заставить работать как надо. Дело в том, что Ятаганов, жестоко каравший за посягательства на свою собственность, куда спокойней, как и большинство людей, относился к чужой. Когда отошавшие в голодный год ятагановские мужички стали искать пропитания на большой дороге, это не встретило со стороны барина особых возражений. Крестьяне, и вообще-то не весьма сытые с барской тюри, быстро сообразили, что новое ремесло хоть и опасно, а куда доходней подневольного хлебопашества на чужой земле. Но что Ятаганов якобы сам посылал своих людей на грабеж — это пустые слухи. Разбухшему ятагановскому хозяйству грозил упадок; в отчаянии Петр Иванович решился на нововведения, купил английский плуг — плуг на второй день сломали. Но Ятаганов не успел разориться — с ним случилось другое несчастье — он умер.

Вот как это произошло.

У Ятаганова было четверо сыновей, в том числе трое взрослых, и две дочери. Дочери были очень нехороши собой, одна осповатая (что по тем временам само по себе не было из ряда вон выходящим пороком). Под их началом находились прядильщицы, которых они истязали. Что касается сыновей, то они вовсе не были какими-то особенно разнузданными кровопийцами или развратниками. Это были здоровые парни, которые были заняты с утра до вечера, потому что отец использовал их в качестве надсмотрщиков, полицейских и палачей, и призывали к самой неприхотливой жизни, потому что почти никакой прислуги Ятагановы не держали, чтобы не отвлекать крестьян от работы. Упрощение жизни и хозяйства в Ятагановке привело и к упрощению нравов. Обычно, если молодые Ятагановы испытывали нужду в женщине, они настигали бабу или девку прямо в поле и, как правило, не встречали сопротивления. На этот раз случилось по-другому — то ли один из старших сыновей Петра Ивановича получил неожиданный отпор, оскорбивший до глубины его простой и сильной души, то ли его вправду посетила неумемная страсть — только с некоторого времени все помыслы сего юноши сосредоточились на одной крестьянской девушке, которая, на беду, как раз была сговорена. За несколько дней до свадьбы невестин отец понес барину, по старому обычаю, горшок меда; тем часом барчук с одним своим братцем пошли к его дому, обманом вызвали девушку из дому и потащили в клеть. В это время на двор вошел жених; он кинулся на братьев с колом и ранил одного в голову. Братья пошли жаловаться отцу, объяснив ему, что им случалось пару раз пошутить с невестой такого-то и что жених, дурак, не понимающий шуток, подучаемый своим отцом, Еремеем Вотрухиным, подло из-за угла напал на своего господина и чуть не прошиб ему череп. Ятаганов вызвал жениха, невесту и женихова отца, довольно добродушно объяснил парню, что ему бы еще радоваться надо такой чести, что хозяйка его до венчания переспит с барином, и вынес приговор — жениха и его

отца выдрать кошками, свадьбу отменить, а невесту отобрать в барский дом в прядильницы. Прошу обратить внимание на следующее: за нападение на барина полагались каторжные работы, но Ятаганов не хотел, во-первых, подымать шума, во-вторых — терять работников. Жениха высекли, стали наказывать отца; тем временем сын, увидев, что невесту ведут в дом, бросился к ней, схватил ее за руку, воспользовавшись всеобщим замешательством, и пустился бежать. Их сразу же догнали, но на шум стала собираться толпа. Здесь Ятаганову впервые изменило самообладание — он стал разгонять толпу палкой. Это и стало его концом. Вечером, когда приехал поручик с солдатами и усмирил бунт, тайком на телеге отвезли к церкви то страшное, что осталось от Петра Ивановича Ятаганова и трех его взрослых сыновей.

Дело получило огласку в губернии. В защиту ятагановских крестьян выступил один сосед-помещик; он был сыном крестьянки, и этим в губернии объясняли его народолюбие — на самом деле оно объяснялось чтением Руссо и энциклопедистов. Так или иначе, он не получил поддержки, мужиков отдали под суд и осудили, но, так как нельзя было угнать в Сибирь всю деревню, Еремей, его сын и еще человек пять отправились на каторгу, прочие же отделались поркой.

Семья Ятагановых переехала в Питер. Вдова и ее дочери скоро померли, а единственный оставшийся в живых сын был принят в хорошее казенное заведение, не то к иезуитам, а потом ему опять повезло — он служил в гвардии. Имением управлял умный немец, который роздал всю землю крестьянам, посадил их на оброк и остановил этим разорение ятагановских имений, представляя сие довершить законному владельцу.

3

— А где же это всё?..

Александр Петрович приоткрыл глаза, поёжился в кресле, сжал белые, ватные, бархатные руки.

- Если идти от Смоленска вниз по Днепру, что будет?
- Киев...
- А дальше?
- Море... — не слишком уверенно ответила Темира.

В отличие от Анны Федотовны, она была не столько подругой, сколько ученицей пожилого эмира. То есть ничему он ее, разумеется, не учил, но из чтения и бесед она почерпнула довольно много отрывочных сведений, образовавших в ее голове полную кашу, причем довольно рассыпчатую. Она знала кое-что из того, что не входило в обычный арсенал просвещенной барышни того времени, и не знала иногда простейшей вещи.

— Черное море, — вымолвил Ятаганов. — Древние звали его Эвксинским понтом. Понт по-гречески море. Там есть такая страна — Таврия, или Крым. К Российской империи присоединена при государыне Екатерине, трудами князя Потемкина. Благодатная, солнечная страна. А греки да римляне там мерзли, тосковали. Римские кесари ссылали на понт каторжников.

— Там татары? — спросила Татьяна.

— Теперь татары. У них там было ханство. Ну читай же, — снова опустил пухлые веки.

Потом она еще раз прервала чтение, спросив, кто такие евнухи. Он ответил. Она спросила, кто такие кизляры; на этот вопрос он ответить не смог. Чтение кончилось; лет десять назад ее сердце наполнилось бы нежной жалостью — тогда даже в оссиановых мутноватых сумерках она находила нечто трогательное и знакомое; но сейчас ее душа загрубела, и ей хватало собственной горечи.

Ятаганов прикрыл лицо подушечками-руками.

— Хорошо... «Я помню также милый взгляд... и красоту еще земную...» Хорошо. Но как они стали писать, нынешние, — ни плана, ничего. Так — одна картинка, другая — как в театре декораций. Попутал их этот лорд чёртов! Вот — чернец этот киевский, помнишь? Там тоже...

Он говорил о поэме, которую они читали несколькими неделями раньше. Та была с приключениями и чув-

ствительная, и оттуда Темира кое-что запомнила. К поэме были приложены стихи, где автор жаловался на постигшую его слепоту, что не может он видеть своих милых детей.

— Но... музыка... влажность нежная, ночная... мягкая... — бормотал Александр Петрович. — Этого-то прежде не умели. Заре-ема, — промолвил он почти одним нёбом, как бы пробуя это имя на вкус. И вдруг посмотрел на Таню. — Какая же ты Темира? Ты Зарема. Я тебя буду звать Зарема.

Ятаганов время от времени давал своим девам, в дополнение к прежним, новые имена, и почти всегда это было знаком благоволения, приметой обновляющейся любви. Поэтому сердце Темиры — Зареми сжалось от радости, и она не заметила, что Зарема — отвергнутая, покинутая, а потом тоже не поняла, потому что забыла всю эту татарскую поэму и уж больше не могла вспомнить, даже когда захотела.

Радость Темиры длилась недолго; через несколько дней по своим приметам она поняла то, чего еще не заметили другие: Милёне предстояло стать матерью. Милёна была не чета прочим девкам — это была Темирина счастливая соперница, новая ятагановская фаворитка и будущая — дай Бог Александру Петровичу долгой жизни — хозяйка этого маленького сераля. Чем-то ее мягкая, молочная прелесть, ее хрупкая плоть, ее негорячая ласка привлекали стареющего барина. Теперь ее победа была полной и несомненной.

Предположения Темиры вскоре подтвердились — Ятаганов с особенной ласковостью разговаривал со своей Милёной, и прислуга обращалась с ней заботливее, чем с другими девушками. Темирина злость дня два находила выход в мелких сварах и уколах, пока не представился случай обидеть соперницу серьезнее. К несчастью для себя, Татьяна от злобы и унижения утратила вообще-то присущий ей здравый смысл. В доме обнаружилась пропажа (что-то из серебряной посуды). Обыскали слуг; услышав об этом, Темира ворвалась

спозаранку в девичью светелку (другие девушки только вставали) с криком:

— Что, слышали? Обыск! Барин велел! — (ничего такого барин, конечно, не велел — подозревать гурий было ниже его достоинства). — Начнем с тебя, Марфа! — и без спроса, с видимым наслаждением выволокла из-под кровати и распахнула милёнин сундучок.

— А вы бы у себя взглянули, Татьяна Никифоровна! Авось у вас найдется! — внятно промолвила Марфинька и под совокупное хихиканье девок захлопнула сундучок, больно ударив Темиру по руке.

В то же утро Темире было выговорено за самовольство, а Милёну с этого дня перевели спать в отдельную комнату.

Темирино безумие было прервано приездом Ивана Александровича, который задержался на неделю с гаком, простудившись в дороге.

У второго Ятаганова было два сына и дочь; дочь года два назад вышла за коллежского асессора Бабушкина. Старший из сыновей, Михаил Александрович, поручик-семеновец, был одним из тех, только в том поколении встречавшихся людей, что с равным упоением беседовали ночь напролет о государственном кредите и дрались с шести шагов из-за покладистой балеринки или просто из-за косого взгляда. Конечно, он был в Союзе Благоденствия, и, когда после расформирования полка он отправился в маленький городок под Киевом, прежние однополчане — Муравьев-Апостол и прочие — возлагали на него большие надежды. К несчастью, или, вернее, к счастью, но, в конечном итоге, все равно к несчастью для себя, Михаил Ятаганов не обладал, как оказалось, той внутренней дисциплиной, которая, при всем их бретерстве, была присуща такого рода людям. Он стал всерьез, по-настоящему спиваться, при содействии своих новых полковых товарищей — простосердечных армейцев. Для Общества он был человеком погибшим, хотя в обществе не с прописной буквы его принимали все еще хорошо.

Брат его, который был моложе двумя или тремя годами, принадлежал к людям иного разбора. Он служил гусаром в Царском, и, начини он службу двумя годами раньше, ему — без всяких усилий — было бы даровано место на страницах общедоступных справочников, в котором почти отказано его незаурядному брату. Но он определился в полк в 1819 году и, хотя еще застал Каверина и Молоствова, уже разминулся с лицеистами первого выпуска и не участвовал в пиршествах, освященных присутствием некоторого верткого и надменного юнца.

Один раз брат привез его в Союз, но молодой Ятаганов был так наивен, что, проведя вечер в братнем кругу, так и не понял, что находится в конспиративном обществе. Позднее он, конечно, слышал от кого-то что-то о заговоре, но никогда не связывал эти слухи с Михаилом и его друзьями. Он был целомудрен — насколько мог быть целомудрен молодой гусарский офицер в то веселое время, — но, в отличие от брата, не любившего отца и никогда не приезжавшего в Ятагановку, ограничиваясь учтивыми, но холодными письмами, считал неблагодарным не относиться снисходительно к образу жизни Александра Петровича, который, если и не был чрезвычайно внимательным отцом, обладал качеством, во все времена хорошим для родителя, — был щедр.

В один из дней, вскоре после приезда, Александр Петрович показал сыну книгу и спросил что-то об авторе. Иван объяснил, что автор этот — большой шалопай, высланный из столицы за сочинение непристойных виршей про государя и прочих персон, что из ссылки он убежал к цыганам и сейчас живет в таборе, водя на цепи медведя. Поморщившись, он припомнил (вообще он плохо запоминал стихи) эпиграмму на Аркачеева.

— Ну, это мне не нравится... — сказал отец. — Перенос в последней строке неудачен — не понять, кто отставной и кому предан. А правда, кстати, что граф ежеутренне выливает чашечку кофе на могилу этой своей Настасьи? Экий грек!

— Не знаю, — сказал Иван. — А вот, говорят еще, что сочинителя этого, Пушкина, перед тем как сослать, высекли в канцелярии у Милорадовича. Сказывают, впрочем, со слов графа Толстого, Американца, а он такой человек...

— Что же это за Американец? — улыбнулся Александр Петрович. — Он из каких Толстых? — и тут же погрузился в греющую туманность, куда, из разреженной звуковой пустоты, заходили летучие фразы сына, его упругий смех. Этим цветовым и звуковым затишьем, этими припадками блаженного помрачения напоминала о себе его уже близкая, сладковатая дряхлость. И из этого тумана выплывал черноусый и белозубый Американец, веселый убийца, бравый шулер, повеса без страха и упрека, обвенчавшийся с хоровой цыганкой. Он открывал глаза и видел сына, разгоряченного чаем, вином и беседой. Потом всё проваливалось, начиналась какая-то пляска колонн и цветочных гирлянд, чудом превращавшихся в обольстительных турчанок; затем слова вновь начинали долетать до него, и вот уже пенился океан, и капитан Крузенштерн — сухой, бледный немец — выходил в каюту, и вот обезьянка — чертенок, вертлявая тень графа, потешно повторяющая его движения и поступки, — аккуратно поливает чернилами, страницу за страницей, судовой журнал; а вот скалистый необитаемый остров, где тоскует Толстой, ссаженный мстительным кругосветным капитаном, еще один разрыв — и, пронесясь в каких-то запредельных сферах в обнимку с обезьянкой — своей любовницей и жертвой, — безумный черноусый Толстой вновь хищно прохаживается по удивленному Санкт-Петербургу, и смеется, оголив веселый кадык, Иван Александрович.

Когда Темира входила в комнату, ее важный, но гибкий стан, ее длинные пальцы, ее белый лоб задерживали взгляд Ивана Александровича. Она понимала это и

на мгновение застывала на ходу, полуулыбаясь (она видела, как подергивалось его веко) и со своей чуточку тягеловатой грацией выплывала из дверей... Ей вовсе не нравился этот волоокий гусарик с пшеничными усиками. Она видела в нем «орудие своей мести» (это выражение она встречала в какой-то из читанных Александру Петровичу книг).

Они знали друг друга давно. Он был пятью или шестью годами моложе, она помнила его и брата мальчишками и не без труда относилась к сыну Анны Федотовны как к барину. Последний раз Иван приезжал четыре года тому, тогда он еще недавно как определился в гусары, многозначительно упоминал о балете, цыганках и полупшепотом — о заведении какой-то Парамоновны, но в Ятагановке почему-то ограничивался безобидным тисканьем и чмоканьем отцовых девок. Сейчас он был все тем же бойким весельчаком, добрым малым, но загляни кто-нибудь — та же Темира — глубже к нему в глаза, она увидела бы в них незнакомую тень. В последнее время ему что-то часто бывало без причины грустно и чего-то страшно. Он стыдился таких чувств, но ничего не мог с собой поделать.

И он влюбился в Темиру. Когда через пару дней разговорились, она пустила в ход все свое понятие о том, как надо держаться женщине, чтобы понравиться, все просвещение полубарышни, всю простодушную ласковость холопки. Это было излишним. Игра, которую она вела, напоминала ей трагедию, ставленную некогда в барском театре, про мачеху-царицу, пытавшуюся соблазнить пасынка. Первоначально она не собиралась заходить далеко — только обратить внимание Александра Петровича, вызвать у него ревность, но Александр Петрович был поразительно невнимателен, а Иван Александрович настолько напорист и пылок, что дело дошло до объятий — причем сначала Темира мечтала попасться на глаза Ятаганову-отцу, а после — уже боялась. Ее месть принимала все более тайный характер, становилась местью для собственного пользования; наконец,

движимая какой-то холодной волною, она согласилась прийти ночью во флигель и сдержала слово.

Под утро, расслабленная и смущенная, вернулась она к себе. Месть не получалась, она чувствовала себя вторично потерявшей невинность, и это было хуже, чем впервые, и хуже всего было то, что ночь эта — не последняя, она знала, что придет и завтра, и еще раз, и мести никакой все равно не будет. Она не знала, что Иван Александрович пережил только что лучшие часы своей жизни и сейчас еще, блаженный, восхитительно бестелесный, слушал удаляющиеся шаги, смотрел, как блестит рыжее пятнышко зари на трехногом столике, и был счастлив, потому что ведь и завтра, и послезавтра, и еще потом — а там не все ли равно...

Оба они ошиблись — вторая ночь оказалась последней — выходящую из комнаты сына Темиру встретил прогуливавший свою бессонницу по комнатам скрипучего дома Александр Петрович. Одно это мгновение — только одно — она была подлинно счастлива. Он увидел. Она отомстила. Старик улыбнулся и, повернувшись на цыпочках, заскользил обратно, унося с собой свою тонкую, длинную свечу. Утром он был по-прежнему холодно-ласков с ней, пока не справился у камердинера о сыне. Сына не было: час назад он приказал запрягать и уехал не простившись. Он слышал приближение отца в предутренний час и не мог смотреть ему в глаза. Надбровья сдвинулись; Темира проиграла — навсегда. Ей простили измену и не простили ссоры с сыном.

Ее отчаянье было окончательным. Ее ненависть не знала предела. О, поговорить бы ей с Милёной, сказать, выругаться, выкричаться, но отчего-то Темирины чувства не складывались в осмысленную речь, хотя вообще-то она была бойка на язык. По ночам она выдавливала в подушку что-то среднее между бесконечным мычанием и грубой, но человеческой руганью, пока не заходилась в сдавленном визге и однообразной матерщине.

И настало утро — она подстерегла ненавистную престлницу в сенях (не видеть, не видеть ее округливше-

гося лона, ее побелевшего лица и увеличившихся глаз!), сбила с ног здоровым, звериным ударом. На шум сбежались; Темирины руки оторвали от посиневшего Милёниного горла.

От прежнего ятагановского архипелага остался — кроме собственно Ятагановки — как бы островок, деревушка в десять дворов, связанная с Ятагановкой чем-то вроде судьбы, отразившейся в названии. Говорят, на Смоленщине — стране болот — и сейчас есть хутора, куда возможно добраться только зимой. В этом отношении деревушка, куда месяц спустя, по легкому и влажному декабрьскому снегу, увезли Темиру, действительно была островом. Уже похоронили Марфиньку, последовавшую за своим нерожденным чадом. Растрепанный, с полоумным огоньком в глазах, Ятаганов ежедневно до завтрака ходил на ее могилу. Ему приносили шубу, и он покорно давал себя одеть. Его уводили, и он шел домой, равнодушно, но добросовестно ел, но потом возвращался на могилу. Милёну погребли в саду, но зима вышла снежная, обленившийся садовничий помощник не расчищал на рассвете дорожек, и иногда по утрам только верхушка креста чернела на белой горке. Барин молчал; сбросив ладонью снег, он садился на обжигающую железную скамейку — казалось, он не чувствовал холода. Однажды к Ятаганову приехал предводитель дворянства. Видя состояние пожилого помещика, он надеялся постепенно подготовить его к тяжелому известию — Михаил Александрович Ятаганов разжалован в нижние чины и отправлен на Кавказ за дуэль с поручиком Чухонцевым. Гостя накормили скверным обедом — следить за хозяйством было некому; Ятаганов с бессмысленным лицом слушал разговоры о погоде, о смерти Людовика XVIII, о случившемся в Питере наводнении, о видах на урожай. С таким же лицом выслушал он известие о сыне. Внезапно он скатал шарик из рассыпанных по столу хлебных крошек и швырнул в лицо предводителю. Вернувшись домой, предводитель, господин, очень себя уважающий и серьезно отнесшийся к своей трогатель-

ной миссии, а потому раздосадованный и обиженный, сел за письмо к Ивану Александровичу о необходимости назначения опеки, но писал он чрезвычайно туго, так что отправить письмо он не успел.

Дело в том, что Александр Петрович, безумный во всем, что не касалось его горя, еще в марте заказал в Москве хороший памятник черного гранита. Но потом опять началось что-то бредовое — Ятаганов задумал увековечить память почившей любовницы фонтаном и приказал рыть яму для труб, воспользовавшись одним из недорытых каналов Канта. Только прошел разлив, на дне канала еще стояла вода, и по колено в воде ятагановские мужички копали дальше и дальше невесть за чем нужную канаву. Между ними бегал почти уже безумный барин в меховом плаще, накинутом прямо на халат. Воду предполагалось брать из так называемого Немцева пруда — около самой плотины, где вода была еще довольно чистой. Однажды кто-то из землекопов заметил, что воды прибывает. Но было уже поздно — скорее всего, незадачливые фонтаностроители задели кантову плотину, а может, неоконченное строение покойного курляндца само рухнуло в одном или нескольких местах — только вода, прорвав заграждения, поднялась и хлынула в деревню. Это был великий ятагановский потоп, унесший жизни семи человек, не считая домашней скотины, и разрушивший два дома. На следующее утро вода спала, но Александр Петрович об этом уже не узнал. Мокрого, бредящего, его принесли в дом — усадьба находилась на горке и от наводнения не пострадала — и в ночь он умер.

5

В тот год Иван Александрович женился на милой, но скучной барышне и, выйдя в отставку, поселился в ее имении под Москвой. Год спустя родился его единственный сын (потом был еще один, но он умер трехнедельным). Жена третьего Ятаганова умерла во время холеры 1830 года. Иван Александрович замкнуто жил в своем

имении, занимаясь воспитанием сына, а если быть совсем точным, то и этим не занимаясь.

Переходя к жизнеописанию Петра Ивановича Ятаганова-младшего, считаю необходимым отметить следующее: если отца его и дядю отчасти судьба неприменно, но настойчиво отводила от всего, что могло бы обеспечить им место в исторических хрониках, а отчасти они сами были в этом виноваты, то забвение, постигшее Петра Ятаганова, можно объяснить только либо какой-то странной случайностью, либо мистической тенью, павшей на лицо этого последнего в своем незадачливом роду и скрывшей его от историков. Но я верю, верю — настанет день, и пылкое или, напротив, насмешливое перо историографа тех всё отдаляющихся времен набросает на нескольких страницах фундаментального труда портрет Петра Ивановича, а может быть, и в школьном учебнике найдется место для краткого упоминания — пусть мелким шрифтом — нашего героя, и, наконец, в серии «Жизнь замечательных людей» или «Пламенные революционеры, или какие там еще будут тогда серии, выйдет его биография, коя будет подробнее нашей.

Этот будущий биограф незамеченного героя непременно с детства припишет ему стойкую ненависть к крепостничеству и скорбь о народной бедности, заставив принести аннибалову клятву на Воробьевых горах или, если автор будет не совсем глуп, с нежных лет мучаться социальной рефлексией в некрасовском духе. Но увы: Иван Александрович жену не бил, крепостных любовниц не держал — и даже псарей не держал (потому что охотник был никудышный). Мужики в имении были добрые, хитрые и ленивые, жили они действительно бедно, но Петруша их бедности не замечал — потому, главным образом, что они сами ее не замечали, и тем более они не испытывали особенных страданий от своего крепостного состояния. А так как никто не препятствовал ему играть с деревенскими мальчишками и кататься на плоту с перевозчиком Харитоном и так как маль-

чиком он был умным и даже слишком серьезным, то эти забавы скоро ему надоели. У отца была приличная библиотека, частично вывезенная из Ятагановки (о единственной поездке Ивана Ятаганова в отчину смотри ниже), он (как ни странно) считался приличным собеседником и добрым соседом, и окрестные господа часто заезжали к нему со своими сыновьями, которые были, во всяком случае, ближе и приятней юных мужиков, и дочерьми, в которых было очень удобно по очереди влюбляться. Неравенство? — в то время оно воспринималось как нечто само собой разумеющееся; помимо прочего, мужики хоть и жили бедно, но не голодали, а случавшийся мор уносил одинаково что мужиков, что бар — вот Петрушину мать унес.

Да, я обещал описать поездку в Ятагановку. Иван Александрович свою деревню ненавидел — не только из-за истории с Темирой. Пережив в двадцать два года свою первую и единственную любовь, он в одночасье превратился из молодого и веселого бездельника в бездельника пожилого, хмурого и молчаливого. Будучи человеком легкомысленным, он никогда не был глуп; повзрослев, он понял неприязнь, которую испытывал к Ятагановке брат: наследственный клочок земли то и дело напоминал незаконность их происхождения, двусмысленность их родового права. Кроме того, он действительно боялся встречи с Татьяной — напрасно, потому что ее в Ятагановке не было. Но вскоре после смерти жены, зимой, когда стало совсем невыносимо грустно, он взял однажды маленького сына и отправился зимним путем, на двух толстых, но слабых лошадях, в Ятагановку. Они доехали за два дня и приехали рано поутру, в хороший мороз. На ступеньках барского дома спал сизоносый мужик, а может быть, уже и мертвец. Дверь была на замке, но замок был, как и вся дверь, покрыт плотной коркой льда и теперь представлял с ней как бы единое целое. Ятаганов попробовал разбудить мертвеца, и тот, вопреки очевидности, проснулся. Он оказался кумом старосты — крепыша с пшеничными волосами и слезящи-

мися глазами, который ежегодно привозил в подмосковную оброк и списки мужиков, подлежащих набору; кроме того, он был двоюродным братом Ивана Александровича с материнской стороны и товарищем его детских игр, но барин его не узнал. Староста за несколько лет разбогател на утайке части оброка, выкупах от рекрутчины и прочих никем не предусмотренных поборах, позднее он дал начало очень хорошей купеческой фамилии (его потомки и сейчас живут в Сан-Франциско и владеют лучшей в мире коллекцией не то самоваров, не то эскизов Бакста), но, будучи женат на одной из бывших одалисок Александра Петровича, он в этом случае проявил какую-то сентиментальную добросовестность, не только ничего не тронув в хозяйском доме, но и взяв его под охрану. Он сбил ломом лед, отворил дверь и провел Ятаганова по холодному, страшному дому. На всех вещах лежал слой окаменевшей, несводимой пыли. Краска на портретах потрескалась и отслоилась, книги отсырели и частью истлели — всё это за пять лет. Обратно ехали в пургу, хмурые лошадиные морды тащили за собой снежное облако, а внутри спали, прижавшись друг к другу, Иван Александрович Ятаганов и мальчик Петруша — хозяева облака, хозяева нелепой деревни.

Петр Ятаганов учился в Благородном пансионе при Московском университете, а потом в самом университете, так как в результате горячки, перенесенной в детстве, оглох на одно ухо и сделался неспособен к военной службе, к которой, впрочем, и не чувствовал склонности. Происшествие, описанное ниже, относится еще ко временам его пребывания в пансионе.

В Москве единственным домом, который посещал юный пансионер, был дом полкового товарища его отца, который некогда был бравым пьяницей-гусаром, а сейчас превратился в рыхлого женоподобного статского советника, отца крикливого и разрастающегося семейства. Однажды Петруша получил от него записку с просьбой немедленно явиться. У доброго статского советни-

ка он застал хмурого пожилого господина в довольно нескладном сюртуке. При виде Петруши тот встал, оказавшись на одну ногу хромым. Статский объяснил мальчику, что господин, коего он имеет честь видеть, — родной его дядя, поручик в отставке Михаил Александрович Ятаганов, вернувшийся недавно после длительного отсутствия. Петруша был немало удивлен — Иван Александрович никогда не говорил о своем несчастном брате, хотя ежемесячно отсылал в ему одному известные гарнизоны определенное содержание, а то, что оставалось от братней половины дохода с Ятагановки, пунктуально откладывал в отдельную шкатулку. Дядя был неразговорчив. Когда Петруша, вежливо просидев около часа, собрался уходить, дядюшка вышел вместе с ним, причем племянник с удивлением заметил, что поверх сюртука он накинул настоящую кавказскую бурку. В полном молчании оба Ятаганова дошли до перекрестка (дядя — ковылял, Петруша примерялся под его шаг), потом Михаил Александрович молча написал на бумажке адрес, по которому он остановился, и растворился в толпе.

Юному Петру Ивановичу понравился дядюшка, а особенно бурка, но воспользоваться адресом он стеснялся, пока дядюшка собственной персоной не явился в университетский пансион, повздорив с важным дураком-швейцаром (несмотря на старания держаться как можно строже и благородней, Михаил Александрович ухитрялся постоянно и повсеместно производить невероятный шум), и увел племянника с собой. На сей раз он был разговорчивей, хотя и не намного. Он поинтересовался, чему нынче учат в университете; слушая племянниковы объяснения, только покачивал головой да хмыкал. Потом спросил про соучеников — в некоторых из них он узнал сыновей бывших товарищей. Затем он повел Петрушу, который, к несчастью, не любил сладкого, в кондитерскую, где угостил кофеем со сливками и бисквитами (причем Петруша с любопытством отметил — дядюшка был слегка навеселе) и строго-настрого при-

казал завтра явиться к нему на квартиру в Шубинский переулок.

Москва была городом отставных людей. Москва той поры была городом полуопальных и полузабытых. Но в то время как у тетки его Орлова вечно толкались пыльные юноши и даже любопытная светская молодежь, Ятаганов был забыт наверно и накрепко. И если грядущему историку вздумается гадать о причинах странной привязанности старика (ему едва перевалило за сорок — быстро в те времена старели люди!) к подростку-племяннику, ответ будет как-то нехудожественно прост: одиночество.

Младший Ятаганов, движимый каким-то удивительным инстинктом, ничего не написал отцу про дружбу с дядей — впрочем, если называть вещи своими именами, это была дружба с дядиной библиотекой. Для того, чтобы понять, что это была за библиотека, надо представить себе ту эпоху — со строгой даже по нашим меркам цензурой, поголовным знанием иностранных языков, безграмотной таможней и отсутствием пишущих машинок, не говоря уж о множительной аппаратуре. Это была библиотека иностранных книг. Петруша глотал желчного Кюстина, писавшего о России страшные вещи, разрушительные трактаты Гизо и Тьера — и прочее в том же роде. Представим себе, умница-читатель, впечатлительного мальчика, ничего подобного не видавшего, — дальше думай сам.

Однако особое впечатление на Петрушу произвела одна русская книжка, изданная в правление Екатерины и описывающая путешествие сочинителя из новой столицы в старую, причем он, сочинитель, наблюдает крестьянский быт и рассуждает на разные нравственные и политические темы. Эта приобретенная дядюшкой по случаю книга была, как он объяснил, большой редкостью — автор ее был в свое время сослан в Сибирь, а потом доведен до самоубийства, как выразился Михаил Александрович, сатрапами. Стихи, помещенные в книге, показались Петруше скучны и тяжеловесны, описа-

ния природы он пропускал; слог был просто невыносим. Зато трогательная откровенность автора, который в молодости перенес сифилис и боялся, что передал эту болезнь своим детям, вызывала у него чисто отроческое грешное любопытство. Больше же всего потрясли его описания народной бедности. Поразительно, но Петруша и не пытался соотнести этих книжных полувековой давности поселян с собственными сельскими впечатлениями. Отсюда сквозящее в его последующих действиях, поразительное для выросшего в деревне помещичьего сына незнание мужика. Особенно запала ему в память сцена, где два развратных барчука посягают на честь невесты молодого крестьянина, жених защищает свою суженую, грозный барин сечет юношу и его старого отца и отнимает невесту и, наконец, взбунтовавшиеся крестьяне убивают тирана и его сыновей; господин Крестьянкин тщетно защищает несчастных инсургентов перед губернским судом. Несколько ночей Петруша не спал, воображая себя то храбрым женихом, то благородным господином Крестьянкиным, произносящим пламенную речь перед жестокосердными судьями и потом изливающим свои злосчастья на почтовой станции господину автору. В одну из таких ночей он и дал свою аннибалову клятву.

6

Девятый год жила Татьяна в Малых Лопухах. По барскому указу ее выдали замуж за первого попавшегося шестнадцатилетнего малого. Она с детства была приучена к полевой работе, пряже и стряпнине и не разучилась в ятагановском доме. Из неистойвой Темиры получилась хорошая русская жена — работящая, ласковая и безответная. Она тащила на себе дом, давала побить себя в праздник и даже стала рожать детей — а ей казалось, что уж не будет матерью. Жили небогато, а всё жили. Муж был смолоду чуточку придурковат, а потом выправился, стал мужик как мужик. Жили со свек-

ровью, та тоже была незла. Никто не смеялся над теми-ринным изгнанием, не корил прошлым. Поздней осенью, когда работы кончались, а пути на остров еще не было, и в скучные зимние вечера, в пургу, в метель пересказывала она по-своему книжки, которые некогда читала вслух барину. Танины рассказы были знамениты, соседи заходили послушать, чесали бороды, изредка глупокомысленно произнося «Эхм» или «Ихм» или сдержанно матерясь.

На девятую зиму, когда грязь замерзла и стала зимняя дорога, в Малые Лопухи пришел чужой. Чужой был старик, древний, горбатый, рукастый и костистый, с короткой хищной бородой. Был волчий мороз, черный деревенский вечер. Старик умными бродяжьими глазами оглядел деревню и, движимый своим бездомным, наполовину звериным чутьем, заковылял на никто не знает чем приглянувшийся ему двор. Жучка таякнула; старуха, тяжело разогнувшись (она разгибалась не полностью, как коромысло), запахнувшись в теплый платок, выглянула в сени.

— Ах, когда б я прежде знала... — пела Татьяна, качая люльку. Старый человек отряхнул снег в сенях, скинул тулуп и валенки, обнажив прочные, расчетливые лохмотья, перекрестился и осторожно сел на край лавки.

— Издалече, человек Божий? — спросила свекровь.

— И-и, не спрашивай, голубка, — проскрипел странник. — Далёко. Как живете, добрые хозяева?

— Ничего, прохожий человек, слава Богу, живем, хлеб жуем, не жалимся...

— А деревня ваша чья?

— Ятаганова Ивана Александрыча, милостивец.

— Что любовь сулит беды... — напевала Татьяна.

Старик хмыкнул.

— И что, добрый барин?

— Да мы его, батюшка, и не видали.

— А Александра Петрович, тот что ж, помер?

— Когда еще помер... Да ты-то его откель знаешь?

— Видал, значит, — старик помолчал. — Мальцом совсем. Ну-кась, голубка, а до Ятагановки сколько примерно верст?

— Зимой пять будет, а летом все десять.

— Ты мне вот что скажи: а Зайцева Настасья, не знаешь, жива ль?

— Я Настасья.

Старик приподнялся и долго, не отрываясь, глядел на Танину свекровь.

— Эх тебя согнуло... Аль не узнаёшь?

— Не признаю, батюшка.

— А ведь я женихом твоим был... помнишь, тогда, ну в тот-то день, как барина решили, помнишь, я тебя хватил, и за руку, и — поволок? Что? Али забыла?

— Алё-ёшенька, — одними губами, беззубо, со скорее гробовой, чем загробной нежностью промолвила старуха.

Жених свекрови остался в Малых Лопухах. В хозяйстве он был, в общем, малополезен; хотя умел многое, но все его умения были как-то не от мира сего. Сначала он чурался сверстников, потом, увидев, что по прошествии полувека никто его не признаёт, хотя бы и попался в Малых Лопухах кто-то из друзей его юности, стал охотно беседовать со стариками и наконец рассказал кой-что о своей жизни. А жизнь у него была бедовая. В Сибири, выйдя на поселение, он стал торговать лесом, разбогател, но потом отчего-то разорился, запер дом и пошел по миру (потому что Россия — единственная страна, где нищие имеют недвижимость, — см. А.С.Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург). Он был еще крепким мужиком, но ему подавали. Без всякого права он перешел Урал, одновременно перейдя, как сказали бы позднее, на нелегальное положение. Как беспаспортный, он много раз сидел в каталажке, но все время как-то выходил оттуда. Одно время он был актером провинциального театра, потом кочевал с цыганами (плясал в медвежьей шкуре), потом был атаманом разбойников, вторично угодил на каторгу — на уральские заво-

ды, бежал оттуда, ходил с богомольцами к святым местам.

Татьяну Еремеич звал теперь снохой и смотрел на нее, как иной старый бесстыдник на сноху — мутно и ласково, а то и попросту лез, пользуясь отсутствием или пьянством мужа. Татьяна еще раздумывала, что лучше — поднять старого на смех или дать ему втихомолку чего хочет, но тут пришла весна, Алексей Еремеич заболел и не вставал с печи. Татьяна со старухой варили ему травки, но ясно понимали — старик не жилец. Как-то ночью Еремеич застонал, позвал Татьяну. Та подошла; старик просил пить. Татьяна принесла квасу, Еремеич отхлебнул и повалился на спину — у него был жар.

— Вот, голубка моя, — (он ко всем так обращался: «голубка» или «голубь»), — видать, пора приходит... того... отходить. Не помни зла, поминай мою душу грешную. Золото имел, серебро имел — ничего сейчас нет... Я тебе слово оставляю.

Старик помолчал.

— Как барина кончили, Петра Иваныча, тятка-то мой его признал. Знаки такие были. Нашего же мужика сын, Федьки Гаврюшкина. Не настоящий, стало быть, барин. Самозванный. И все Ятагановы — не настоящие.

С той ночи Еремеич бредил и утром в бреду помер. Через полгода проводили на погост Татьянину свекровь, еще лет через пять — самое Татьяну.

7

В тот же год, когда молодой Петр Иванович перешел в университетские классы, умер дядя. Через месяц после похорон Петруша получил письмо от отца. Сей любопытный документ сохранился в ятагановском архиве.

«...Я получил известие, что недавно в Москве скончался брат мой, а твой дядя, Михаил Александрович. Ныне я раскаиваюсь в том, что, желая уберечь твою неопытную душу от слишком сильных впечатлений, не

рассказал тебе своевременно о своем столь одаренном Богом, но растратившем отпущенное ему втуне брате. Ведь ты бы, живя в Москве, мог скрасить ему последние минуты, а заодно и увидеть воочию печальные последствия крайностей во мнениях и нетвердости нравственной. В самом деле, что достойнее гражданина, посвятившего себя скромной службе государю и отечеству или благу тех, коих ему вверил Господь...» (далее следует не относящееся к делу рассуждение, каковое опускаем, и предложение посетить могилу дяди).

Написать отцу правду Петруша не решился, так что если Иван Александрович действительно испытывал угрызения совести, то так и продолжал их испытывать до конца жизни. Да и вообще молодому Ятаганову было в те дни уж не до отца и не до дяди. Немногое кипело в те прохладные годы, но университет кипел. Толстый, горшком остриженный Шевырев читал отечественную словесность с уклоном в Нестора и Четьи-Минеи, превознося старомосковский уклад и намекая на покорение Цареграда. Петруша мог бы стать и славянофилом — даром, что сказочно-профессорская Русь, которую сохранило, говорят, торговое сословие, не совсем вязалась с дымным, паточным Замоскворечьем, где сонные и краснорожие разбогатевшие мужики обсчитывали на грош досужего покупателя. Но тут же, в университете, гордый красавец Грановский читал по средней истории — и тут был мир красивый и звучный, полный действия, — Гизы и Валуа, Ланкастеры и Йорки: это тебе не мурмолка червленая. И Петруше стала сниться Европа — голубая и зеленая, всё удаляющаяся в узорчатом кружеве башен, — такой она снится только в России.

За все время Петруша ни с кем из студентов близко не сошелся. С одними было не поговорить о том, что его занимало, а те, с кем можно было говорить, были грубы, пили водку и ходили к девкам. Однажды он невесть как попал все же на чердак к одному юноше, старше его несколькими годами, к строгой красоте которого так шло его божественное имя. С ними еще был какой-то

горбоносый толстяк, которого Аполлон — да-да, так и звали нового знакомого Петруши — представил как замечательного поэта, должно быть, в шутку, потому что толстяки, как известно, поэтами не бывают. Они слав-но побеседовали о Шелли и Шеллинге, но по ходу беседы полубог как-то неожиданно напился и перешел на несчастные любовные истории из собственной жизни, а потом схватил Петрушу под руку и поволок с чердака в не совсем понятном направлении, кажется — к цыганам, а надо сказать, что толстяк к тому времени бесследно исчез, и только уже на улице Петруша как-то отделился от своего парнасского спутника.

Петр Иванович успел кончить университет в хорошие для него (университета; впрочем, и для Петруши) годы. Подловатого, бесконечно двусмысленного, но просвещенного графа Уварова еще не сменил князь Ширинский-Шихматов, брат того, что написал поэму «Пожарский, Минин, Гермоген или Спасенная Россия» и умер монахом на Афоне. Теперь брату брата Аникиты поручили спасать Россию по ведомству народного просвещения, и тот спасал — так истово, что количество студентов за год уменьшилось впятеро.

Петр Иванович всего этого не увидел — годом раньше он укатил по скрипучей зимней дороге в Питер, мучась холодом и отечественным бездорожьем и с нетерпением ожидая почтовой станции, где можно будет выпить рюмку водки и прочесть интересные новости об отречении Его Величества короля Людовика-Филиппа.

Пришла весна. Запад бурлил. Петербург, после уютной — не правда ли, дико это теперь звучит? — Москвы, показался Петру Ятаганову не для житья человеческого созданным. Этот город не знал ни жары, ни особенных морозов, но сырость, как послушное эхо, усиливала холод и зной. Далеко было до изысканной дикости модерна, но уже росли, как жизнестойкие лопухи, шестиэтажные уроды вдоль Обводного и Загородного, кой-где небрежно прикрываясь рыночной Флоренцией. В центре неразбавленный амбир не давал безопасного

выхода дьявольской энергии, заключенной в этом городе, — и здесь с человеком могло произойти что угодно: он мог раствориться в воздухе, мог провалиться сквозь землю.

Ятаганов приехал сюда ради убогой и скучной, но обещавшей нечто в будущем службы в одной из наводнявших этот город канцелярий. Как жалел он теперь, что ни одной дружбы, ни одного приятельства не осталось у него от университетских лет, ничего, кроме знаний, которые уже никогда ему не пригодятся. Он испытывал тоску провинциала в огромном, служилом и веселящемся чужом, чужом городе. Под ним была неровная земля — болото с костями; рядом злая, неукротенная река; выше — склизкое, хмурое небо. Нигде не было отрады.

Среди грязных красноносых сослуживцев-столоначальников выделялся бледно-зеленоватый (в Питере все, кроме горьких пьяниц, были зеленоватые — включая Медного Всадника) молодой человек. Раз Ятаганов разговаривал с ним о чем-то вполне невинном — о Бенжамене Констане, что ли. На следующий день Петрушу вызвали по начальству и так отечески пожурили, что он с тех пор старался о чем бы то ни было высказываться как нельзя благонамереннее и не показывать настоящего своего образа мыслей.

Тут-то, неизвестно при каких обстоятельствах, и познакомился с ним Буташевич. Удивившись, как столь просвещенный молодой человек может придерживаться столь ретроградных взглядов, он решил заняться его переубеждением и с этой целью позвал к себе в гости (то есть на собрание кружка). Так как одиночество и любопытство вместе оказались сильнее страха, Петруша пошел, а попав в компанию молодых людей, споривших без умолку о крепостном праве, рекрутчине, цензуре и прочих предметах, не удержался в рамках дозволенного себе и стал высказываться вполне откровенно — Буташевичу оставалось только радоваться его почти мгновенному перевоспитанию.

Тут-то и попался ему Фурье. Ум Ятаганова был воспитан возвышенной, но худосочной германской мудростью, и ему не хватало мякоти, плоти. Оттого и пришелся кстати французский филантроп с морями из лимонада и усовершенствованными китами. В ту пору умер Иван Александрович, и молодой Ятаганов стал владельцем всех отцовских имений, включая Ятагановку. Покинутое отцом имение как нельзя лучше подходило для осуществления идеи, которая только недавно стала созревать в уме нового его владельца. Ятаганов даже подумал о том, что позорные родимые пятна России, как то: помещичье землевладение и крепостное состояние — могут, как ни чудовищно, стать в руках просвещенного и мудрого друга человечества дорогой ко всеобщему братству. Старый двор, принадлежавший прадеду — полному тезке, если кое-что перестроить, вполне подойдет для...

В начале лета он уже со всей определенностью объявил в кружке: в его имении будет фаланстер. А еще через неделю, героем уехав из Петербурга, он объяснял хмурым мужичкам прелесть жизни в новом земном раю, где всё, созданное совместным трудом, будет по совести делиться между всеми и каждым, а барин останется только в роли как бы наемного управителя общим хозяйством...

В то лето он освободил ятагановцев от оброка, приказав вместо того выстроить на дворе Петра Ивановича-старшего по собственному барского изготовления эскизам светлые корпуса, куда переселятся из жалких своих домиков облагодетельствованные крестьяне. Проект включал площадь для праздников и гуляний, здание канцелярии — его предполагалось соорудить в будущем году, вместе с амфитеатром по греческому образцу.

Осенью, посвежевший и загорелый, вернулся он в Питер — ненадолго, на неделю или на две. В ноябре должно было состояться торжественное открытие фаланстера. Ятаганова провожали как героя.

— Настанет день, — говорил Буташевич, — и слово «Ятагановка» отзовется в русском сердце не меньшей гордостью, чем «поле Куликово» или «Бородино». Просвещенный француз и чернокожий житель Полинезии с признательностью произнесут это слово. Пусть жалобы парижских работников остались безответны, пусть презренный буржуа бесчестно присвоил трофеи революции — Россия укажет миру путь к Свободе, Равенству, Братству...

В заключение поэт Пальм прочел стихотворение, посвященное Ятаганову.

...Не доезжая до Ятагановки нескольких верст, Петр Иванович увидел зарево. Обеспокоенный барин приказал ехать быстрее. Сомнений больше не было. Горел фаланстер. Пожар мог произойти и случайно. Но, вопреки тому предвзятому мнению, которое у вас, возможно, уже сложилось о Петре Ивановиче, он вовсе не был глупым человеком. Он внезапно со всей отчетливостью припомнил то, чего раньше не хотел замечать, — хмурость мужиков, их многозначительное хмыканье; бревна, которые вдруг падали чуть не на голову барину, когда он ходил надзирать работы...

Он махнул рукой и приказал поворачивать назад.

8

В марте следующего года Ятаганов был арестован по делу Буташевича-Петрашевского. Дальнейшее известно. Он разделил судьбу своих товарищей по кружку, был на каторжных работах, потом на поселении и скончался 29 февраля 1860 года в Нижнем Новгороде.

Госпожа Бабушкина сразу после ареста племянника вступила во владение имением. В Ятагановке жил назначенный ею, а потом ее сыном управитель. В конце прошлого века управляющим в имении был некто Александр Александрович Блох, выкрест в лютеранство и человек со склонностью к историческим разысканиям. Он нашел и описал архив Ятагановых, а также составил

по документам и показаниям очевидцев краткую историю их рода, каковая и легла в основу моего повествования. Рукопись Блоха после революции попала в краеведческий музей, где, вероятно, и сгнила бы, если бы ей не суждена была более почетная смерть — в 1941 году она сгорела вместе со всем музеем от попавшей в него бомбы. Однако в музее был чудак-смотритель, который перед самой войной непонятно зачем снял копию с рукописи Блоха и связанных с ней документов — копию точную, с соблюдением старой орфографии. Позже этот замечательный старичок переехал в Ленинград, где жили его дети, и вскоре скончался. Совсем недавно правнучка смотрителя, школьница, собирающая макулатуру, обнаружила, что от прадедушки осталась груда решительно никому не нужных бумаг, и в восторге поволокла их к себе в школу. А в школе этой был учитель физкультуры, увлекавшийся коллекционированием старых рукописей. Увидев нечто, написанное от руки с ятями, он, одолев сопротивление педагога, ответственного за сбор макулатуры, извлек рукопись из злополучной бумажной горы и поволок к себе домой, где произвел соответствующий анализ и очень огорчился, осознав, что перед ним копия. Он уж было собирался забросить свою находку, но его племянник, мой приятель, зная мой интерес к такого рода вещам, выпросил рукопись у дяди и передал ее мне.

Остается открытым вопрос: существовало ли, а если существовало, то существует ли продолжение, касающееся дальнейшей истории злосчастной деревни? Буду благодарен за любые сведения по сему поводу.

Сейчас я даже не знаю, что находится на месте Ятагановки — на карте Смоленской области такой деревни нет. И все же иногда я там бываю — во сне. Обжитая и испорченная человеком частица земной поверхности все же иногда возвращается в равнодушную копилку природы, где нет добра и зла. Среднерусской же природе человек не нужен — ее целомудренная красота обходится без человеческой ласки. Что с того, что лысова-

тый луг завален горами железного и бумажного мусора, что между строевыми домами вяло пасутся безработные трактора — есть ведь еще холодный дух от реки, и шелест высокой болотной травы, и ветер с привкусом дыма от горящего вдалеке леса. А потом я поднимаюсь на холм, и тут мой сон раздваивается: иногда я остаиваюсь у запертой калитки с названием какого-то учреждения, которое не могу прочесть — набор букв все время меняется, и потом долго блуждаю вдоль заборов в поисках хоть какого-то прохода — и никогда не нахожу; но иногда я все же попадаю в сад, и тогда по заросшим, забытым временем аллеям — Ятагановка снится мне и зимой, но снится всегда лето — я пробираюсь, всегда безошибочно, к покосившемуся памятнику черного мрамора, со стертыми временем словами любви — любви старого, но живого, к молодой, но мертвой, и сажусь на заржавленную, утонувшую в траве чугунную скамейку. А иногда, уже в самом последнем сне, я вижу ослепительный светящийся шум фонтана, которого никогда не было.

Апрель — Июль 1988

ШУБИНСКИЙ Валерий родился в 1965 году в Киеве, в 1972 году с родителями приехал в Ленинград, точнее — в Царское Село (город Пушкин), где прожил 14 лет. Окончил финансово-экономический институт, но по специальности работал недолго — при первой возможности уволился, год сторожил от неизвестных злоумышленников заводы Смольнинского района, а потом кончил курсы экскурсоводов и сменил профессию.

Стихи пишет очень давно, прозу — около пяти лет. В 1989 году стихи напечатаны в сборнике четырех поэтов «Камера хранения», до того несколько стихотворений напечатано в «Авроре» и «Молодом Ленинграде». Публиковались переводы. Проза печатается впервые.

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

НА СМЕРТЬ ЦИЦЕРОНА

Марк Туллий! корень зла — сей воздух ядовит,
но речь идет о том, что Рим гниет, Марк Туллий.
Равно заражены сенаторы, сады,
и бабы жирные, и греки гувернеры,
и в доме Януса воинственный, привычный
сквозняк...

Клянусь Судьбой — прискорбный вид, Марк Туллий!

СТЕКАЕТ МОЗГ В ПРИБРЕЖНЫЕ ПЕСКИ

Невыразимо сух прибой сыр овечий...
Что в Городе тебе? — бродяги, кабаки,
изысканных матрон любовники быки,
да к небу кулаки — азы плебейской речи.

Что в Городе тебе?

Замкни губастый рот:
дежурный триумвир охвачен честной жаждой —
он Фульвии своей преподнесет однажды
твой череп.

Конвойный, грубый скот!
вольнотпущенник — он карьерист, мерзавец!
Три довода мечом неотразимы.

В том
порукой Фульвия. И опустевший дом.
И македонский брег.

Но неужели зависть
в ораторе такой мог вызвать аргумент:
испанский острый меч?

Как воздух густобел!
Твой гордый Рим гниет, как старый сифилитик.

Ты недорассчитал, блистательный политик.
Недоучел, писатель, проглядел.

ВТЕКАЕТ МОЗГ В ПРИБРЕЖНЫЕ ПЕСКИ

Густеет немота сенаторской конюшни.
Наглеют всадники. В провинциях разврат.
Дежурный триумвир томится жаждой власти,
и он не пощадит.
Несчастный мой язык проколотый иглой
нет шпилькой
злойной бабы и правая рука прибитая к трибуне на
площади

ТАК.

Я, Марк Туллий Цицерон,
сим явствую в веках смерть
Города-героя:
Республика Меча рождает Трон,
могилу собственную роя.

СТРАХ СЛУШАЕТ СЕБЯ И ГЛУШИТ ПЛЕСК РЕКИ
ВО ТЬМУ НАБУХШУЮ РАСПАХНУТОЙ АОРТЫ
НО ВЫСЫХАЕТ МОЗГ И С НЕБА ЗВУКИ СТЕРТЫ
И ВЕЧНОСТЬ СОННАЯ ЛОЖИТСЯ НА ПЕСКИ

январь. 74

Я НЕ О КНИГАХ ГОВОРЮ

И зачем бы в самом деле эти толстые тома,
И механики потели и мудрила Хохлома,
И уверенные краски растираются в руке,
Янтари ручной очистки,
Сверхъестественные маски на лице и на крюке?

И выходит спелый Ваня, золотые волоса,
Перекур, два пива, баня, молодые телеса.
Он плечом поводит хмурым, направляясь на толчок,
Он кивнет знакомым мурлам,
У него на теле буром говнючок-плановичок.

У ево бригадный номер и на рученьках пальто.
У ево родитель помер не за что-то, а за то,
По-геройски, а не рванью, и не так, как было
встарь...

(Призываю ко вниманью!)
Происходится собрание, что проводит секлетарь.

Для того, видать, и были эти толстые тома,
И механики мудрили и чудила Хохлома,
Дед пахал, отец сражался, Спутник гукал вдалеке
(Неизвестно где мотался).
Я не ждал, а ты дождался — так и сгинул на крюке.

окт. 75

ДОРОГА В НОЧЬ

«Бежи несытая души...»

из тропаря Великого Четверга

Вчерашним солнцем смазаны черты.
Но, вящей убедительности ради,
Сведенные на данные листы,
Гомер все так же слеп, Улисс — хитер, а ты —
Чиста... Ведь вряд ли при ином раскладе
Помыслить можно было б о награде
За постоянство...

Привкус пустоты

Не в счет.

...Ты помнишь: ощупью, без света
По шраму был служанкой узнан грек.
Но мечен всем, чем только метит век,
Я не хочу рассчитывать на это.

Есть в этом что-то жуткое: рубцы
Хранят нам верность дольше, чем подруги,
Невесты, жены (углядев дворцы,
как не покинуть — в самой честной муке —

недавний рай — шалаш!)... Оставьте луки,
Моль голопузая! мы сами не слепцы.

Шрам! — вот она где, верность насовсем!
Недаром боль от века шьется твари.
Но Господи! — плоть вожделеет к паре,
За что же я, как нищий на пожаре,
До тошноты горящий воздух ем!

Зной сушит жабры. Жесткая стерня
Вбирает след, но отпечаток прячет.
Общенье тел не требует огня.
Разлуки тьма, родство искореня,
Роднит вдвойне — и за душой маячит.

Ночь. В облаках затертая луна
Бессмысленно таращится с экрана
Небесного... И все-таки видна
Тропинка к дому. Справа от окна
Крадется тень... Покуда ты одна,
Спи за двоих — мы завтра встанем рано.

Ночь. У сарая корм жуют волы.
Такой прогон, как будто я в чужое
Забрался время, точно мне малы
Кровать, и ночь, и женщина... Теплы,
Но как-то сухо плечи под рукою.

Не кашляй, мальчик. Не балуй, жена,
Целуя ноги раненного славой
Бескровной жертвы. Ты была верна,
Чем я отчасти примирен с державой
Причин и следствий. Пусть она темна —
Лишь ты бы в ней казалась величавой.

Ночь. За окном шуршанье и возня.
Мозг, сквозь дремоту пробегая список
Издержек, склонен к грубости: херня...
Но знает сам, что лжет. Что до меня —
То хоть и глупо гибнуть за огрызок,
Но все ж милей, чем мастерить коня.

Дорога. Ночь. Помятое крыло.
Из зарослей выглядывают рыбы,
Разинув рот. Дома стоят, как глыбы.
Тьма обобщает лодку, пляж, весло,
Сарай, колодец, время и пространство,
Меня, мои гримасу и чело,
Склоненные к часам, молчащим зло
И прочно — ибо мера постоянства
Не время, а подкожное число.

Я опоздал, ты — просчиталась... Жив
Лишь отблеск наш — и тот в обличьи новом.
Любимая, я не случайно лжив:
Судьба не путь, как кажется, но миф,
Еще не обрученный с точным словом, —
Но ты его поймешь поздней других.

Не вычисляй. Я выспался... Опять
Мой шрам смердит, и воздух сушит жабры.
Стреляет в кровь...

Мечта не ищет славы,
Но так влечет, что приневолит встать.

окт. 78

* * *

При нахождении лица
любимого — в районе дальней
туманности — из окон спальни
в полет влечет и мудреца.

Хотя бы даже бельэтаж
вносил иронию в стремленье
смутить полетом население
с детьми гуляющих мамаш.

Полет — влечет! Тем самым связь,
подчеркнутая рифмой точной,

потенциал имеет прочный,
в бессрочный умысел клонясь.

С чем нам и должно, стало быть,
считаться — чтоб, когда приперло,
в районе вены или горла
с опасной бритвой не шутить.

март 80

Владимир ХАНАН родился 9 мая 1945 года — в День Победы — в Ереване. Раннее детство провел в Ленинграде и Угличе, откуда семья снова вернулась в Ленинград. «Отрочество, юность и первую молодость, — говорится в «Краткой автобиографии» (1982), — я провел в Царском Селе — обстоятельство, возбуждавшее некоторые надежды... Первые стихи я написал в начальных классах, но, стяжав славу, успокоился почти на десятилетие. (...) После означенного перерыва мной были написаны и изданы — лично — две книги стихов: „БЕЗ БОЛИ“ в 1975-м и „БРОНЗОВЫЙ ВЕК“ — в 1977-м годах, куда вошли тексты с 1970 года. Одновременно были освоены профессии слесаря-сборщика, такелажника, рентгенолога, электромеханика по обслуживанию лифтов, вахтера (сторожа), вестимо, истопника, а также высшее образование по курсу истории — без диплома. (...) Возрастая, отдал дань всем — и правым и левым — ересям эпохи, чтобы наконец выпасть в отдельность наедине с собой и с жизнью, которую воспринимаю с позиций последовательного христианства. Сейчас пишу статьи по интересующим меня вопросам, а также подготавливаю к печати третью и четвертую книги стихов — „ПРОСВЕТ В ОБЛАКАХ“ и „ПРОЩЕННАЯ ЛИСТВА“, после которых собираюсь сделать „избранное“ из четырех книг». В середине 70-х годов — несколько «непредставительных публикаций» в ленинградских и прибалтийских газетах, в 80-е — несколько зарубежных публикаций.

КАКИМ БЫТЬ ДСУ?

Когда ящик уже перерыли до дна и извлекли на свет Божий произведения авторов, творивших в разные годы — и в начале 80-х, и в конце 40-х, — только тогда вдруг обнаружили то, которое сверху. Так случилось, очевидно, потому, что его никто не считал за произведение, лежит себе и лежит. И в самом деле, можно ли в данном случае говорить о рукописи и об авторе? В данном случае правильнее говорить о составителе, а еще правильной — просто о собирателях газетных вырезок.

А. Турбин

Горячо, заинтересованно проходит обсуждение проекта Устава ДСУ. И этот факт говорит о многом. В сущности, если вдуматься, о чем только он не говорит! Публикуем поступающие отклики.

Что плата вперед — это ладно, это как везде, кроме парикмахерской, но весь вопрос, какие цены. Если такие, что мало кому доступно, то зачем всенародное обсуждение? Не получилось бы опять сплошное лицемерие. Одни будут обсуждать, а другие пользоваться.

М.Н. Слесарь-инструментальщик, 35 лет.

*

Могу только приветствовать. Где еще есть нечто подобное? Подобное, возможно, и есть, но такого, судя по проекту, нигде. А мы-то все засматриваем, мы-то все завидуем, будто своего ничего нет, а есть. И это, не говоря о ДСУ, по всем линиям. Где еще могут перестроить церковь из ремонтного цеха в концертный зал? Нигде даже не додумаются! Кое в чем во многом они и превзо-

шли, что правда, то правда. Так что задача у нас не простая, но ясная: постепенно к ним приблизиться, попутно превосходя и затыкая за пояс.

В.С. Мастер спорта, доцент.

*

Главный, конечно, это вопрос управления. Выборы мать-наставницы общим собранием коллектива с активом ничего еще не обеспечивают, тем более не указано, сколько кого, а мы знаем, как бывает, что сама же соберет узкий круг приятелей, которым в дальнейшем все преимущества. Поэтому предлагаю дополнить, чтобы на отчетно-выборном собрании присутствовали все девушки, сколько в данном ДСУ, и обязательно столько же активистов, т.е. 50%, если не больше.

*Н.И. Бригадир поваров
треста общественного питания.*

*

О том ли думать, когда скорбит душа! Под вывеской пылкого уважения к прошлому неуважение хуже прежнего. В который раз выводят голого короля и сбиваются в кучки кричать, что вот-де, голый. Подумаешь, первопроходцы! Колумбы в колумбарии! Но где же здесь уважение? Голый, значит надо одеть. Отец же, хамы! Могучий нравственный потенциал идиотизма деревенской жизни сгубили мы, теперь и пожинаем.

М.Ш. Писатель, 55 лет.

*

Может, я что не то скажу, но мое личное мнение, что характеристика вообще не нужна. При гласности не секрет, что я сам же ее и пишу, а треугольник только подписывает, а если не подписывает, то только по злобе, особенно Тарасов. И потом неясность, как понимать «активист представляет характеристику»: если каждый раз,

так это такая бюрократическая волокита, что вообще, извините за выражение, расхочешь.

П.Л. Электрик, 25 лет.

*

У нас разные мнения. Моя супруга по мере чтения вслух, пока она занималась на кухне стряпней, выразила большое количество замечаний и отдельных слов. Но я отнесся, что люди, которые это дело перевертывали на все стороны, понимают не хуже нас с тобой. Просто так, говорю, ничего не бывает, тут еще думать и думать, какая причина и с чем связано. И сын, когда пришел, это ей подтвердил. Но она же у нас умнее всех, а он в нее смешливый, тем всегда и кончается. У нее какая характерная черта. Я уважаю борщ более водянистый, а сыну, чем ни гуще, тем лучше нравится. Вот такое, даже можно сказать, везенье хозяйке: из одного и того же борща угодишь на разные вкусы. Но она за всю жизнь не постаралась запомнить! Как была смолоду, что без жениха не останусь, а еще выбирать буду, такая и есть. И между прочим моложе меня всего на год и три месяца, а разве скажешь?

Е.Л. Машинист маневрового локомотива, 57 лет.

*

Чего мы ждем от ДСУ? Как показывают опросы, многого, ох как многого! На вопрос «какие качества вы хотели бы найти в девушке?» 87% ответили «доброту», 73,5% — «моральную чистоту» и 71% — «скромность». Большое значение придается также правдивости, не в бытовом, разумеется, а в подвижническом плане (66%), широкой осведомленности в истории, прежде всего по части новооткрытых белых пятен и дней минувших анекдотов (64%), любви к животным и неприязни к атеизму (одинаковый показатель: 61,3%). Почти все опрошенные подчеркивают: «Каждая девушка должна быть личностью».

Большинство отмечает: «настоящий успех возможен лишь при условии, что девушка и активист выступают как единомышленники». Куда меньше интересует потенциального активиста уровень специальной подготовки девушки. В первую очередь он ожидает облагораживающего влияния на себя, всестороннего развития своей личности по ходу этого общения, которое, не умаляя развлекательного элемента, мыслится ох каким поучительным. На будущие ДСУ смотрят как на воспитательные учреждения самого высокого пошиба, поэтому в уставе следует прямо и без всякого стеснения назвать их университетами и приравнять по ставкам и всему.

Д.К. Социолог.

*

Идет много разговоров о высоких идеалах из §1. Говорят, не позволят запускать музыку, кроме классической. Мы против этого решительно возражаем. Не те времена! И мы тоже не возражаем, кто любитель под классическую музыку, в своем номере пожалуйста.

М.Б. Студент МИСТИ.

*

Хочется поспорить по вопросу о скромности. Важно, конечно, чтобы девушки были скромные, но не попадаем ли мы отчасти под влияние устаревших, закоснелых, самой жизнью отвергнутых представлений? Скромность скромностью, но мы ждем от девушек и других качеств, подчас, я бы сказал, не менее важных.

*Г.С. Инженер-плановик объединения «Радуга»,
33 года.*

*

Упоминание о культурной и воспитательной роли ДСУ в проекте Устава §2 многих насторожило. Мы об-

суждали в бригаде, и некоторые понимают так, что с этими девушками потише, а то потом намайешься в соответствующих организациях. Это нас не устраивает, потому что кому это нужно? Мало ли что ей выскажешь, а некоторым как раз интересно поделиться, потому что не с кем, а чего-чего, этого добра и без нас хватает, хотя жилищные условия лимитируют. Но если эти культурные девушки передают куда следует, то это никому не интересно. Так что вы должны откровенно разъяснять народу, что это ничем не оправданные опасения.

С. Ч. Маляр СМУ-3 треста «Промдорстрой».

*

Кое-кто предполагает, что я и мои сверстники, якобы мы что-то не то делали в продолжение всей жизни. Они так думают потому, что по молодости не могли воочию наблюдать прогресс. В годы культа мы не сидели сложа руки, а самоотверженным трудом подготовляли замечательный период волонтаризма, впоследствии осужденного, и понемногу повернули к застою с его той особенностью, что волонтаризма уже не было или был, но уже не так бросался в глаза. И опять же не кто-нибудь, а мы, не покладая рук, приближали нынешний замечательный период покаяния, а если кто тем временем вышел на пенсию, ничего не поделаешь, годы. Но мы все равно не знаем покоя и стремимся внести вклад. В частности, предлагаю возродить традицию убирать улицы. При культе с этим было строго, потому что были дворники: старший дворник, с двумя зелеными полосками, и младший, с одной. А что теперь? Всю ночь шел снег, покрыл весь двор, лег ровный и пушистый, и я с удовольствием вспоминал, как еще до войны, выполнив священный долг, мы умывались снегом до пояса и он приятно и бодро держался на плечах и на груди, где волосы, пока добежишь обратно до барака. Но в течение дня он тоже шел, но таял, и в 16 часов, когда я вышел, уже горели фонари, а идти невозможно, блестят ледяные глыб-

ки с между ними густой водой, как мелкие острова, а на дне там, вероятнее всего, тоже лед, и не знаешь, куда ступить. Ну, я кое-как, можно сказать, дополз до угла и вернулся, тем более, что ключ-то взял и очки взял, а кошелек забыл. При таких условиях не то что куда, а до ближайшего гастронома не доберешься. Спасибо еще сахар остался полпачки, и вот пишу вам.

*И.Л. Председатель товарищеского суда
при ДЭЗ-26, 71 год.*

*

Решающее, чтобы каждый выкладывался на своем месте, и активист обязан спросить, а что ты сделал сам, не перекладывая на администрацию и на девушку! А мать-наставница, как ни выбирайте, все равно будет хлопотать для своих дружков, невзирая на права человека. Поэтому ее надо ограничить. Пусть присматривает за текущим порядком, а управлять должно правление из заслуженных людей, ветеранов, которые сами не пользуются.

*И.Т. Директор самофинансируемого
молодежного клуба «Импульс»*

*

Сказать по правде, меня одолевают сомнения. По силам ли нам уже не сегодня-завтра создать те идеальные заведения, какие обрисованы проектом? Созрели ли условия, отцвели ли предпосылки и, во-первых: подготовлены ли должным образом и в должном числе наши прекрасные спутницы? Во-вторых, заглянем в себя: сами-то мы готовы ли пробежать хотя бы эту короткую дистанцию с достоинством, как истинные джентльмены? А нет и нет, так не получится ли вместо этого совсем не то, а? О да, временный отход от идеала кого-кого, а нас не испугает. Умудренно анализируя наше прошлое, которое мы теперь взвешенно оцениваем уже не просто

как славное или как просто проклятое, а как наше славное проклятое прошлое, мы убеждаемся, что никакие конфузы с опытами жизнеустройства в соответствии с идеалом никоим образом не могут омрачить сияние самого идеала, напротив, чем дальше отступаешь, тем издали он сияет невиннее. И мы-то, битые, перебьемся, но молодежь, молодежь! Не постигнет ли ее опять разочарование вследствие того, что мы пока опять временно от него отступили? И не порадуются ли как раз те, которым и так сойдет? Я много думал об этом и пришел к выводу, что есть смысл подумать.

А.М. Публицист, 61 год.

*

Никогда не писала в газеты, но раз так, ничего не остается. Хотя в уставе говорится ни в коем случае не в ущерб укреплению семьи и воспитанию детей, а наоборот, но это одни слова, пока не затронут момент: час-то ли им разрешается туда ходить? Я считаю, не чаще одного раза в месяц, причем желательно выдавать талоны на определенный день, чтобы я знала, например, что в этот понедельник его нет, но зато в остальные дни сразу домой и уже без никаких. А кто действительно укрепляет семью и непьющие, им талоны, я считаю, с большой скидкой за счет профсоюза. А еще бы лучше выдавать на руки жене, потому что ей видней.

Е.Ж. Ст. товаровед.

*

А наши девушки из микрорайона все равно лучше! И все они наши, и мы все ихие, и не нужно нам никакого ДСУ, еще с мамашей лаяться и будет выпытывать, сколько лет.

*Э.А. Ученик 8-го класса.
Ф.Р. Учащийся СПТУ №14.*

В наши дни, как заверяют, не посадят, если скажу, что это одно баловство. Мы как жили? Мы, например, тут, а в ногах у нас теща под окном, которая, как назло, проснется и кашляет, потому что от батареи жара, а сверху дует, а больше ее некуда, гардероб к окну не приставишь. И что же в итоге? Но ничего плохого. Дети оба получили высшее образование.

А.Н. Главный бухгалтер ЦОПКТБ «Полет».

*

Хочу спросить, как намечается решать вопрос с нами, сельскими жителями. Будет ли ДСУ в райцентре? Это бы еще терпимо, хотя и тяжело по бездорожью. А если же только в области, то не талоны, а путевку в ДСУ на отпуск, а льготная или какая, подходить конкретно.

*И.Я. Бригадир по кормопроизводству
агропромышленного комбината «Маяк»,
40 лет.*

*

Кто сомневается вообще, я этого не разделяю. Чем привносить ненужные эмоции куда не нужно, насколько лучше благоустроенное место, где полная свобода всех проявлений, исключая, само понятно, негативных. Мой родной племянник, который живет в нашем же доме на 8-м этаже, кв. 156, толпился с народом на площади и кричал, небось, громче всех, а результат тот, что ангина. Разве бы это произошло в тепле и красивой обстановке? А она-то, нет с мужем посидеть, она сама толпится, теперь выбрали напротив кино «Нептун». А он отпускает и улыбается с обвязанной шеей. Тоже, по-моему, неправильно.

Х.Д. Пенсионер, внештатный лектор.

Вы, конечно, не напечатаете мое письмо, но задам прямо: кто эти проекты составляет? С виду как будто все для народа, а что ни параграф, то подвох. Чего стоит в §44 оговорочка «по мере возможности»! С виду ничего такого, а что получится в жизни? Да очень просто: люди, которые уезжают когда хотят, будто бы в райком и к тому же на служебной машине, они и приедут раньше всех. А у нас кадровик, сивый пес, еще с послеобеда шагает по лестничным клеткам высматривая, а даже извернешься, ему все равно доложит вахтерша, особенно когда дежурит эта не наша, пучеглазая. Короче говоря, я иной раз раньше как без четверти шесть никак не слиняю и, пока доберусь на автобусе и метро с пересадкой, мне и скажут: хватай что осталось. Поэтому в §44 надо оставить слова: «Администрация в лице мать-наставницы, уважая выбор активиста, идет ему навстречу» и никаких «по мере возможности». И открывать не раньше 19.30 и впускать только в порядке живой очереди.

Л.М. Ст. лаборант, 26 лет.

*

Люди, которые против ДСУ, значит, по-вашему, не заслуживает одобрения ничего, что приносит людям глубокое удовлетворение, мы им твердо скажем: скатертью дорога! Но, проявляя исключительную выдержку и большое внимание к человеку, мы им скажем пока похорошему: не хотите — не ходите. Ведь ясно сказано в §77 о соблюдении строжайшей добровольности, а других не мути.

Л.Ж. Лейтенант внутренней службы.

*

Бояться перемен не надо, а видеть тенденцию и контролировать ситуацию. Революция всегда провозглаша-

ла или подразумевала создание нового человека. Того ради и совершалась. Через некоторое время, однако, обнаруживалось, что человек все тот же, и в той мере, в какой это учитывали, наступала более или менее черная реакция. Нам это не грозит, ибо новый человек в основном создан. Правда, ему по-прежнему подавай пить-есть, но эти и другие потребности, так наз. естественные, разумно признать таковыми. Против естества не попрешь, и было ошибкой, что перли. Пусть, соблюдая умеренность, ест и пьет, это еще никакая не реакция. А желающие вдобавок иметь обо всем свое мнение пусть имеют. На здоровье. Другое дело, что ничего этого они еще не умеют: ни есть, ни особенно пить, ни тем более иметь обо всем свое мнение, соблюдая умеренность. Этому еще надо учиться. Следовательно, создание нового человека не завершено, но продолжается. Хотя может показаться, что теперь мы стремимся не столько создать нового, сколько воссоздать старого; но поскольку теперешний оказался отчасти какой-то никакой, не соображающий даже, к примеру, что на пить-есть надо заработать, то отчасти старый как раз и выйдет отчасти новый. Во всяком случае, мы и впредь при деле и приглядываем. Вот почему перемены не должны пугать. Чем больше это меняется, тем больше остается тем, что нужно.

И.О. Доктор философских наук.

*

Я сам ветеран, но скажу так: ветеран ветерану рознь. Это еще надо проверить, он пользуется или нет, а то с этим правлением из заслуженных людей не успеешь опомниться, как дверь заперта с бумажкой, что закрыто на спецобслуживание. А это потому, что там соберутся их сынки, а нам, в том числе ветеранам, уже не пробиться.

*Ф.О. Член совета ветеранов
производственного объединения «Заря».*

Много лет обиваю пороги инстанций, исхитряясь внедрить изобретение, но никак. Вот почему так взволновало меня известие о ДСУ: вот где ему самое широкое применение. Судите сами. Мое изобретение — это звуконепроницаемая дверь без скважины. Мысль родилась еще до того, в молодости, а насколько она актуальная, я испытал впоследствии на своей судьбе. Не вдаваясь в технические детали, суть в том, что звуки-то из-за нее проникают, но нельзя разобрать слова, чтобы потом перетолковать, как заблагорассудится безграмотной женщине. Могут возразить: а почему стоять под дверью в ДСУ, когда каждый в своей комнате и занят своим делом? На это отвечу, что такие люди, как моя милая соседushка по той квартире из крайней комнаты (фамилию называть бесполезно, поскольку уже 7 лет как померла как ни в чем не бывало), найдутся везде и всюду, тем более где столько дверей. А обойдется она недорого, технология изготовления простая.

А.Ш. Изобретатель и рационализатор, 75 лет.

Авторы проекта почему-то уверены, что ДСУ будут экономически эффективными, даже процветающими, и это сделается, так сказать, само собой, на радостях. Навивное заблуждение. Не будет никакой эффективности, да и радостей тоже, пока мы не откажемся от принципа предварительной оплаты, который в прискорбные годы укоренился в сфере услуг. В основе его лежит недоверие к человеку. Ведь у нас требуют плату вперед даже за глажку в присутствии помятого, за выведение пятен в присутствии запятнанного. При этом остается незамеченным многозначительный факт: если пятна, допустим, действительно, выведены, а бывает и так, клиенту и в голову не придет доплатить. Труд по действительному выведению пятен, когда приложен, остается неоплаченным! Так наглядно и назидательно выявил

свою неэффективность принцип предварительной оплаты, хотя и дополненный принципом «жалуйтесь, это ваше право». Что же получается, если мы попытаемся применить его в условиях ДСУ? Начать с того, что само понятие «услуга» в данном случае не имеет четких определений. Даже если простодушно брать в расчет только услугу, принимаемую за основную (фундаментальную), то и тогда пришлось бы заранее учесть все многообразие методов и приемов, какими она может быть оказана; если же вспомнить об услугах эквивалентных, а также сопутствующих, косвенных и т.д., словом, иметь в виду весь спектр возможных в ДСУ услуг со всеми возможными оттенками в исполнении, то окажется, что составление сколько-нибудь полного каталога — задача практически невыполнимая, а исчерпывающий каталог, по нашему убеждению, и теоретически несоставим, поскольку в натуре по ходу взаимосвязанного процесса предоставления-принятия услуги всегда возможен и желателен элемент импровизации. Что же мы предъявим активисту, переступающему порог ДСУ, в качестве основного документа, регулирующего предварительную оплату? А нечего, так ничего и не надо предъявлять, а сдержаться и взимать с него только умеренную плату за вход, с тем чтобы за услугу он расплатился потом, перед уходом. Собственно говоря, мы предлагаем распространить на ДСУ принцип оплаты по конечному результату, но тут крайне важно не впасть в ошибку, потому что примитивное, вульгарное понимание конечного результата повело бы опять к погоне за валом с неизбежными губительными последствиями для качества и к обидному преждевременному истощению ресурсов. Важно понять, что в данном-то случае именно труд сам по себе, но раскованный, освобожденный от жестких предварительных заданий с мелочным нормированием и скрупулезным учетом всего и вся, обоюдно вдохновленный труд двух человек — это и есть конечный результат. Что касается временного конца, то он удачно и лирично обозначен классической формулой: «Усталые,

но довольные». Нет сомнений, что такой подход окупится. Доверие к человеку будет оценено, и он, усталый, но довольный, скорее переплатит, чем недоплатит. Будьте покойны. Но почему доверие только к одному человеку? А другой, он что же, выходит, не с большой буквы и не звучит? Надо идти до упора. И особо ослепительного эффекта надо ожидать, если платит один другому не опосредованно и уже отчужденно, через кассу, а непосредственно и непринужденно он ей. Она же вносит в кассу не все, а лишь определенный, не завышенный и по специальному закону не подлежащий завышению, на веки вечные установленный процент. Вот он, секрет процветания, притом неслыханного! И не бояться злоупотреблений, не заглядывать в тумбочку, не прикидывать, сколько у нее там осталось, ибо, в конечном счете, чем больше, тем лучше для всех! Мы сознаем, что наши предложения могут показаться смелыми сверх меры, мы и сами, переглядываясь, вздрагиваем от мысли, до чего это традиционно, как оглушающе старо, но что поделаешь! Иначе сейчас нельзя.

К.Х. Доктор экономических наук, 62 года.

*

По вопросу управления скажу из опыта. Руководитель один не в состоянии охватить, хотя бы и ряд заместителей. Поэтому, не ослабляя борьбы за сокращение штатов, есть необходимость образовать подразделения: отделы, подотделы, сектора и группы. И будут выдвигать девушек, конечно, отличившихся. Но этот принципиально правильный подход не всегда оправдывает себя на практике. Была, помню, девушка, забыл фамилию. Получила небывалые надои какого-то овоща с одного гектара, до сих пор мировой рекорд: ни с одного другого гектара не удалось. Но ее напрасно оторвали от ее гектара, и больше уже ничего удивительного ни от нее, ни от той свиноматки. Вот этого урока не повторять. Кадры

руководителей, наряду с выдвижением, целесообразнее формировать из руководящих кадров.

К.Т. Государственный советник, 78 лет.

*

Верно подмечено, что предварительная оплата создаст ненужную заорганизованность, излишнюю регламентацию, сковывает творческую инициативу как девушки, так и активиста. Между тем задействовать фактор инициативы, без которого не будет ничего особенного, в этом залог успеха. Но держать швейцарапомо- ложе и владеющего приемами на случай нахальства с оплатой.

*П.С. Председатель профкома
научно-производственного объединения
«Усть-Омчугский машиностроительный завод»*

*

ДСУ для нас или ДСУ для мафии? Если для нее, то у нее, не горюй, это дело и без нас налажено у обеих: и у той, которая на свой страх партизанит, и не хуже у той, которая с ней всю бесстрашно борется. А если для нас, т.е. для народа, то нечего зубы-то заговаривать, а одно из двух: или они там на хорошей зарплате, т.е. девушки, или выплачивайте мне от предприятия на активное посещение. А то откуда же я возьму из своего кармана!

*И.Ш. Техник-механик,
член совета трудового коллектива, 34 года.*

*

Я посещать не буду или редко, когда в семье стечение обстоятельств, примерно четыре раза в год. Но спрашивается: получу ли я взамен преимущество на мало-доступные товары, в данный момент, в частности, ей

вынь да положишь кое-что по списочку, а для меня лично лезвия для бритья 0,08 мм, хотя бы наши (не мечтая импортные), а всего на такую же сумму, как оставлял бы там? Это не предусмотрено, а напрасно.

*Б.Т. Зав. отделом Двинского филиала
межотраслевого научно-технического комплекса
«Горизонт»*

*

Чего же лучше, если за это время почистят и отутюжат одежду за эту же плату! И чтобы буфет более или менее приличный и открывался пораньше, а то, взять в нашем учреждении, столовая только с полпервого, при той нагрузке околеешь.

Е.Д. Комендант, 43 года.

*

Это безусловно, что мать-наставница одна не справится, а ветераны они и есть ветераны. Отсюда ясно, что там будет много начальниц и вопрос выдвижения действительно важный. Надо присматриваться, выявлять умных и душевных и ничего не путать, чтобы кто еще умнее и еще душевнее занимали должности выше и выше, а не замом или какой-нибудь инспекторшей, которая станет кивать наверх: «Я бы для тебя, мол, всей душой, а только она, дура, все равно не позволит». Талантам положено стоять на лестнице по росту: чем выше, тем выше, хотя пока что выглядит наоборот. Разве не к этому мы стремимся во всех сферах, но особенно в ДСУ, а не то, пока оформишь все бумаги, до самой услуги никогда не дойдет. Должны собираться активисты, обмениваться мнениями, производить переаттестацию девушек и выдвигать умных и душевных, а главное тактичных, но только на полставки, без отрыва от пря-

мого дела. А иначе что же получится: значит, саму услугу оказывают одни остальные? Это просто смешно.

*С.М. Уполномоченный
по материально-техническому снабжению
специализированного объединения «Прогресс»*

*

Вношу предложение, чтобы необязательно ДСУ, а ввести с.у. на дому. Лично я, например, люблю жену. Она еще молодая, но у нее образовались тонкие морщинки около губ, и она говорит: «Я уже старая, ты меня разлюбишь». Лично я не разлюблю, но она заранее не знает и огорчается. А то примется растирать двумя пальцами с какой-то мазью с огуречным запахом. Я говорю: «Вот ничего и нет!» А она говорит: «Врешь!» и даже в слезы. Неужели она не заслужила, чтобы получать, как те девушки, считаясь дома на работе по совместительству! Если б она что-то за это получала, она бы не так изматывалась от жизни. Найдутся и другие, как я, и это временно разгрузило бы ДСУ для всех желающих.

*А.С. Пом. мастера
базовой экспериментальной фабрики, 37 лет.*

*

Продавать вышивки и другие продукты досуга в дневные часы в виде сувениров (§99) — интересная задумка, и я не против, но как бы не вышло перегибов и стремления к хозрасчету за счет сувениров из милых трудолюбивых рук. Хорошо бы где-то не забывать постепенно, что активист приходит все-таки не за сувениром.

И.В. Редактор районной газеты «Знамя труда»

*

Чего ждать и чего обсуждать, когда такое открытое пренебрежение к качеству! Нас пытаются уверить, что

активисту наплевать, так как он-де ничего не смыслит в этом. Разумеется, не смыслит, может ли быть иначе после всего, что было? Скромности он, голубчик, жаждет. Дальше некуда, но что же дальше? Все надежды возлагаются на нее, а что смыслит она? Какая ведется подготовка, на какой научной базе? Стыд и срам. Обозревая, что у нас есть в этой области, видим, что ничего нет, как и в других областях. Шаром покати. Но это не другие, это эта, на стыке конечного и бесконечного, чувственного и бесчувственного, духовного и бездуховного и вообще на стыке. Откуда же еще расти науке, как не из этой точки! А она растет? Она и не проклюнулась. Теоретические исследования, говоря язвительно, не поощрялись, концепция ДСУ не разработана, нет и основы для широкозахватных и захватывающих учебных программ. А мировой опыт, он обобщен? Древний Рим? Япония? Даже, по слухам, Гондурас? Он не обобщен. А наш бесценный народный опыт? Увы. От народного умельца мы хотели одного: чтобы он, ничем не отвлекаясь, выращивал брюкву. Спрашивается: где эта брюква? Спрашивается: где тот умелец? И спросим наконец: что делать? Ну, это-то как раз мы знаем: нужен НИИСУ. Необходим! Ни разрозненные малочисленные группы, увлеченные тем или другим, ни отдельные энтузиасты, занятые отработкой того или иного некомплексно, нас не спасут. Не будет НИИСУ — ничего не будет. А нам туманно обещают разве что лабораторию, да и то к концу века. О министерские мудрецы! Да тем временем ДСУ превратятся в рассадники анти-, псевдо- и околонуточных веяний! И какая же наука в конце века? В конце-то века мистика, а не наука.

М.А. Профессор.

*

Совет управляющих-общественников нужен, но в нем должны быть представлены все поколения: и то, которое во что-то верило, и то, которое ни во что не верило, и то, которое верит во что-то другое и как раз пыта-

ется сообразить, во что. По возможности подобрать неспившихся представителей, но именно чтобы от разных поколений. И от потерянного в географическом смысле, и от потерянного по месту постоянной прописки, и от того младшего, пока не найденного. Оказавшись в одной упряжке, они будут поддерживать в ДСУ, как и в жизни, атмосферу что надо. В смысле с ними не соскучишься.

*И.Т. Руководитель арендного коллектива
«Перспектива», 53 года.*

*

Мы этого ничего не понимаем, откуда же нам знать, какое качество! Нужна литература, которая бы описывала, а где она? Вместо этого выпускается литература неизвестно для кого, в которой об этом вообще ничего.

*А.П. Стропальщик укрупненной
комплексной бригады докеров-механизаторов
Тахтаюмского морского торгового порта, 21 год.*

*

Думаю, меня поддержат, что составители проекта, образно говоря, сели в лужу с §111. Он устарел буквально на глазах. Кто там перечислен, кому разные преимущества, разве им? А где же репрессированные и дети репрессированных, где побывавшие в плену, проживавшие на временно оккупированной территории, имеющие родственников за границей и другие знатные люди нашей страны? Конечно, не надо противопоставлять. Те тоже знатные, им тоже нужно, но и этим тоже. Хотя как подумаешь, какого они возраста, то зачем им? Но можно что-нибудь им удумать для милосердия, допустим, нагрудный знак Почетного активиста, и пусть тихо радуются.

Ф.К. Зав. кабинетом политпросвещения.

*

По-моему, слишком много пишут о качестве. У нас тут одна в городке, возле которого наша часть. Под предлогом, что качество, нет почти никакого количества, а сразу чай пить. Так тоже все-таки нельзя, хотя она и добрая по-матерински. Другие наши, которые у нее бывают, такого же мнения.

А.В. Военнослужащий, 19 лет.

*

Согласен, что принципу социальной справедливости как нельзя лучше отвечает живая очередь. А все же, если простоял и не попал, либо попал, но не обрел, остается горький осадок и даже чувство пережитой несправедливости. Особенно тягостными видятся морально-психологические последствия предстоящей очереди в ДСУ, но поэтому необходимо уже сейчас, до того, как она выстроилась, обдумать способы ее укорочения, преодолевая наше известное представление о порядке, который будто бы пора наводить лишь после того, как уже сам собой образовался беспорядок. Как же учредить порядок изначально? Возлагают надежды на управляющих, чем и объясняется завязавшийся острый спор о формах управления ДСУ. Но управляющие здесь ни при чем. Очередь всегда была добровольным и глубоко демократичным установлением, в ней, в очереди, самоуправление, а нарушается справедливость оттого, что идут без очереди, через черный ход, которым как раз и распоряжаются управляющие. Таким образом, они не имеют никакого касательства к порядку, в их ведении только беспорядок, и от этой ограниченности мы не избавимся, будет ли во главе сильная личность или бесильный совет старейшин, хотя бы и разновозрастных. Единственный выход — это единственный вход. Нет другого способа осуществить изначальноный порядок, как еще до открытия ДСУ заделать черный ход, причем не зашить досками, а заложить кирпичом. Пусть ДСУ ста-

нут теми образцовыми учреждениями, где черный ход принципиально отсутствует. Конечно, встанут на дыбы пожарники. Придется втолковать пожарникам, что им тоже время покончить с экстенсивным подходом и заботиться о предотвращении пожара или хотя бы тушении, а не о том, куда от него бежать.

*Н.Т. Кандидат физико-математических наук,
сотрудник ЭВЦ «Экспресс».*

*

Со мной был случай. Я, когда прочитал, придумал устраивать летние базы на природе, сочетая с любовью к родным полям, лесам и озерам, как я и поступал в жизни, пока никого не осталось. Говорю, а мне председатель грубо так: «Ишь, размечтался!» Вообще романтикам в глубинке трудно. Мать тоже как-то отрицательно замотала головой. Она по-прежнему лежит, одну не брошишь.

В.С. Механизатор, 28 лет.

*

Мы пережили ряд неисправных эпох, но на местах не всегда извлекают уроки. Приведу пример. В одну из эпох в нашем городе построили комбинат по производству надувных шариков и тому подобных изделий, так что на сегодня у нас уже нет фактически никакой экологии. А шарики надувают, как теперь известно, тем же воздухом, и они не летают. Ряд поколений детей даже не знает, что надувные шарики должны летать, думают, что так и надо. И вот ходят упорные слухи, что директора выдвигают в мать-наставницы областного ДСУ. Считаю неправильным представлять к выдвижению несправившихся, тем более на такую видную должность и мужчин.

И.Ч. Майор в отставке.

*

Что поразительно: ни слова о санитарно-гигиенической стороне. На что же вы надеетесь, на авось? Дискуссия в 30-е годы об интереснейшем опыте гамбургских образцовых домов, где не было зарегистрировано ни одного случая, сопровождалась, помню как сейчас, взаимным наклеиванием ярлыков, что было неразумным, поскольку тут такое дело, что опасность как для левого загибщика, так и для правого головотяпа практически одинакова, что и подтвердилось. Так вот пора к этому вернуться, но без этого.

А.Ф. Доктор медицинских наук, 80 лет.

*

Хочу заодно коснуться смертной казни. Если ее отменить, это представляете, что начнется? Нельзя ее отменить, а просто отложить, и пусть посидит, пока пересмотрят и оправдают. И так же с теми, кто получает персональную пенсию, пока компетентные органы разберутся, за что. И надо бы навести порядок на кладбищах, поскольку тоже в ряде случаев похоронены большинство не там, где кто заслужил.

В.Р. Киоскер.

*

Тра, та-та та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та тра, та, тра-та та! Хотелось бы доверчиво пораскинуть умом.

1. Прежде всего хотелось бы отметить, что проект воспринимается в целом нормально. Все говорят, что дело хорошее и проект хороший. Но есть и другие, они говорят, что дело хорошее, а проект не очень. И это понятно. Мы не так настойчиво разъясняли, что он хороший, отсюда впечатление, что не очень. Попытки отвергать с порога тоже имели место, но вызвали недоумение.

Зачем же отвергать с порога, когда предлагается обсудить и отвыкшие люди радуются, обсуждают! Не хотят ли нас отвлечь от оживленного разговора, удачно сочетающего приятное с полезным? Этого не надо. Другое дело поправки, это сколько душе угодно. Нет такой поправки, которую нельзя как высказать, так и выслушать.

2. Люди у нас в основном хорошие и движутся куда надо, пока есть сила, которая туда направляет. Иногда слышатся голоса, что ее давным-давно нет, но почему же тогда они движутся в общем все-таки не куда-нибудь, а туда? Есть такая сила! И надо прямо сказать: кто это отрицает, тот встал на опасный путь отрицания этого. Нельзя поддержать в корне ошибочные прозвучавшие намеки, чтобы всех убрать и заменить со стороны, кто наверху. Тут явное недопонимание. Вывести из тупика способны только те, которые завели в тупик: никто другие не знают дороги туда-сюда единственно правильной. И добрый наш, умный наш и, поговоришь с ним и прямо поражаешься, до чего культурный наш народ это понял, как он сам заявляет на всех без исключения перекрестках.

3. Мы живем в период бурного рассекречивания многих подробностей. Благодаря этому многое, что раньше считалось неизвестным, теперь считается известным. Но как относиться? А вот как: не надо драматизировать. Подходя философски, люди смертны, идеи нет и все равно переживут. А потому не очень зависит, кто и как ее воплощает, даже, допустим, извращает, ну и что, его уже нет, а она отряхнулась и пошла. В будущее. Но из этого не следует, что современникам безразлично, кто воплощает. Еще как небезразлично! И теперь уже недостаточно, чтобы он имел то или иное понятие о воплощаемых идеях и был так или иначе предан до конца. Мы уже настолько выросли, что ожидаем от него порядочности 1-й или 2-й степени («исключительной» или «высокой»). С другой стороны, не менее важен и порядок, а для него придется

и чем-то жертвовать, хотя необязательно всякий раз жизнью.

4. Много поступает вопросов. Вот один пишет: «Неформальное объединение внутри власти, которому она сейчас принадлежит, хочется спросить, надолго ли?» Подобного рода слухи уходят корнями в прошлое, когда в силу сложившейся традиции высшая власть функционировала в условиях глубокого подполья. Но сейчас все видят, что она переезжает. Вместе с тем неправильно требовать, чтобы она целыми днями функционировала на улице. Принимать решения подобает в утепленном и уединенном, вдали от шума городского, помещении, без этого какое может быть уважение.

5. Мы реалисты. Никто не обещает не сегодня-завтра полного счастья, но без частичного, не требующего капитальных вложений, нам не обойтись уже примерно что-нибудь вскоре. Было бы не мудро и дальше обременять внуков и правнуков всей суммой счастья, часть которой причитается нам самим. Поэтому важно начать переходить от слов к делу. Да, недостатки будут, но важно начать, а недостатки, не мирясь, один за другим заменять достоинствами, терпеливо, по перышку вытесняя синицу журавлем. Иного пути нет, как через синицу на первое время, трезво отдавая отчет, что она тоже не сама в руки свалится. Общественность на каждом перекрестке отвергает безответственный журавлизм, а мы зато заявляем открыто и мужественно, что неналичия совсем ничего тоже не отвечает бессмертным идеалам. Тра, та-та та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та тра, та, тра-та та!

Группа читателей.

*

После разрешения ИТД* и т.д. повсюду объявились вольные каменщики, которые ждали, затаясь, давно, а еще раньше взяли в свои руки все абсолютно. И ДСУ тоже возьмут. И обсуждение устроено ими же как при-

крытие, чтобы тем временем везде расставить своих. Так что не очень-то расшибайтесь и ни на что не надейтесь.

*И.Н. Учитель рисования, черчения и НВП**.*

* Принятое сокращение: индивидуальная трудовая деятельность.

** Начальная военная подготовка (школьный предмет).

*

Не скрою, были и у меня сомнения: как так, думаю, никогда этого не было и вдруг. Но сегодня мне пришло в голову, может быть, не все согласятся, но хочется поделиться. А мысль такая: не только это не плохо, а наоборот, это хорошо и правильно. И своевременно.

*Л.Г. Режиссер-постановщик
производственно-творческого объединения
«Эталон», 64 года.*

*

Совсем без характеристик нельзя. Пусть не рассчитывают проникнуть в ДСУ мнимые радетели народных интересов, зачинщики антиобщественных деяний, сеятели националистических страстей и экстремисты всех мастей, опасные демагоги, подставные фигуры, воротилы теневой экономики, бюрократившиеся управленцы, моральные банкроты, лица, утратившие авторитет и доверие масс, группы распоясавшихся молодчиков, часть интеллигенции, иные и некоторые деятели культуры, а также всякого рода элементы: неустойчивые, незрелые, отсталые, разнузданные, разношерстные, паразитические, консервативные и хулиганствующие. Нельзя признать случайностью тот факт, что они недвусмысленно рвутся в наши будущие ДСУ. И еще предстоит выяснить, с какой целью.

Е.Л. Кадровый рабочий.

*

До чего же мы стыдливы до смешного! О чем, в сущности, речь? В сущности, об искусстве. Так не естественно ли увидеть в ДСУ подлинное богатство форм и приемов, манер, направлений, многообразие без берегов, разлив страстей, половодье эмоций! И это бы отразить в самом названии: Дом не «специальной услуги», как в проекте, что сушит и суживает, а сочно и, не побоюсь этого слова, сладостно: Дом сексуальных услуг.

*П.Т. Председатель правления кооператива
«Эврика», 45 лет.*

*

Поди тут разберись! С одной стороны, европейщина с ее призывом ко всяческим закордонствам, с другой — почвочуи. Эти, с одной стороны, чувствуется, что свои, вот я и говорю: нечего заглядывать и завидовать, а вернуться к тому, от чего мы ушли. Но вопрос, там ли оно еще, где осталось, когда уходили. Думаю, при тех хищениях вряд ли. И с почвочуями заодно батыйянцы, игонисты, а эти, сравнить с европеистами, хрен редьки не слаще.

Б.С. Краевед.

*

Но все-таки интересно: а какие цены? Хоть приблизительно? И будут ли они систематически снижаться?

С.Е. Токарь-карусельщик, 36 лет.

СТИХИ ИЗ РОССИИ

Ольга Киреевко

* * *

Как-то теряешься, выйдя на солнце из тьмы,
И за родную решетку цепляешься робко.
Мозг отравили густые миазмы тюрьмы,
Мысли заклинены черной болезненной пробкой.

Все-таки воздух... Вонючий, дымящийся — пусть.
Все-таки ветви свои воздевают ладони —
Дань милосердия. Муть, что всю жизнь наизусть
Тупо зубрили — всё плавает сверху, не тонет...

Сколько руин! Разгрести их удастся? — Едва ли...

Память и то — будто век просидела в подвале:
Я тут неделю искала талоны на чай —
Их, оказалось, еще за сентябрь не давали.

Вот ведь и радости дарит нам жизнь невзначай...

МУЗЕЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ

Подновленный, а все же жалкий
Коридор простой коммуналки.
Здесь оконца — тюрьме подстать.
Как страницы домовой книги,
Годы жизни, событий миги
Предлагают перелистать.

Нищета бродяг и поэтов...
Бесприютный набор предметов
С отпечатками пальцев их.
Драгоценна и эта малость —
От других вообще не осталось
Даже кубика стен пустых —

Только улицы, реки, воздух,
Только строчек короткий роздых...
Атмосферный ли давит столб?
Как всегда, в ожидании вьюги...
Чтоб словам не терять друг друга,
В память их кладут, а не в стол.

Говорят — теперь полегчало...
Ну, а если завтра — сначала?
Что там решкой блесит в песке?
Жизнь скудна. Подбираю слово —
И стыжусь того четвертного,
Что припрятан в моем кошельке.

* * *

Вот мемуаров пестрая река...
Струится жизнь — понятная пока.
Еще пройдут года без революций.
Заносчивый пижонит Мандельштам,
Блок с Мейерхольдом провожают дам —
Все кажется — они еще спасутся,
Избегнут пустоты и немоты...

Но как поднять защитные мосты?
Пшено клевать, в котельные податься,
От зависти бежать и клеветы —
Не посещать собраний и редакций?..

Нет — хэппи-энды — только для кино
В смертельном веке.

И в глазах темно...

* * *

Весь в лакированных огненных гроздьях блестящих
Смородины куст — как изделие из Хохломы
Той, неподдельной семеновской кисти летящей...
Вы замечали? Все реже стараемся мы

Видеть впрямую. Через отражение — чаще.
Через голландцев — прозрачную прелесть зимы.
Через Филонова — мудрые лики скотины.
Сквозь Кончаловского — плотные кипы сирени.
Ниточки кружев хитрей, чем узор паутины.
Дар бесподобный богов — это щедрое зрение.
Солнца восход — гениальной звезды озаренье...

Тут же явление в облаке мутном сивушном
Будто из босховских жутких кошмаров уроды:
— Мля! Погляди! офигенная прорва смороды!
Щас мы ее!..

До потери сознания — душно.
Жаль, но похоже — наш мир окунется во тьму.
Все ж, одичавшей пустыней оставив планету,
В космос ли, в бункер подземный — возьмем хохлому
Напоминая о нашей причастности к свету.
— Мне со смородинкой ту заверните. И эту...

ЛЕНИНГРАД

За то ль, что революций носит вирус,
Разжалован из мировых столиц?
Воспоминаний сумрак, серость, сирость,
Как плесени налет, землистость лиц...

Но день случится обнаженно-ясен,
Гримасу мрака светом пригасив,
И все увидят: он еще опасен.
И так красив...

* * *

Там, за окнами — блеск. Клонит ветки заснеженный
сад.

Солнце зимнее, робкое розовым светом сочится.
А у нас — заседание. Мутный прокуренный чад.
Тут ораторы в пене эмоций почти что кричат.

* * *

Шел не сворачивая
Прямо на луну —
Тень назад падала.
Поверну голову вправо —
Поле далеко.
Налево голову поверну —
Далеко поле.
Иду так, иду
И долго еще идти.

ЮГ

На юге деревья макушками
Изломали волосок горизонта.

В полдень крылья стрекозы
Шуршат воздухом.

Воду пьем из колодца,
В котором слепая рыба
Плавает медленным телом и холодит
Воду.

Отец присел.
За спиной у него вишня
И восемь лет тюрьмы.

Мама молодая пока.
Каша опять подгорела.

А я с утра
Пришел к морю и смотрю,
Как, оторвавшись от волн,
Лодки плывут по небу невесомы.

И, с одним бычком на леске,
Не хочу возвращаться домой.

* * *

Гадали мне попутчики в пути,
Монгол ли я, а может быть, китаец —
И шел я на два шага впереди,
Едва затылком к солнцу прикасаясь.

Они не знали, я не понимал,
Какое мог нести обвороженье
Чужим глазам обветренный овал
Лица с иноплеменным выраженьем.

Казалось мне, я просто человек
И человек из маленького рода,
Где начинают мальчишки разбег,
Чтоб, воспарив, познать глагол Свобода.

И та страна за тридевять земель,
И за окном к стране лежит дорога,
Там, для живых, благословенна цель
И Родину любить и верить в Бога.

ЗАПАХИ

Решил я стать гениальным
Художником. Сумеречными
Красками нарисовал собаку
На юге в запахе акаций.

Но кто ни посмотрит: кошка, —
Говорит, — разве что собакой
Напугана, а так всё получилось,
Особенно запахи из верхнего
Правого угла.

С тех пор заболел и,
Когда тени ложатся и на предме-
Тах ломаются, я чувствую вкус
Моей крови.

* * *

Ъ, а ведь и сын мой,
Среди домашних животных,
Вырастет до ручного
Пулемета.

* * *

Ничто не спасет,
Даже конница карфагенян,
Вылетая из засады,
Сама опоздает.

Тихо дни потекут,
Напоминая последнее время
Осени и «айва» и «яблоко»
И другие любимые слова.

— Во что моя вера была? —
Спрошу у моря на закате.
И вынесет на гребне
Раковину пустую,
И услышу оттуда
Звуки жизни
Вчерашней.

* * *

Пруды оставила русалка,
Трубу покинул домовой.
Порою нам бывает жалко,
Что сказкой стал городской.

Без суеверия и страха
Я посмотрю к ним, в теплый след —
Светлеет шапка Мономаха
Из глубины прошедших лет.

Ах, время, время, как текуче
Жизнь изменяется сама,
И, может, в самом деле лучше,
Что вместо рощ встают дома.

Что редко гибнут самолеты,
Течет река меж кораблей
И глуше выстрелы охоты
На белых, белых сыновей.

ЧАСЫ

Когда, боем над головой,
Часы раздаются по комнате,
Я это чувствую — и живу
Жизнью ненаписанного стихотворения,
Где слова «улица» и «укроп»
Связаны между собой, но
Не овощной лавкой, а судьбой человека,
Удивленного собственным «Я»
В промежутке
Между ними.

* * *

Господи, ты мне не внимли —
Я ведь человек.
У Тебя и моря и земли,
Тишина и снег.

Ты, невидимый и мудрый,
Господи Ты мой,

Я хочу, чтобы завтра утра
Не было со мной.

ЯН ШАН-ЛИ Виктор Александрович родился в Якутске в 1955 году. Отец — китаец, бежавший в СССР в 1953 году. В начале 60-х годов семья переехала в Гантиади (Грузия, Черноморское побережье). После окончания школы приехал в Москву, учился в Горном институте, затем по рекомендации А.И.Цветаевой поступил в Литературный институт и несколько лет назад окончил его. Публиковался в «Юности», «Ровеснике», в сборнике молодых поэтов. В ближайшее время выходит книга стихов и рассказов в «Советском писателе». Работает дворником.

ВЕСЕННИЕ ТЕЗИСЫ

Затянувшиеся зимы сковывают сердце,
Я забыл, какого цвета листья на деревьях.
От журчанья вод весенних в горле пересохло.
Запах клевера и мяты по ночам мне снится.

Раскололся лед пространства на морях и реках.
Возвращаются с чужбины северные птицы.
Даже рейсовый автобус щурится от солнца.
На пустырь соседский мальчик выбежал без шапки.

У весны свои законы, писанные Богом.
Вышли жители больницы в праздничных халатах.
Я забыл, какого вкуса первая черешня.
Обязательно до лета доживу, чтоб вспомнить.

* * *

Кто как живет — кто тлеет, кто горит,
А кто за то судьбу благодарит,
Что есть еще и рощи и сады,
Где можно петь, не чувствуя беды.

Все тот же лес, все те же деревья.
Они как нерожденные слова,
Они как облака над головой,
Мое смятение и покой.

Пока живу, пока рассудком здрав,
Не отрекусь от этих гордых прав.
Железо гнут и камень пусть дробят,
Но не тебя, мой лиственный собрат!

Но умер я, и голос мой затих.
И стану я тогда одним из них
И подыму зеленый парус мой,
Чтоб зашуметь над вашей головой!

КРУПИЦА

Ты крупица, я крупица,
Нас с тобою двое.
Из таких крупиц водица
Бережок намает.

Зыбь песочком поиграет,
Пока не наскучит,
Господин хороший случай
Врозь не разбрасает.

И погонит прочь из дому,
К берегу иному.
Тебя влево, меня вправо,
Вот и вся забава.

Разметет по белу свету —
Разыщи попробуй.
Ни ответа, ни привета
Не дожидаться чтобы.

Как принять такую участь,
Что все это значит,
Вместе маются друг с другом,
А в разлуке плачут.

Ты крупица, я крупица,
Нас с тобою двое.
Из таких крупиц водица
Бережок намает.

БЕСЕДКА

Разве нет такой беседки,
Разве нет таких бесед,
Где б для милой для соседки
Сердцу милый был сосед.
Чтоб без умысла, без цели
Не во сне, а наяву

Оба рядышком сидели
И смотрели в синеву.

Чтоб была беседка эта
Занавешена плющом,
А вокруг чтоб было лето,
Не ушедшее еще.
Чтобы радость первой встречи
Не сходила с их лица,
Чтобы жарки были речи
Без начала и конца.

Ведь нельзя же милым взорам
Из-за пасмурной поры
Веселиться под надзором
И любить из-под полы,
Разве в силе кто и в праве
Поднимать стакан пустой
За плачевное заздравье,
За веселый упокой.

Не болезни пусть, а осень,
Как ведется испокон,
Нашу молодость заносит
Опадающим листом.
Бьется ветер, гнутся ветки,
Но сквозь шум прошедших лет
Улыбается соседке
Сердцу милый друг-сосед.

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Когда встают из-за стола,
Бросая дом,
По ком звонят колокола тогда,
По ком?
Что это — погребальный звон
Иль благовест

Доносится со всех сторон,
Из разных мест?
Иль голос высшего суда
В ушах звенит,
Или звонят они, когда
Свобода спит,
Или беда похуже той
И бьют в набат,
Что поднимается войной
На брата брат.
А может, отнят у земли
Последний шанс?
И это крик ее измученных
Пространств.
Нет, это первая пчела
И первый гром.
И вышли мы из-за стола,
И вышли мы из-за стола,
Покинув дом.

* * *

Минует все, и буйство и покой,
Озноб страстей и мудрости убранство,
И жизнь мелькнет, как стриж над головой.
Останется лишь время и пространство.

БАЧУРИН Евгений Владимирович родился в 1934 году в Ленинграде, школу окончил в Сочи. Учился в Московском полиграфическом институте и в ленинградской Академии Художеств. В 60-е годы работал как художник-иллюстратор, продолжая заниматься живописью и станковой графикой. Стихи писал с детства, с конца 60-х годов начал писать песни. За 21 год написано около 150 песен и столько же стихотворений. Публиковался в советской периодике, песни входили в спектакли, фильмы, телевизионные передачи, записаны на пластинки.

ГЛАСНОСТЬ

Легко быть смелым,
 если разрешили.
А как же мы в былые
 годы жили?

Рукоплескали глупостям
 не раз,
И это так объединяло нас.

Кричали хором,
 что идем вперед
А думали совсем наоборот.

И в наших душах
 зарождался хаос...
Столица от приезжих
 задыхалась:

Им всем хотелось колбасы
 и масла,
Чтобы надежда вовсе
 не угасла.

Пила Россия. И пила страна.
И в том беда ее, а не вина.
Я написал тогда стихи
«Россия пьет».
Их напечатал только
 мой блокнот

Хочу быть смелым,
 потому что смел
Народ, что все перетерпеть
 сумел.

что, не узнав супруга,
растаяла вдали.

А мне приснился сон,
что Пушкин был спасен.

Под дуло пистолета,
не опуская глаз,
шагнул вперед Данзас
и заслонил поэта.

И слышал только лес,
что говорит он другу...
И опускает руку
несбывшийся Дантес.

К несчастью, пленник чести
Так поступить не смел.
Остался он на месте.
И выстрел прогремел.

А мне приснился сон,
что Пушкин был спасен.

В САДУ

Вторые сутки хлещет дождь.
И птиц как будто ветром вымело.
А ты по-прежнему поешь —
Не знаю,
Как тебя по имени.

Тебя не видно —
Так ты мал.
Лишь ветка тихо встрепенется.
И почему
 в такую хмарь
Тебе так весело
 поется?

1980

ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Старели женщины до срока,
Когда в ночи
Он отъезжал от темных окон
И угрожал — «молчи...»

И мы молчали, друзей стыдились,
Хотя не знали их вины.
А где-то стреляные гильзы
Им счет вели.

О Черный ворон, Черный ворон,
Ты был внезапен, как испуг.
И просыпался целый город
На каждый стук.

Не видя слез, забыв про жалость,
Свой суд творя,
Ты уезжал, но оставалась,
Но оставалась тень твоя.

На доме том, где ночью побыл,
На чистом имени жены
Того, чей час неожиданно пробил,
Час, не дождавшийся вины.

На снах детей, на тыщах судеб,
На всей стране...
Как трудно было честным людям
Быть с тенью той наедине.

И закрывались глухо двери
Перед добром.
И люди разучились верить
Сперва себе, ему — потом.

О Черный ворон, Черный ворон,
Будь проклят ты.
Сейчас ты лишь бумаги ворох
Да безымянные кресты.

Да память горькая, да слезы,
Да имена друзей.
Проехали твои колеса
По сердцу Родины моей.

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Дмитриевич родился в 1928 году в Калининской области. Окончил Литературный институт им. Горького, выпустил около 20 сборников стихов (общий тираж — почти миллион экземпляров). Лауреат Государственной премии СССР. Главный редактор журнала «Юность», выходящего в свет трехмиллионным тиражом.

РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ С ИМЕНАМИ

...И я взглянул в зеркало. Внимательно рассмотрел себя — не очень большого, но и не очень маленького. И мне все понравилось. Я еще долго рассматривал себя и заметил, что чего-то не хватает. И руки, и ноги, и голова, и остальное, что положено, — на месте, а чего-то не было все же. Может быть, от напряженного внимания мне так показалось. Я закричал — и с голосом все нормально. В зеркале тоже закричал, только без звука, но рот открылся исправно. «Наверное, какой-нибудь ерунды не хватает», — подумал я. И отошел от зеркала. Расставил фишки для игры в рыбу. Но потом забеспокоился: «Вдруг эта ерунда всем видна, кроме меня». Нехорошо мне стало. Очень плохо. И я решил разобраться. И придумал — у соседей спросить.

И я позвонил в квартиру №2. Открыла мне Анна Ивановна.

— Здравствуйте, Анна Ивановна, — сказал я.

— Здравствуй, Саша, — сказала Анна Ивановна, — тебе чего?

— Анна Ивановна, чего, по-вашему, мне не хватает? — спросил я.

— Тебе не хватает послушания, — объяснила Анна Ивановна.

Я обиделся.

— Дело не в послушании, — возразил я. — Чего-то другого мне не хватает.

— Слушай, не морочь мне голову, — рассердилась Анна Ивановна. — И вообще у меня большая стирка.

И я позвонил в квартиру №3. Открыл мне Василий Борисович.

— Здравствуйте, Василий Борисович, — сказал я.

— А-а, Коля, привет, — сказал Василий Борисович, — с чем пожаловал?

— Василий Борисович, чего, по-вашему, мне не хватает? — спросил я.

— Да ты мужик хоть куда. Хоть пахать, хоть плясать, — ответил Василий Борисович.

— Нет, не то. Мне чего-то не хватает, а вот чего? Я и не пойму никак, — сказал я.

— Я тебя что-то не разберу, — сказал Василий Борисович, — вот тебе крест — не разберу.

— Вы мне ваш крест уже третий год обещаете, — сказал я.

— Ты еще немного погоди, — предложил Василий Борисович, — а сейчас мне не до тебя. Извини, старик.

И я позвонил в квартиру №4. Там никого не оказалось. Позвонил в квартиру №5. Мне открыл Генрих Фердинандович.

— Здравствуйте, Генрих Фердинандович, — сказал я.

— Здравствуйте, Анатолий, — сказал Генрих Фердинандович.

— Генрих Фердинандович, а как вам кажется, чего мне не хватает? — спросил я.

— Видите ли, Анатолий, — ответил Генрих Фердинандович, — я специалист по иглокожим. А ваш вопрос не в моей компетенции. К сожалению, я не могу на него ответить.

— Очень жаль, — сказал я, обрадовавшись, что не похож на иглокожего.

И позвонил в квартиру №6. Мне открыла Мариетта Степановна.

— Здравствуйте, Мариетта Степановна, — сказал я.

— Здравствуйте, Ваня, — сказала Мариетта Степановна.

— Мариетта Степановна, как вы думаете, чего мне не хватает? — спросил я. Я уже начал сомневаться в сообщительности моих соседей. Но опрос их решил завершить.

Мариетта Степановна задумалась.

— Это в каком же смысле не хватает? — спросила она.

— В таком, что я на себя посмотрел в зеркало и увидел, что чего-то не хватает, — сказал я.

— Может быть, тебе головы не хватает, — предположила Мариетта Степановна.

— Нет, голова на месте, — сказал я.

— Ты уверен? — спросила она.

— Уверен. Я ее видел, — подтвердил я.

— Что-то я сомневаюсь, — заверила меня Мариетта Степановна. — Слушай, ты же знаешь Петьку Ковалева с огромными ушами. Может, ты такие же хочешь? Так у меня хирург знакомый есть, он в два счета сделает. Хочешь?

— Нет, мне не то нужно, — ответил я.

— Тогда я не знаю, как тебе помочь, — сказала Мариетта Степановна.

— Ну... — сказал я.

— Иди, конечно, — сказала она.

И я позвонил в квартиру №7. Открыла мне старушка Марья Федоровна.

— Батюшки, — заверещала Марья Федоровна, — где ж ты так умаялся? На тебе ж лица нет.

«Тут точно толка не будет», — подумал я.

— Извините, Марья Федоровна: я дверью ошибся, — сказал я.

Я позвонил в квартиру №8. Открыла мне незнакомая женщина.

— Здравствуйте, — сказал я, немного растерявшись.

— Здравствуй, — сказала незнакомая женщина.

— А вы кто? — спросил я.

— Я теперь здесь живу, — объяснила незнакомая женщина. — А ты кто?

— Я тоже здесь живу. В квартире №1, — сообщил я.

— Замечательно, — сказала незнакомая женщина, — тогда давай знакомиться. Меня зовут Вера Сергеевна. А тебя?

— Меня по-разному зовут, — ответил я.

— Это как? — не поняла Вера Сергеевна.

— А вот так. По-разному, — сказал я.

— А-а, понимаю, — сказала Вера Сергеевна, — у тебя прозвание есть, да? Кличка то есть, так?

— Нет, — сказал я, — не так. Никакого прозвания. Просто у меня много имен.

— Ты их что — коллекционируешь? — спросила Вера Сергеевна.

— Честное слово, нет, ответил я.

— Тогда скажи мне: откуда ты здесь такой взялся? — спросила она.

— И не только я. Здесь у всех так, — сказал я.

— Интересные дела. А мне как же быть? У меня же только одно имя, — сказала Вера Сергеевна.

— Да вы не расстраивайтесь, Нина Павловна, — успокоил я, — образуется как-нибудь. Как кому понравится, тот вас так и назовет. И вы скоро многоименная будете.

— С ума сойти можно, — сказала Нина Павловна.

— Вы не торопитесь. Успеется, — сказал я. — А сейчас, извините, у меня еще дела есть. До свиданья.

— До сви-да-нья, — проговорила Нина Павловна.

Я вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Все было на месте. Что положено — то и на месте. А чего же тогда не хватало? Не знаю. Показалось, должно быть.

О МОЛОКЕ

Однажды мне поручили покупки. Ближайший гастроном помещался на центральной улице. По благорасположению городская газета именovala ее артерией. В полуденный час город вымирал, и артерия выглядела сонной.

В магазине оказалосьлюдно и шумно. Я понял это так, что каждый делал свои гастрономические дела в час, когда другие якобы таких дел не делают.

Я пристроился к последнему завитку очереди. В сумке утешающе позвякивали пустые молочные бутылки. От нечего делать я пересчитал очередь — сперва от конца, а затем от начала. Числа не совпадали, ибо она

уменьшалась. Я тщательно изучил сооруженную в витрине крепость из консервных банок. И нашел немало промахов в фортификационных представлениях продавщиц. Вертушка у входа лениво обращалась вокруг выходящих. Мне оставалось только смотреть им в спины и представлять себя на их месте.

Внезапно представление прервалось появлением трех необычного вида мужчин. Необычность их заключалась в широких черных полосах на лицах. Я не сразу сообразил, что это всего-навсего вырезы из чулок. Положение прояснилось, лишь когда они достали из-под пол осенних пальто короткие ружья. Один из них командовал: «Ложись! Быстро!» — и крутанул пальцами ружье. Очередь повалилась на грязные цементные плиты дружно, как сбитая ловким ударом. Кто-то задел локтем мой нос, и из него выпала капелька крови. Я успел подложить себя под мои бутылки и этим спас их стеклянные жизни...

Кассовые ящики отщелкали свое. На улице затарахтела машина. Очередь подняла глаза, поднялась и сама. Она долго еще не могла отдышаться от страха, но задвигалась проворнее. Высокий парень передо мной не без сожаления сообщил, что чулки все же приличнее женщинам, нежели мужчинам. А согбенная старушенция невпопад отвечала, что с чулками нынче, слава Богу, свободно.

О ПОМИДОРАХ

Звонят долго и часто, как будто точно знают, что в квартире кто-то есть.

А был только я, убежденный родителями в том, что они очень дорожат мною и что если я открою неизвестно кому, то: меня могут похитить, квартиру ограбить, а меня как свидетеля..., дом спалить, да и мало ли что еще может приключиться.

Был я в меру запуган и не в меру любопытен. И каждый звонок вызывал у меня много догадок о звонившем.

Но я оставался стойким и не поддавался искушению открыть. Я придумал игру: после такого звонка загадывал, кто бы это мог быть, и держал себя с ним так, как если бы и на самом деле он был и я бы на самом деле его впустил. Надо сказать, что репертуар мой ограничивался героями книг, которые я читал.

Я не любил обманываться, а это случалось, когда я все же открывал. И однажды вместо богатого дядюшки из Америки передо мной предстал почтальон с извещением о смерти отдаленнейшей родственницы из Кишинева. А в другой раз, не помню — то ли Большим Гансом, то ли крысой — оказался управдом, зазывавший на субботник.

Звонок делает паузу, а потом продолжается. Я уже знаю, кто пришел; хотя Черный Джек не появляется днем, может быть, думаю я, для меня он сделал исключение.

Мне кажется, звонок начинает хрипеть от натуги. И я не выдержал. Подошел к двери и сдавленным, волнующимся голосом пискнул:

— Кто там?

— Я это, я, — отвечает мне Таня, живущая этажом выше.

Я распахиваю дверь. Таня медленно отлепляет от кнопки палец и спрашивает:

— Что не открывал?

И я сдавленным, но уже от разочарования, голосом буркнул:

— Занят был.

Таня — большая красивая сорокалетняя женщина — знает меня с пеленок. И я, наверно, по праву тех моих пеленок говорю ей «ты» и называю по имени. И потому могу себе позволить быть не очень вежливым.

— Извини, если занят, — сказала она, — а на Турмалиновской помидоры есть, и я очередь заняла, и для тебя тоже. Но если ты занят, то о чем говорить?

Но захотелось мне помидоров, и я сказал:

— Я пойду, конечно, раз так.

— Вот и прекрасно, — обрадовалась Таня, — хоть не одной стоять, а денег я тебе дам, только сетку возьми.

Идти до Турмалиновской три квартала. И пока мы шли, я рассказывал Тане о том, что занимало меня в последнее время.

Мне представлялось, что я, всё окружающее и всё происходящее существует во сне некоего великана. Он лежит на горе, расположенной где-то за экватором, под огромным деревом, и оттуда всё видит — и далекое, и близкое. Но видит не потому, что у него замечательное зрение, а потому что ему все снится. Абсолютно всё.

Таня думала о чем-то своем, но улавливала и то, что говорил я.

— И что же дальше? — спросила она.

— А дальше он может проснуться, и всё исчезнет.

— Что всё? — не поняла Таня.

— Всё. Люди, птицы, река, обезьяны в зоосаду, город, митохондрии и амфибии, — объяснил я.

— А помидоры что? Тоже исчезнут? — испугалась моя спутница.

— Конечно.

Мы сделали еще несколько шагов, Таня внезапно остановилась, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Пойдем скорее.

Она схватила меня за руку и потащила за собой. Я не поспевал, и мне приходилось бежать. Один раз я оступился и повис на таниной руке, как тяжелая от помидоров сетка. Таня, не останавливаясь, поставила меня на ноги, и мы побежали еще быстрее.

Мы не успели.

ИСКУССТВО БРОСАТЬ ЛИПУЧКИ

Рука заведена за голову, кулак с затаившимся в нем комком липкой ленты заброшен к лопатке.

Медленно рука распрямляется, кисть висит над плечом и остается там, пока я выбираю цель. В жару

улица малообитаема, и ничего подходящего я не нахожу.

Я стою вполоборота к солнцу, и обращенная к нему половина меня прогревается, поднятая рука растет и вытягивается вдвое. Кисть краснеет, большой палец отгибается, и из пятнышка засохшей крови у ногтя вылезает продолговатая, витиевато сужающаяся к кончику почка. Добравшись до размера бобового стручка, она прорывается, и коричневая, прозрачная виноградинка вылупляется из нее. Крупный, с воробья, комар, отмахивающийся веером от жары, срывает ее на лету. Я пытаюсь перехватить похитителя второй, еще нормальной рукой, но она коротка и не достает до него.

Жара постепенно спадает, и рука постепенно же возвращается к привычной длине.

Улица оживляется и наполняется событиями.

И я делаю выбор.

И я разворачиваюсь на цель — стального цвета пуделя, поднявшего ногу под елкой, вечнозеленой у балкона, на котором...

Вадику Беломелову однажды приснился сон. Вадик Беломелов летал, оборотившись соловьем, потом обосновался в ветвях той ели и пускал залихватские трели, наблюдая между делом, как с того самого балкона его квартиры я покушаюсь на пуделя.

...рука напрягается, пальцы готовы разжаться, и ладонь вот-вот согнется в три погибели и вытолкнет липучку. Та начнет пикировать, затем раскроется, вытянется во весь рост и мягко опустится на нуждающуюся собачку.

С цели сбивает меня Вадик. Он сбивает и ленту с прицела.

Он подкрался сзади, встал на цыпочки, ухватился за грозную мою руку и... — я выдернул ее и отскочил. В животе забурчало — то шевельнулось недоброе.

— Чего тебе? — сердито спросил я.

— Я только хотел посмотреть, что у тебя там, и ничего, ну совсем ничего больше, — сказал Вадик; наклонив

голову и вобрав ее в плечи, он принял извиняющийся вид вопросительного знака и лукаво постреливал глазами из-под верхней его закорючки.

Он был обходчив, а я — отходчив.

— А ты угадай, — предложил я, перенимая лукавство.

— Камень?

— Нет.

— Птица?

— Нет. А какая, ты думаешь, там может быть птица?

— Хованская, какая же еще?

— Нет, не она.

— А если я скажу, что там лошадь, ты спросишь, какой она масти?

— Может быть, и спрошу, — утвердил я догадку.

Вадик высунулся за перила и заглянул вниз.

— А в кого? — спросил он, внимательно разглядывая низ.

— А ты угадай, — сказал я.

Вадик сложил пальцы в кулак, оставил указательный указующим, а большой большим и оттопыренным, опер для верности этот пистолетик на запястье другой руки и направил его на улицу.

В целях, оказалось, он разбирался лучше, чем в средствах.

— В этого? — спросил он, наставляя оружие на пуделя, который уже справился со своими делами и собирался покинуть гостеприимную сень елки.

— Да, — сказал я, — не трогай его, он мой.

— Только чтобы шуму потом не было, а то вон какой рядом пасется, — предупредил Вадик. Перевел пистолет на собачьего хозяина и разрядил в него обойму.

Я не был из тех лопухов, которые бросают и х, почти не глядя, куда и на что они попадут да и попадут ли вообще, а затем в ужасе от собственных храбрости и безрассудства прячутся в какой-нибудь темный угол или под кровать. Или наоборот — вместо того, чтобы вовремя смыться, они дожидаются, когда липучка настигнет жертву, та встрепенется, заметит бомбардира и отомстит.

Мне же зазевавшийся зевака или кто случайный случится поблизости — не подходили. Я всегда старался найти кого-то поособеннее, но везло мне нечасто, и я редко бывал по-настоящему удовлетворен. Клопомор, которому больше приходится иметь дело с тараканами, поймет меня. Я не был узким специалистом, скажем, по тонконогим толстякам или дамам в шапокляках — диапазон моих избранников был велик. Наверное, чью-то способность (например, пуделя) стать моей целью, откликнуться (пусть даже вынужденно) на мой порыв я ощущал внутри себя.

Я бросаю липучку, с размаха падаю на пол и уползаю с балкона — и возвращаюсь к отложенной с утра шахматной партии.

В попадании же я не сомневаюсь — глаз и рука никогда не подводили меня.

Пауза. Половину ее заняло падение ленты, а вторую — осмысление пуделем происшедшего.

И вот он засуетился, завизжал, перекрывая визгом уличный шум, а суетою — движение. Он завертелся вокруг елки, потом стал кататься на спине в тщетной (ибо я пользовался качественными липучками) надежде отцепиться, а затем, словно с цепи сорвавшись, ринулся по кривобоким эллипсам вокруг елки. Его хозяин устремился на помощь, но безумствующий пудель уже ни на что не обращал внимания. И они бежали один за другим, но собака была скорее на ноги, и расстояние между ними сокращалось — она нагоняла хозяина.

Часть тротуара и проезжей части, по которой хозяин носился со своим несчастным, обступили пешеходы и водители. Они раздавали советы и кляли негодяя. Громче же всех, что все видела и все знает и не позволит негодю уйти от возмездия, верещала крохотная старушка в шапокляке, сдвинутом назад на ковбойский манер.

Наконец хозяин выдохся и остановился, пудель налетел на него, споткнулся и упал и, уже очутившись в освободительных руках, жалобно заскулил.

Вадик сосредоточенно думал над тягостной для его короля позицией. Я тоже сосредоточился и наметил окончательную для того короля комбинацию.

Наблюдать уличный кавардак я мог в просунутый в форточку перископ, но конструктор снабдил его кривыми зеркальцами, и картина получалась искаженной и не очень веселой.

— Ну и шуму из-за тебя, а мне тут думать надо, — сказал Вадик.

— Ничего, ты еще поборешься, — пообещал я.

Он нерешительно двинул слона на а5 и медленно убрал с шеи палец.

— Слон — не синица, вылетит — не поймаешь, — сказал я, довольный тем, как точно рассчитал ходы.

Пудель благополучно избавился от свалившейся на него напасти, и шум кончился.

Мы сделали еще несколько ходов, и вадикова гибель стала очевидна и ему самому.

Но в решительнейший момент — во спасение короля — позвонили в квартиру. Вадик было вскочил открывать — и не успел; Анна Сергеевна, его мама, открыла без него, и он остался у разбитого войска.

— Кто это к вам? — как мог небрежнее спросил я. Между тем, неприятное подозрение уже прыгнуло за пазуху, забеспокоилось там и отвлекло меня от грядущей победы.

— Не знаю, — сказал Вадик. По его растерянному лицу я понял, что подозрение скакнуло и к нему.

— Лучше бы я просто проиграл, чем это, — обреченным голосом произнес Вадик.

Мы прислушались. Из-за двери доносились голоса, причем преобладал в разговоре голос незнакомый и раздраженный.

Через три с половиной минуты коридорной напряженки и конфронтации в комнату заглянула хмурая Анна Сергеевна и вызвала нас к барьеру.

В коридоре мы обнаружили пуделя и его хозяина — солидного, мордатого, пышущего здоровым негодовани-

ем дядю, — двумя пальцами он брезгливо придерживал злополучную ленту.

Пудель увидел сначала Вадика и зашелся лаем, но, разглядев и меня, стушевался и, протиснувшись в открытую дверь, сбежал в лестничную клетку.

— Чья? — спросил дядя, размахивая перед нами липучкой.

— Моя, — ответил я.

Признание почему-то еще больше рассердило его, и он опять открыл рот.

Анна Сергеевна шагнула от него, как бы отталкиваемая гневом, и негодуяще взглянула на незваного гостя.

Он приосанился, пригладил усы и бакенбарды и представился:

— Николай Петрович.

— А пуделя, кстати, как? — спросил Вадик.

— Не твое дело! — оборвал Николай Петрович.

— А я бы назвал его Вахтангом, — мечтательно сказал я.

— Не твое дело! — снова оборвал Николай Петрович.

— Так кто бросил?

— Это я бросил, — сказал я твердо.

— Он, наверное, его с мухой спутал, — вступился за меня Вадик.

— Тебя не спрашивают, — еще раз оборвал Николай Петрович.

— Он вывесил ее, а собачка и попалась, по ошибке, конечно: не разобралась, что к чему, вот и влипла, — гнул свое Вадик. — Где уж ей разобраться: она все-таки не такая разумная, как кажется, коли орет по пустякам.

Николай Петрович оставил эту оскорбительную для его пуделя версию без комментариев. А я еще более твердо повторил:

— Это я бросил.

Я сообразил, что так как я не сын Анны Сергеевны, а Вадик не виноват, то по домам — ни у Вадика, ни у меня — ругать нас и не будут.

— А если вас интересует — зачем, — начал я.

— Вы даже не представляете, как он здорово бросает, и ему очень трудно удержаться, — объяснил за меня Вадик.

— Это уже выходит за все границы возможного, — взбеленился Николай Петрович. — Я...

— Для меня нет ничего невозможного. Куда хотите попаду. На спор, — перебил я. — Но, может быть, я могу что-нибудь сделать, чтобы вы не обижались и пудель ваш тоже не обижался?

— Ну и чешутся у меня руки, — сверкнув глазами, сообщил Николай Петрович.

Анна Сергеевна подошла ко мне и положила руку на мое плечо.

— Да, понимаю вас, — спокойно сказал я. — А у собаки, наверное, чешутся зубы.

— Да у нее от страха до сих пор зуб на зуб не попадает, куда уж им чесаться, — опроверг меня Вадик.

— Давайте я извинюсь, — сказал я Николаю Петровичу.

— И будем считать, что произошло недоразумение, — заключил Вадик.

— Мне и очень стыдно, и извините меня, пожалуйста, и пудель ваш пусть тоже извинит меня за доставленное беспокойство, хоть он и сбежал за дверь, что не очень-то и вежливо, но вы передайте ему мои извинения, — попросил я смиренно. — Я же не виноват, что так замечательно бросаю, — добавил я.

— У него же дар Божий, потому что он совсем не ест яичницу, — сказал Вадик.

— Ну..! Нет! Так просто ты не отделаешься! Прежде я тебя отделаю. Стрелок! — свирепо и многообещающе произнес Николай Петрович.

И тут он мне совсем не понравился. Я уже было решил, что недоразумение исчерпано, и думал отпустить Николая Петровича с миром, но его упрямство и назойливость рассердили меня.

Я сощурил глаза, и солидный, мордатый Николай Петрович увиделся мне меняющимся на глазах: он рас-

плывался, принимая новые, казалось, даже несвойственные ему очертания, и наконец, окончательно приняв вид гиппопотама, стал переминаясь на своих четырех лапах с видом гиппопотама, который не знает, как бы ему половчее удалиться.

Пудель взвигнул под дверь и метнулся вниз по лестнице.

— Прекрати! — громко сказала Анна Сергеевна. — Перестань издеваться!

Я еще на минуту продлил картину, потом широко раскрыл глаза: вместо Николая Петровича в самом деле стоял гиппопотам.

Анна Сергеевна вздохнула и осела на стул.

Я еще несколько раз сощуривал и раскрывал глаза, но обратного превращения не происходило.

— Не получается, — сказал я.

— Здорово у тебя получается, — восхищенно сказал Вадик, — только нельзя ли его немножко уменьшить, а то ему так и придется остаться в коридоре.

Николай Петрович по-прежнему с виноватым выражением того, что пять минут назад еще было его лицом, переминался с лапы на лапу, очевидно, испытывая какие-то затруднения.

— А что с ним теперь делать? — спросил Вадик.

— А вам, — обратился я к Анне Сергеевне, — не нужен беспризорный гиппопотам, пусть даже и Николай Петрович? Но зато породистый: смотрите, какие у него усы и бакенбарды!

Она ничего не отвечала, а лишь грустно смотрела на меня.

— Наверное, нужен, — сказал Вадик. — Но он же сколько жрать будет!

Не бойся, сколько дашь, столько и съест, я их породу знаю, — сказал я.

— И имя у него длинное — в хозяйстве неудобно, — не соглашался Вадик.

— Бобиком назовешь, и ладно, — сказал я.

— Подожди, а он мышей ловить умеет? — не унимался Вадик.

История с Николаем Петровичем затянулась и уже порядком надоела мне.

— Поживет у тебя — все про него и узнаешь, — сказал я.

Тем временем король Вадика свалился с доски, превратился в толстую белую мышь и собирался бежать от поля брани подальше.

Гиппопотам принялся, фыркнул, уменьшился вдвое, ворвался в комнату, прыгнул на мышь, слизнул ее и облизнулся. Повернул голову и преданно посмотрел на меня.

Я бросил ему пучок укропа. Гиппопотам поморщился, но все же собрал с пола весь урожай.

Тарабаня по перилам мотив колобка, по лестнице поднималась семилетняя сестра Вадика — Танечка. Она вошла, приговаривая:

— А там на улице такой пудель, такой пудель! И дрожит бедненький...

Увидела Николая Петровича и осеклась. Посмотрела на Вадика, пристально на меня и бросилась к Анне Сергеевне с криком:

— Зайку! Хочу зайку! Он же обещал зайку!

МЕЖИБОВСКИЙ Леонид Владимирович родился в 1964 году в Ростове-на-Дону, в 13 лет переехал в Ленинград, где живет до сих пор. Окончил политехнический институт, меньше года проработал инженером, сейчас только пишет. Печатался в многотиражках.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1989 года

* * *

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роща претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.
Что ж — история без продолженья?
Где хотя бы упреки судьбе?
Где метафора, где ворожея
в литераторской курной избе?

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.

Не просите у осени смысла —
пожалейте ее, господа.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: «не отдам»
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

* * *

Дворами проходит, старье, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпрених лет...
Я сам мещанин — повторяю за Пушкиным вслед,
и мучаю память, никак воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное время, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа —
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон, —
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...

* * *

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.

Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую глядя обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских
мальчики, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной пылью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот...

* * *

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несется.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы — только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неумной птицы.
Вестью твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

* * *

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве
и кружат карусели.

Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем — была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт — угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, очарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы —
и топориком в темя —
чтобы выгрызло мозг из моей головы
комсомольское племя.

* * *

Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки — трещи, не стихай.
Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь.

Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...
Я ль не любитель кино одинокого,
как повелось на Москве —
документального, сладкого, пьяного —
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново —
грустно, и сердце болит.

Высохла, выцвела пленка горячая,
как и положено ей.
Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.
Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.
И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит:
этот в Австралию, эта — в Бразилию,
эта — и вовсе в Аид.
Вызубрив с честью урок географии,
курс переплетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?

* * *

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму «зык».
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь — вернется через
окошко и провидческую ересь
в неистой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо — и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее саж
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло — и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, причем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

* * *

— Эй, каменщик в фартуке! Что ты
возводишь?

— Вали-ка, дурак,
я занят секретной работой
серьезною, бесповоротной,
не для любопытных зевак.

Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.

Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.

Не лучше ль ему отравиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу
и если прикажут «убей» —

убьет. И солжет, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.

И вот — замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест
смывает с ладони известку
и, выпоров сына-подростка,
говядину жесткую ест.

КУКЛА или КОНЬ КАЛИГУЛЫ

Фантазия на троих в двух картинах

Картина первая

Дымный фитилек плошки зыбко освещает довольно просторное помещение без окон, схожее то ли с подвалом большого дома, то ли со складом. Скорее с последним: колеблющийся свет выхватывает из полумрака беспорядочные горы всякого добра. Попеременно бросаются в глаза этикетки коробок, банок и пачек вперемешку с одеждой самого разного покроя, кухонной утварью и детскими игрушками. По всему помещению разбросаны импортные кресла. Справа, в глубине, — захлапленная стойка бара, заваленного разномастными бутылками. Посредине — несколько составленных вместе низких столиков, на которых под грудой одеял полулежит МАРИЯ. Слева, ближе к выходу, гудит расклапываемая «буржуйка», труба от которой тянется к входной двери, завешенной байковым одеялом. Около печки на корточках сидит ОСИП.

ОСИП (*крутит рычажок транзистора*). Не слышны в саду даже шорохи. (*Вслушиваясь в эфирные помехи*) Шорохи-то как раз и слышны, а больше ничего, ни стуку, что называется, ни грюку, ни гу-гу. (*Вздыхает*) Только подумать, неужели и впрямь ни души на свете, хоть бы пискнул кто или матом обложил! Глухо.

МАРИЯ (*улыбается чему-то своему*). Ишь, какой неугомонный!.. На выход спешит... Стучит руками и ногами, словно опоздать боится... Сразу видно — парень... Девочка постеснялась бы. (*Осипу*) Ты рад?

ОСИП. Рад за тебя.

МАРИЯ. А за себя?

ОСИП. С какой стати?

МАРИЯ (*с досадой*). У тебя будет сын.

ОСИП. Опять за свое. Ты же прекрасно знаешь, что я тут ни при чем.

МАРИЯ. Как это ни при чем, если ты — отец.

ОСИП. Знаешь, это уже слишком!

МАРИЯ. Почему?

ОСИП. Потому, что это известно тебе лучше, чем кому-либо.

МАРИЯ. Это могло произойти во сне, нечаянно, такое случается даже у импотентов, я где-то читала, кажется, в «Здоровье».

ОСИП. Бабья логика. Непорочное зачатие с помощью популярного чтива.

МАРИЯ. Ревнуешь.

ОСИП. О женщина, конец света на дворе, а она все о том же!

МАРИЯ. Не от Святого же Духа в самом деле я понесла!

ОСИП. Это было бы чересчур.

МАРИЯ. Я больше года, кроме тебя, живого лица не видела.

ОСИП. По этой части ваша сестра даже на необитаемом острове устроится.

МАРИЯ. Пошляк.

ОСИП. Из жалости я должен быть суровым.

МАРИЯ. Ерничает.

ОСИП. Цитирую.

МАРИЯ. Не помню.

ОСИП. Шекспир, Гамлет. Перевод Бориса Пастернака.

МАРИЯ. Господи: Шекспир, Гамлет, Пастернак! Когда все это было: год, сто, тысячу лет назад! Да и было ли это вообще! Может, это все нам приснилось или произошло с нами в какой-то другой жизни? Иногда проснусь ночью и сердце смерзается: кто я, что я, как я сюда попала? Ведь еще недавно мимо пройти и то оторопь брала: святая святых, полночь, бьют куранты, смена караула, сама вечность в имперском исполнении. Два раза даже внутри была, как говорится, в порядке живой очереди, шла, от почтения дух захватывало, а оказалось, обыкновенная рекламная лавочка со спецбуфетом для номенклатурных бонз. И никаких тебе тайн. Просто, как мычание. Удивительная у них способность — опошлить все, к чему удастся прикоснуться. Их бы воля, они бы и к пирамиде Хеопса служебный вход приспособили. *(Снова вслушивается в себя)* Смотри, какая прыть, никак

угомониться не может, будто на съезде народных депутатов или на митинге. *(Осипу)* Подойди-ка, послушай. *(Он встает, подходит к ней, она берет его руку и кладет к себе на живот)* Чувствуешь?

ОСИП *(со вздохом)*. Нашел время высовываться, тут такое творится, что самому впору просить: роди меня, мама, обратно!

МАРИЯ. Выживем.

ОСИП. Зачем?

МАРИЯ. Что: зачем?

ОСИП. Выживать.

МАРИЯ. Зачем люди живут вообще: живут, и всё.

ОСИП. Опять бабья логика. *(Умоляюще)* Очнись ты наконец, оглянись вокруг себя, вдумайся, что произошло!

МАРИЯ. А ты не вдумывайся, считай, что ничего не произошло, жизнь продолжается.

ОСИП. Какая жизнь! Неделю назад еще кого-то хоть издалека видел, сегодня до самого Тверского дошел, ни души, даже кошки не встретил, как на кладбище, только снег метет да тополя позванивают. Ледяная пустыня, у которой теперь конца и края нет.

МАРИЯ. Если мы живы — значит, уже не пустыня.

ОСИП. Прозябать вот тут, пока не загнемся, это ты называешь жизнью? Ну, сколько мы так протянем: год, два, десять лет? Ради чего? Ради того, чтобы закончить тем же самым? Потрясающая перспектива! *(Срывается с места, начинает метаться по кругу)* Ладно — мы: человек в конце концов такая скотина, что привыкает к чему угодно, но по какому праву мы обрекаем на эту судьбу другое существо, которому еще не дано выбирать самому. Ты подумала, что его ждет впереди? Или: после нас хоть потоп? Я даже представить себе не в состоянии: одни на всем свете!

МАРИЯ *(снисходительно)*. Ося, будь мужчиной.

ОСИП. Я давно уже забыл, что это значит. И потом, кому это теперь нужно?

МАРИЯ. Тебе самому.

ОСИП. С одной поправкой: нужен ли я себе сам.

МАРИЯ (*гладит себя по животу*). Зато ему без тебя никак нельзя.

ОСИП (*с досадой*). Опять за свое. (*Хватается за голову*)
Боже мой, хоть на стенку лезь!

Вдруг останавливается, как бы вслушиваясь во что-то. Где-то вверху за дверями возникает отдаленное цоканье копыт. Постепенно звуки, к которым вскоре примешивается конское похрапывание, становятся все отчетливее. Затем все смолкает, после чего сверху доносится протяжное ржание.

МАРИЯ (*торжествующе*). Я же говорила!

ОСИП. Еще бы: теперь у тебя собственный дом с выездом.

МАРИЯ. Во всяком случае, мы — не одни.

ОСИП (*насмешливо*). С лошастью.

МАРИЯ. Лошадь — это целый вид.

ОСИП. Будем производить кентавров.

МАРИЯ. Пойди лучше посмотри, что это может быть.

ОСИП (*подаваясь к выходу*). Еще одно приключение на мою голову!

Одеяло на двери поднимается, и на пороге возникает довольно нелепая фигура Прохожего в мохнатой шапке, овчинном полушубке и валенках, обвешанного целым оружейным арсеналом: автомат Калашникова на ремне, перекинутом через шею, за спиной — ручной миномет, пояс увешан разнокалиберными гранатами, на нем же — пистолет в кобуре, сбоку пристегнута кавалерийская шашка.

ПРОХОЖИЙ (*отдувается*). Здорово окопались, никакая разведка не доберется! Только по запаху и отыскал, от самого вокзала дымом тянет, думал — пожар, а это ваш блиндаж кочегарит. (*Принимается разоблачаться, оставшись в конце концов в полувоенном кителе и галифе*) Всё, хватит с меня, поплутал по земле досыта, из ушей лезет, тут с вами скучкуюсь, надо думать, не прогоните, в тесноте да не в обиде, два ума хорошо, а три лучше.

ОСИП. Если с лошастью, то четыре.

ПРОХОЖИЙ. А что лошадь, лошадь она тоже друг человека, если б не она, гореть бы мне давно синим пла-

менем где-нибудь среди дороги, только она и вынесла. Хотя, по правде говоря, это и не лошадь вовсе — конь, вернее даже мерин, на нем наш горвоенком Галушкин парады принимал, а в другое время его, не Галушкина, конечно, коня этого, при пожарной охране держали, на всякий случай, хотя без пользы, у нас в Козлове коли горело что, то дотла, пожарники потом только золу разгребали — на бутылку разживиться.

ОСИП *(со страхом глядя, как тот складывает свой арсенал возле печки)*. Вы бы подальше это добро от огня-то, так и на воздух взлететь недолго.

ПРОХОЖИЙ. Не бери в голову. Эти игрушки у меня тоже от Галушкина, железки крашенные, допризывников агитировать на выполнение священного долга, ими только орехи колоть или стекла бить, на другое не тянут.

ОСИП. Чего же ты ими обвешался?

ПРОХОЖИЙ. А для острастки, увидят, что при оружии, не подступятся.

ОСИП. Теперь инопланетянина встретить легче, чем человека.

ПРОХОЖИЙ. Не скажи, не одни мы с тобой ушлые, другие тоже по блиндажам прячутся.

ОСИП. На мерина что ли твоего польстятся?

ПРОХОЖИЙ. А что? Конь — это нынче дороже танка. Горючего не требуется, и по любой дороге пройдет.

ОСИП. Кормить все равно надо.

ПРОХОЖИЙ. А мы с ним на подножном. Чем разживемся, то и едим. Он у меня не привередливый: то соломки с крыш пожую, то в какой деревне гнилого силоса спроворим, то по бесхозным сусекам чего наскребем, тем и кормимся. Вчера вот на вокзале в буфете два ящика тульских пряников обломилось, в общем-то, их, правда, не только на зуб взять — асфальтовым катком не раскатаешь, но коли в воде до утра помочить, разжевать можно, вот нам и харч на два дня. Так от самого Козлова и пробавляемся.

ОСИП. А чего в Козлове-то не сиделось?

ПРОХОЖИЙ. А чего там высиживать — только расстраиваться. Какой город был! Можно сказать, город-сад, в каждом дворе по Мичурину. Хотя, согласно перестройке, и сделались мы сызнова Козловым, но Мичуринском все же не зазря столько лет назывались: нам бы харчи по первой категории, мы бы страну ананасами завалили, не говоря о бананах. У нас один чмур додумался путем скрещивания малосольные огурцы выращивать, правда, погорел — антиалкогольная кампания подкосила. А нынче в Козлове, кроме крапивы, ничего не растет.

ОСИП. А теперь куда?

ПРОХОЖИЙ. Не прогоните — с вами покантуюсь, а там видно будет. Осмотреться надо, обмозговать, что к чему, может, никакого дальше уже и нет.

ОСИП. И коня здесь держать будешь?

ПРОХОЖИЙ. И коня. Куда ж мне его девать?

ОСИП. Непривычно ему здесь: камень кругом, мрамор.

ПРОХОЖИЙ. Зато не льет, не дует. Я его наверху в закутке поставил, ему там, как в стойле, в самый раз.

ОСИП. В закутке?

ПРОХОЖИЙ. Ну там, где этот стоял... Ящик с бессмертным... Я, между прочим, по дороге чуть на него не наехал.

ОСИП. Испугался?

ПРОХОЖИЙ. Теперь живого встретить куда страшней, чем покойника. Жмурик он жмурик и есть: лежит себе — пайка не просит, за горло не берет, в душу не лезет. А этого я сразу просек. Правда, снежком сильно припокрошило, но узнать можно. Точь в точь как в кино, скуластенький, борода клином, только почернел очень. *(Внезапно)* Сами выкинули?

ОСИП. Только этого мне не хватало.

ПРОХОЖИЙ *(удовлетворенно)*. Значит, до вас постарались. *(Свет вокруг него гаснет, черты его лица твердеют, заостряются, он приобретает сходство с государственным деятелем, возникшим на телевизионном экране)* Братья и сестры, соотечественники и соотечественницы, люди

планеты! Отныне правительство более не контролирует положение. Органы государственного управления: армия, министерства, администрация, госбезопасность — прекратили свое существование. В связи с этим я окончательно снимаю с себя ответственность за дальнейшее развитие событий. С этой минуты каждый должен взять свою судьбу в собственные руки. Все вместе и каждый в отдельности теперь предоставлены самим себе. И каждый выживает как может. Мое время истекло. Прощайте.

Свет загорается вновь.

МАРИЯ начинает тихонько стонать.

ПРОХОЖИЙ (*вопросительно кивает в ее сторону*). Занедужила?

ОСИП. Скоро родит.

ПРОХОЖИЙ. На сносях, значит?

ОСИП. Не вовремя.

ПРОХОЖИЙ. Боишься?

ОСИП. Боюсь.

ПРОХОЖИЙ. В первый раз?

ОСИП. В первый.

ПРОХОЖИЙ. Не бери в голову, оборудуем в лучшем виде. Я по ветеринарной части тоже стаж имею: было время, в горветлечебницу собак поставлял. Для опытов. Так что куда входит, откуда выходит, поднаторел. Мне плод принять — два пальца описать, по науке заделаем. Тут первым дело горячая вода нужна. (*Деловито*) Ведро найдется?

ОСИП (*кивает на груды товаров*). Здесь всякого товара пол-ГУМа.

ПРОХОЖИЙ. Лады. Ноги в руки и айда за снегом.

ОСИП (*лихорадочно роется в куче, выхватывает оттуда эмалированное ведро, устремляется к выходу*). Я — быстро.

Скрывается за дверьми. ПРОХОЖИЙ садится, неторопливо снимает с себя валенки, френч, галифе и обнаруживается перед нами в новом облике: типичный провинциальный интеллигент старой выучки в черной паре и при бабочке.

ПРОХОЖИЙ (*вынимает из бокового кармашка пиджака пенснэ, приспособливает его к переносице, подходит к Марии, кладет ей ладонь на лоб*). Как вы себя чувствуете, голубушка?

МАРИЯ. Доктор, я могу умереть?

ПРОХОЖИЙ. Как все, милая, как все. Этого, к сожалению, не миновать никому.

МАРИЯ. Нет, доктор, я имею в виду от этого теперь.

ПРОХОЖИЙ. Уверяю вас, дорогая, в вашем случае этого не произойдет.

МАРИЯ. Как вы сюда попали, доктор?

ПРОХОЖИЙ. Обычным способом, милочка, через двери.

МАРИЯ. Да, но откуда вы?

ПРОХОЖИЙ. Эх, милая, спросите меня чего-нибудь полегче. Я и сам забыл, откуда я собственно родом. Мне столько приходилось скитаться по свету, что я давно утерял память об истоках своей жизни. Когда-то, в ранней молодости, а было это много-много лет тому назад, я поспорил с одним наивным чудаком, который утверждал, что стоит подарить людям свободу, как человек тут же сделается отзывчивее и чище. С тех пор я переменял немало мест и даже обстоятельств, но нигде еще не встретил индивида, способного справиться со своей свободой. Она человеку только в тягость, эта самая свобода.

МАРИЯ. Не всем же в самом деле!

ПРОХОЖИЙ. Практически всем, а те одиночки, которым она по плечу, обычно плохо кончают: спиваются, вешаются или сидят в дурдоме.

МАРИЯ. Значит, они всё же есть!

ПРОХОЖИЙ (*печально*). Есть, но это, к несчастью, не меняет общей картины. В последнее время перед этой напастью я работал участковым врачом, здесь неподалеку, в Мытищах. Там был один учитель-чудак, мечтал посредством великого изобретения осчастливить человечество. В конце концов его затравили собственные коллеги, кончил бичом где-то на Дальнем Востоке. И таких в своей долгой жизни я встречал немало. Было время, я жил даже за границей, где тоже встретил одного чудака. Тот

кончил еще хуже. Между прочим, он спорил со мной о том же, что и вы. Так-то, милая.

МАРИЯ *(стонет)*. Плохо мне, доктор.

ПРОХОЖИЙ. В таких случаях, милая, хорошо не бывает никому, надо терпеть.

МАРИЯ. Совсем плохо.

ПРОХОЖИЙ. Ничего не поделаешь: у вас родовые схватки. По мере моих слабых сил я постараюсь вам помочь.

Сверху доносится ржание лошади.

МАРИЯ. Что это?

ПРОХОЖИЙ. Конь.

МАРИЯ. Какой конь?

ПРОХОЖИЙ. Обыкновенный, с хвостом и гривой.

МАРИЯ. Откуда здесь конь?

ПРОХОЖИЙ. А это у меня в Мытищах был единственный вид транспорта для разъездов по участку. Я даже запрягать сам по этому случаю научился.

МАРИЯ. Чем же вы его здесь кормите?

ПРОХОЖИЙ. Конфетами «Ромашка» фабрики «Рот-фронт», достались случайно два ящика. Ничего, привык, потребляет.

МАРИЯ. Станный вы человек, доктор.

ПРОХОЖИЙ. Как говорил, мадам, один большой поэт: какая есть, желаю вам другую.

МАРИЯ *(снова стонет)*. Ох, тяжело мне, доктор!

ПРОХОЖИЙ. Бывает хуже, мадам, а это скоро кончится.

МАРИЯ *(затихая)*. Спасибо, доктор.

ПРОХОЖИЙ тихонько отходит от нее, снимает с себя свое чеховское одеяние, остается в пижаме, спокойно устраиваясь в кресле у печки.

Возвращается ОСИП.

ОСИП. Такая метель — зги не видно. *(Ставит ведро со снегом на печку)* А вы уже, я вижу, устроились с удобствами.

ПРОХОЖИЙ. Люблю в любых условиях жить по-человечески.

ОСИП. Я и вижу.

ПРОХОЖИЙ. Уют человеку нужен для сохранения здоровья, а что для человека главное? Здоровье. У меня в Козлове даже туалет голубой венгерский имелся и кресло-качалка из Польши.

ОСИП *(насмешливо)*. А больше ничего не имелось?

ПРОХОЖИЙ *(загадочно)*. Имелось-то оно имелось, только это уже моя забота.

МАРИЯ начинает сильно стонать.

ОСИП. Думаю, начинается по-настоящему.

ПРОХОЖИЙ. Говорю, не бери в голову, оборудую как в аптеке. *(Деловито поднимается)* Таз найдется? Полотенцев пару тоже не мешает. *(Подходит к МАРИИ)*. Да вроде начинается, баба уже не в себе.

Вдвоем они начинают суетиться вокруг роженицы.
Ее стоны перемежаются с их отрывистым разговором.

ОСИП. Пошел?

ПРОХОЖИЙ. Вот-вот, надо думать.

ОСИП. Чего требуется?

ПРОХОЖИЙ. Тряпья побольше и горячей воды.

ОСИП. Ну, как?

ПРОХОЖИЙ. Выходит.

ОСИП. Помочь?

ПРОХОЖИЙ. Тоже мне помощник.

ОСИП. Быстрей бы.

ПРОХОЖИЙ. Быстро только кошки.

ОСИП. А теперь?

ПРОХОЖИЙ. Вроде вышел.

ОСИП. Кто: мальчик, девочка?

ПРОХОЖИЙ. Парень, только он неживой.

ОСИП *(упавшим голосом)*. То есть как?

ПРОХОЖИЙ *(раздраженно)*. Как-как, мертвый, вот как!

ОСИП *(со стоном)*. Что с ней теперь будет, она так хотела сына!

ПРОХОЖИЙ *(решительно)*. Уж коли так хотела, заделаем... Вон поройся в этой куче, там, видно, всего навалом. Найди куклу какую ни то, завернем и подложим ей, она

все одно пока не в себе. Попривыкнет и отойдет. Человек — скотина отходчивая.

ОСИП. Разве так. *(Подходит к горе товаров, роется в ней, выбирает куклу и детское одеяло, кое-как заворачивает ее и кладет под бок МАРИИ)*. Спи, родная!

Сверху раздается конское ржание.

ПРОХОЖИЙ. Видно, уже жрать хочет. *(Принимается быстро одеваться в свою первоначальную робу)* Дай-ка мне ведро, пряники отмочить. Пойду покормлю. Заодно и плод вынесу, похороню по-людски.

Конец первой картины.

Картина вторая

Обстановка та же.

Только у постели Марии стоит детская коляска.

ОСИП *(высвечивается из темноты)*. Как я, провинциальный еврей, вечный студент, поэт-неудачник, сторож и дворник, мог оказаться в конце концов здесь, в этом месте, в такое время и с этой женщиной? Если бы еще год назад, даже уже в разгар смуты, какой-нибудь шутник сказал мне об этом, я бы счел это довольно дурной шуткой. Но я здесь, в нынешнее время и с этой женщиной. За одной стеной у меня три соратника Основоположника, наверху сам Основоположник, вернее, лошадь на его месте, сбоку, по закону убывающего плодородия, их дегенеративный наследник, а внутри я, моя женщина и ее несостоявшийся ребенок в виде гумовской куклы. Вот уж действительно: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью! Господи, освободи меня от этого кошмара!

Загорается свет.

МАРИЯ *(в полубреду)*. Ты посмотри, какой он хорошенький, весь в тебя, не отказывайся.

ОСИП. Да-да, конечно, теперь я и сам вижу.

МАРИЯ. Ты будешь его любить?

ОСИП. Я же все-таки отец!

МАРИЯ *(победно)*. Признался наконец.

ОСИП. Еще бы!

МАРИЯ. И такой спокойный, грудь не дергает, берет нежно-нежно. Какая прелесть!

ОСИП. Действительно прелесть.

МАРИЯ. Если бы ты знал, Осип, как я всегда хотела от тебя ребенка! *(Всё уходит в темноту, оставляя нас наедине с ней)* Разве я не имела права на свою долю радости в этом мире? Чем одарила меня судьба? Что дала? Переходила из рук в руки, считая, что ждать мне на этом свете больше нечего, счастье обошло меня стороной и один прожитый вздох стоит спасения. И вот однажды я встретила Осипа. Что я в нем нашла? Не знаю. Просто он не был похож на тех, кого я встречала до него. И этого оказалось для меня достаточно. Но единственного, чего я ждала от него, — ребенка, а он не мог. Кто-то, не помню уж кто, надоумил меня пойти в церковь. Я и молиться-то толком не умела, я просто просила Господа простить рабе своей ее прегрешения и послать мне ребенка. И Господь, видно, услышал мои немудрящие молитвы. Чем мне отплатить Тебе, Господи!

Свет гаснет. В темноте раздается легкое конское ржание. Тут же свет вспыхивает. На пороге — ПРОХОЖИЙ в дорогом пальто с меховым воротником и в пыжиковой шапке.

ПРОХОЖИЙ. Нехорошо, товарищи, я понимаю, положение тяжелое, но не до того же, чтобы в таком священном для всякого советского человека месте устраивать жилье! И потом этот конь, и — где!

ОСИП *(зло)*. А вы кто такой?

ПРОХОЖИЙ. Я бывал здесь как один из вождей партии и правительства.

ОСИП. А спецбуфет вам здесь, дорогие вожди партии и правительства, можно устраивать, в таком священном для каждого советского человека месте?

ПРОХОЖИЙ *(с достоинством)*. Это вопрос возраста некоторых наших товарищей, сочувствовать надо: несколько часов на ногах, на жаре или на холоде, это, са-

ми понимаете, не всякий выдержит, вот и отдыхают товарищи по очереди.

ОСИП. Ототдыхались, теперь наша очередь.

ПРОХОЖИЙ. Ну, зачем же так обострять, товарищ. Я ведь тоже понимаю положение, мне и самому сегодня деваться некуда.

ОСИП. Хотите присоединиться?

ПРОХОЖИЙ (*смущенно*). В некотором роде — не мешало бы. Знаете, совсем замерз, хоть и одет соответственно. Хожу по городу — ни живой души. Третий день, поверьте, в туалете на Пушкинской ночью.

ОСИП. А как же ваши знаменитые бомбоубежища? Там ведь, говорят, у вас запасов чуть не на сто лет.

ПРОХОЖИЙ (*еще смущеннее*). Не пускают.

ОСИП. Что так?

ПРОХОЖИЙ. Я же бывший, мне туда дорога заказана.

ОСИП (*смягчаясь*). Ладно, чего уж там, раздевайтесь, садитесь вот к печке, греться будем. У меня здесь запасов не меньше, чем у них в бомбоубежищах.

ПРОХОЖИЙ (*благодарно*). А я боялся, не примете.

ОСИП. Почему же?

ПРОХОЖИЙ. Нас ведь в народе не очень любят, это мы знаем, нам докладывают. Понимаете: внутренние сводки.

ОСИП. Да уж, прямо скажем, не за что.

ПРОХОЖИЙ. Все-таки мы что-то для народа сделали.

ОСИП. Поэтому мы с вами здесь и оказались.

ПРОХОЖИЙ. Это не наша вина, объективные обстоятельства.

ОСИП. Ох, уж эти ваши объективные обстоятельства: в зубах навязло. Чаю хотите?

ПРОХОЖИЙ (*растроганно*). Не откажусь.

ОСИП (*наливает ему чай в кружку*). Вам с сахаром?

ПРОХОЖИЙ. Если можно. (*Кивает в сторону МАРИИ*)

А это, извиняюсь, у вас что же — жена?

ОСИП. Жена. Без памяти. После родов.

ПРОХОЖИЙ. Сочувствую.

МАРИЯ тихонько стонет.

ОСИП (*бросается к ней*). Я здесь, родная.

МАРИЯ. Как малютка?

ОСИП. Спит сном праведника.

МАРИЯ. Может, его покормить?

ОСИП. У меня детского питания навалом. Тебе сейчас главное — спокойно отдыхать. Не беспокойся, ложись на меня.

МАРИЯ. Дай мне воды, пожалуйста.

ОСИП. Может быть, чаю?

МАРИЯ. Нет, милый, холодной воды.

ОСИП. Сейчас я натаю снега. (*Срывается с места*) Через две минуты у тебя будет вода, Маша.

Скрывается за дверным пологом. ПРОХОЖИЙ встает и тут же преобразается: вместо партийного вельможи перед нами элегантный господин с манерами изысканно светского человека.

ПРОХОЖИЙ (*подходя к МАРИИ*). Как вы себя чувствуете, сударыня?

МАРИЯ. Кто вы?

ПРОХОЖИЙ. Когда-нибудь, если вы, конечно, захотите, я расскажу вам и о том, и о другом. Впрочем, если это вас так интересует, могу отрекомендоваться: я — артист тамбовской драмы. Точнее: герой-резонер. «Лес» Островского — моя стихия. Так как вы себя чувствуете?

МАРИЯ. Где Осип?

ПРОХОЖИЙ. Вы имеете в виду того молодого человека, который только что был здесь?

МАРИЯ. Ради Бога, говорите, пожалуйста, проще!

ПРОХОЖИЙ. Могу и проще, и вообще по-разному, но с вами бы мне не хотелось, во всяком случае до определенного времени.

МАРИЯ. Я вас спрашиваю: где Осип?

ПРОХОЖИЙ. Он же вам сказал: пошел за водой для вас.

МАРИЯ. Я очень волнуюсь.

ПРОХОЖИЙ. Волноваться вам уже поздно.

МАРИЯ (*встревоженно*). Что такое?

ПРОХОЖИЙ. Все люди, как известно, смертны. Хотя в этом случае я тоже поучаствовал.

МАРИЯ *(кричит)*. Что с ним?

ПРОХОЖИЙ. После того, что я вам сообщил, вопрос ваш просто неуместен.

МАРИЯ. Вы лжете!

ПРОХОЖИЙ. Меня не любят как раз за то, что я всегда говорю правду, но только не всегда утешительную.

МАРИЯ. Я не верю вам!

ПРОХОЖИЙ. Воля ваша.

МАРИЯ. Зачем вы лжете? Что вам от меня нужно?

ПРОХОЖИЙ. Я уже сказал, что никогда не лгу, а нужно мне от вас совсем немного: послушание. И тогда мы с вами обо всем договоримся.

МАРИЯ. Кто же вы, наконец?

ПРОХОЖИЙ. Прохожий. И, хотя лошадь наверху — моя, я ею практически редко пользуюсь. Я больше хожу. Это развивает наблюдательность и, к тому же, способствует знакомству с великим множеством людей.

МАРИЯ. Но зачем вам я? Именно я?

ПРОХОЖИЙ. Первый разумный вопрос. Был бы выбор, я, наверное, нашел бы чего-нибудь получше, но выбирать больше не из чего, на земле почти никого не осталось. Ну, может быть, конечно, отсиживаются где-нибудь по норам, только я не оперативник из угрозыска, чтобы заниматься мелочными поисками, а тут и женщина, и место соответствующее.

МАРИЯ. Но у меня сын, понимаете, сын!

ПРОХОЖИЙ *(в полной темноте на его вдруг ожесточившемся лице сфокусировалось световое пятно)*. Смотри же, чудак из Галилеи! Мало того, что люди глупы и злы, какими, впрочем, были всегда, они еще и ничтожные фантазеры, готовые верить в самые нелепые вещи. Они вознамерились построить всеобщее счастье, правда, на костях друг у друга, но для начала построили только вот эту безвкусную усыпальницу с дармовым баром и утепленным туалетом под ней для своих косноязычных жрецов. Что из всего этого получилось, можешь теперь полюбоваться. Зачем уж Ты для них так старался, надо было оставить их своей участи!

ПРОХОЖИЙ (*уже грубо*). Неужели ты не видишь, что это кукла?

МАРИЯ (*обиженно*). Мой сын — не кукла, а человек.

ПРОХОЖИЙ. Протри глаза, дура, это кукла, кукла из ГУМа.

МАРИЯ. Кто это вам сказал?

ПРОХОЖИЙ (*подносит куклу к самым ее глазам*). Смотри, смотри, смотри!

МАРИЯ. Вижу, это мой сын. И прошу вас осторожнее, вы можете сделать ему больно. Дайте-ка его мне. Вот так, мой дорогой, я тебя никому больше не отдам.

ПРОХОЖИЙ. Да ты просто чокнутая.

МАРИЯ. Не более, чем вы.

ПРОХОЖИЙ (*хохочет*). Вот как! Запомни: сколько стоит мир, не было существа нормальнее, чем я. Я даже слишком нормален для такого быдла, как вы.

МАРИЯ. Это и есть ненормальный.

ПРОХОЖИЙ. Да что с этой дурой разговаривать! Оставайся здесь, пусть время само заканчивает с тобой свою работу, а гумовскую куклу прими от меня на память. Когда ты очухаешься, ты кое-что поймешь.

МАРИЯ. Уходите отсюда, я буду дожидаться Осипа.

ПРОХОЖИЙ. Ты будешь ждать его слишком долго, чтобы дождаться.

МАРИЯ (*упрямо*). Все равно.

ПРОХОЖИЙ. Будь ты проклята со своей беспробудной глупостью! (*Он направляется к двери, по пути водой из ведра заливает огонь в печке и перед тем, как выйти, оборачивается к нам, весь свет в эту минуту направляется на него*) Ты все-таки проиграл мне, чудак из Галилеи!

Наступает крошечная тьма. Вскоре мы слышим конское ржание и удаляющийся цокот копыт. Затем во тьме вспыхивает язычок пламени в погасшей было печке и тут же раздается пронзительный детский плач. Оживает и транзистор далекой музыкой вальса из «Доктора Живаго».

МАРИЯ (*восторженно*). Он плачет, он плачет, он плачет...

Обращение Воркутинского городского рабочего стачечного комитета к АФТ-КПП

Воркутинский городской рабочий стачечный комитет, продолжая упорную борьбу с бюрократами всех рангов за защиту интересов трудящихся нашего города, обращается к вам как к представителям истинно рабочего независимого профсоюза с просьбой о поддержке нашего, только начавшего формироваться рабочего движения. Мы помним выступление в 1975 году нашего соотечественника А.Солженицына на заседании АФТ-КПП, где он сказал исторические слова: «Только абсолютная твердость может победить коммунистических правителей». И мы, представители шахтерских коллективов, проявляя твердость и упорство в борьбе за выполнение законных требований наших рабочих, все отчетливее понимаем, что вступили в неравную, смертельную схватку с общим врагом всех рабочих России — коммунистическими бюрократами-нахлебниками.

Сейчас, в эти дни, когда мы, понимая приоритет политических требований над экономическими, провели политическую суточную забастовку и снискали дикую ярость и озлобление бюрократов всех этажей и рангов, когда нас шельмуют, запугивают, таскают по судам, мы просим вашей поддержки.

Ваш профсоюз снискал мировую известность в борьбе за права своих рабочих, с вами считаются правительство и президент Соединенных Штатов Америки, поэтому мы обращаем взоры именно к вам. Обдумайте формы сотрудничества с нами: выезд к нам в Воркуту, приглашение нас в вашу организацию, материальная и техническая помощь, а также организация кампании поддержки в средствах массовой информации.

Ответ просим направить по адресу: 169930, Воркута, улица Ленинградская, дом 5, Воркутинский городской рабочий стачечный комитет.

Телефоны: 4-18-20, 7-23-36.

Просим ответ продублировать по адресу: 117334, Москва, гостиница «Спутник», комната 237, Терентьеву Николаю Анатольевичу, телефон 938-76-78.

*Председатель Воркутинского городского
рабочего стачечного комитета
КОБАСОВ Валентин Казимирович*

1 ноября 1989

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Дора Штурман

ВОКРУГ «БЕЛЫХ ОДЕЖД»

...А где-то, под неярким небом,
Дела дневные сбросив с плеч,
Переплетают Ваш «Не хлебом»,
Чтоб зерна истины сберечь.

У одностумцев за плечами
Качает крыльями сова,
И не мечами, так ключами
В пути становятся слова...

Из самиздатских стихов начала 1960-х гг.

Для читающих советских людей моего поколения (в 1956 году — 33 ± 5) роман В.Дудинцева «Не хлебом единым» и его рассказ «Новогодняя сказка» значили очень много — так много, что никакие перипетии дальнейшей литературной судьбы Дудинцева, никакие его сегодняшние эволюции умалить его места в нашем мировоззренческом становлении не могут. И соответственно — нашей ему благодарности.

Напомню, что после нескольких восторженных откликов роман вызвал травлю, дошедшую почти до накала более поздней кампании против Пастернака. Создание таких живых, таких убийственно точных типажей («столпов режима» и их «прилипал»), как Дроздов, Авдиев, Шутиков, «барометр министерства» Вадя Невраев и др. («невидимый град Китеж»), номенклатура писателю не могла простить. Фамилия критика Шамоты, открывшего травлю в «Литературной газете», для меня навсегда связалась с ругательством вроде «сволоты». И сегодня, когда В.Дудинцев, беседуя с Ю.Черниченко, выдает любовную индульгенцию публично предавшему его в свое время К.Симонову, это режет слух: Симонов проявил себя тогда не лучше всей прочей шамоты. А мог бы и не проявить: не убили бы и даже не посадили бы.

Роман В.Дудинцева «Неизвестный солдат» был аннотирован «Новым миром» в 1965 году. Я знаю доподлинно*, что книга, к июню 1965 года дописанная или почти дописанная, была посвящена одной из трагедий времен лысенковщины. Дудинцев говорил тогда, что «Не хлебом единым» по сравнению с «Неизвестным солдатом» — «детские игрушки» (цитирую дословно). К тому времени он, по его словам, уже несколько лет (вместе с другими литераторами и учеными) был занят борьбой против лысенковщины, годами не зарабатывая ни копейки, и его большая семья жила под держкой друзей и единомышленников, порой анонимных. Р.Берг в своей книге «Сухой» (Нью-Йорк, Chaldize Publ., 1983), о которой ниже, говорит о Дудинцеве 1962 года (на основании личной встречи) иное, но у меня нет причин сомневаться в полученных мною летом 1965 года сведениях.

В 1965 году Дудинцев был уверен в скорой публикации книги: даже «Октябрь» просил тогда у него новых «острых» вещей. Мы ждали книги, перешагивающей через границы, на которых остановилось обобщение одиозных частных в «Не хлебом единым». Ведь там было и такое:

«Вот вам тема для диссертации — что такое монополия, почему все валится у нее из рук и чем она отличается от настоящего коллектива» (Галицкий — Лопаткину). Или:

«Нет капиталиста, который купил бы эту идею, а народу ни к чему эти дергающие экономику стихийные страсти» (Дроздов — Лопаткину).

Тогда нас не настораживали ни «истинные», действительно нужные народу и партии коммунисты Дудинцева, противостоявшие своей же партократической монополии, ни «настоящий коммунизм» Лопаткина — синоним свободной творческой самоотдачи. Одних (не настораживали) — потому, что в ту пору они еще и сами так видели советский космос и коммунизм; других — потому, что эти частности принимались ими как ритуальные формулы, обязательные в легальном издании. Сначала мы ждали появления «Неизвестного солдата» в советской печати. Потом, когда стало окончательно ясно, что «оттепель» кончилась, — в Самиздате или Тамиздате. Но в неподцензурной печати роман так и не появился. Зато «Не хлебом единым» был переиз-

* См. Д.Штурман. Тетрадь на столе. — «Время и мы», №52, 1980.

дан в 1966 году отдельным изданием (М., «Художественная литература»). К тому времени у Самиздата и Тамиздата была такая библиотека, а наука, западная (в переводах) и советская (в легальной печати), пришла к таким системологическим обобщениям, что вторичная публикация «Не хлебом единым» ничем «невидимому граду Китежу» не угрожала. Да и литература Госиздата ушла к 1968 году далеко вперед от бестселлеров 1956 года.

Итак, «Неизвестный солдат» канул в вечность, не выплыв ни в более или менее массовом Самиздате (за узкие круги доверенных лиц автора не ручаюсь), ни — это уже наверняка — в Тамиздате. Вместо него появились через двадцать три года после новомировского анонса «Белые одежды», впитавшие в себя, по-видимому, интригу и ситуацию не вышедшей в свет в свое время книги. А проблематику?

Тождественна ли проблематика «Белых одежд» проблематике «Неизвестного солдата»? Тождественны ли их историко-философские, социальные, этические постулаты? Тождественен ли автор «Белых одежд» самому себе двадцатитрехлетней давности? Если нет, то в какую сторону, в чем он изменился? Этого мы не знаем; нам не с чем сравнивать: «Неизвестного солдата» в редакции 1965 года никто не читал. Соотносить новую книгу Дудинцева мы можем только с «Не хлебом единым».

В этой связи попробую сформулировать свое читательское ощущение: роман «Белые одежды» не является, как являлся роман «Не хлебом единым», произведением цельным, естественным для автора как дыхание, стилистически, мировоззренчески, психологически однородным. На «Белых одеждах» отпечатались (опять же — по моему ощущению) насилия над текстом, над критериями, над выводами. Мне представляется, что это — насилие автора над собой самим. В этой книге не меньше стилистически, мировоззренчески, этически неоднородных кусков, пластов, чем в «Тихом Доне» Шолохова. Высказаны и продолжают высказываться предположения, что в книгу Шолохова вошли тексты двух (или даже трех) авторов. Мне всегда казалось более вероятным, что в этом произведении сосуществуют разные ипостаси расслоившейся личности одного автора. Они спорят друг с другом и в «Поднятой целине», но уже глуше. В конце концов победила лгущая часть личности автора. Писатель умер еще при жизни, а человек спился.

В «Белых одеждах» тоже есть куски и страницы, которые представляются написанными не одной и той же рукой. Может быть, они писались в разное время? Самое печальное, что в книге много страниц очень слабых. Иногда говорят, что много таких и в «Не хлебом единым». Там я их не видела и по сей день не вижу. Ощущение литературного качества текста — вещь достаточно субъективная, поэтому я говорю лишь о своем впечатлении. Во мне «Белые одежды» оставили впечатление поразительной неоднородности: от страниц хорошей прозы до проявлений полной профессиональной беспомощности. Перед моими глазами осталась картина словно бы несколько раз автором переписанного, искореженного вставками, правками и купюрами текста.

О «Белых одеждах» в эмигрантской прессе уже писала М.А.Шнеерсон («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1988, 25 ноября). Я не хочу ее повторять. Несколько очень характерных, как мне представляется, для Дудинцева отрывков, которые я могла бы здесь привести, ничего, в принципе, в литературно-критической оценке романа, сделанной М.А.Шнеерсон, не изменят. Я ограничусь анализом его концептуальной основы, которая более всего занимает и советских критиков.

В своей статье «Трава из-под стога» (В сб.: Иного не дано. М., «Прогресс», 1988, с.591-620) Ю.Черниченко восторженно говорит о книге В.Дудинцева «Белые одежды» и ее авторе. Я не буду здесь анализировать эту статью, в том числе и отношение Ю.Черниченко к роману Дудинцева. Сформулирую лишь один возникший у меня при чтении этой статьи вопрос: почему Ю.Черниченко считает многолетнюю борьбу В.Дудинцева за издание в Госиздате* его романа «самим мужеством»? Само мужество вручало и вручает плоды своего постижения мира читателям и слушателям по мере этого постижения, а не по мере изменения отечественных цензурных возможностей. У советской интеллигенции страшный опыт. Поэтому нарастающий натиск редакторов и авторов, режиссеров и актеров, деятелей всех родов media, вырывающих у обмякшей (надолго ли?) цензуры каж-

* Под Госиздатом я подразумеваю всю советскую подцензурную печать.

дый дополнительный миллиметр свободного жизненного пространства, вызывает сочувствие, восхищение и благодарность. Тем более, что завтрашний день этих людей скрыт во мгле. Но все-таки само мужество издавна осуществляло и сегодня осуществляет свободу слова явочным порядком, повинаясь только этике, логике и хронологии своего творчества, а не эволюциям обстоятельств. При этом всегда приходилось и ныне приходится не принимать в расчет ни численности возможных своих читателей, ни сопутствующих жизненных обстоятельств, а также наиболее вероятных последствий подобной свободы действий. Такова нынешняя внутрисоветская «неформальная» периодика. Таковы Самиздат и Тамиздат. Такова зарубежная литература поработанных народов. Ю.Черниченко пишет о «Белых одеждах» так, словно никто не вошел в русскую литературу, публицистику и мемуариистику с темой этого произведения до Дудинцева и не пошел в ней глубже и дальше, чем он. Не вдаваясь в историю вопроса и в его обширную библиографию, отечественную и мировую, напомним лишь нескольких авторов.

Жорес Медведев — его обширная монография «История одной дискуссии, или Советская биология за тридцать лет» широко читалась в Самиздате уже в начале 1960-х гг. Одно время ее полуофициально допускали к прочтению на соответствующих кафедрах советских вузов, потом запретили. Его же книга «Взлет и падение Т.Д.Лысенко» опубликована по-английски в США в 1969 году. Вскоре после того Ж.Медведева пытались запереть в психзастенки, откуда его вырвали, насколько я знаю, Капица, Твардовский и Сахаров. Позднее Ж.Медведев был лишен советского гражданства во время разрешенной ему заграничной поездки.

Марк Поповский о трагедии советской биологии писал в СССР в 1960-х — 1970-х годах в Самиздате, периодически пробиваясь с этой темой в легальную печать. Наиболее полное жизнеописание Н.И.Вавилова и публицистическое исследование «Управляемая наука» издал по-русски и в переводах в эмиграции, где публикуется с конца 1970-х годов.

Раиса Берг — «Суховой. Воспоминания генетика». Книга концептуально намного богаче и по охвату материала гораздо шире «Белых одежд», что при различии жанров естественно. В ней присутствуют реальные участники и современники драмы и воссоздана жизненная эпопея авто-

ра и его коллег, не уклонявшихся от борьбы в годы куда более страшные, чем «застой», не говоря уже о «перестройке» (термины лживые и ничего о сути обоих периодов не говорящие).

Я отнюдь не хочу сказать, что эти и другие, не упомянутые мною, книги о судьбах советской генетики делают излишними новые обращения к их проблематике (в любых жанрах). Для искусства и мысли такой зависимости не существует. Но, тем не менее, дальше других современников видит тот, кто, по выражению, если не ошибаюсь, Ньютона, стоит на плечах предшественников. Нельзя каждый раз начинать путь мысли сначала или объявлять продолжателей первопроходцами. Почему столь многие (к счастью, не все) советские литераторы игнорируют свободную русскую литературу по занимающим их вопросам, рекомендуя себя или своих коллег разработчиками целины, — даже в тех случаях, когда мы точно знаем, что они многое из работ предшественников и современников читали? Только оглядка на цензуру? Или еще и комфортабельная возможность не заботиться об элементах новизны и первичности? Или то, о чем вспоминал недавно Василий Аксенов к семидесятилетию Солженицына?

Отвержение Солженицына было для советской литературы рефлексорным актом самозащиты.

Феномен Солженицына по сути дела убил литературу „оттепели“ с ее почти стабильно уже отработанной системой намеков, аллюзий и кукишей в кармане. Намек становится неуместным вздором, когда бок о бок с тобой находится человек, говорящий на ту же тему в полный голос. («Стрелец», 1989, №1/61, с.242).

Таким совокупным человеком является вся свободная литература. Вернемся, однако, к Дудинцеву.

В 1965 году в «Неизвестном солдате» Дудинцев скорее всего и оказался бы одним из первопроходцев, впервые заговоривших на кровоточащую тему «в полный голос», если бы роман не остался «в столе». Через двадцать три года для читателей, знакомых со свободной литературой, он им перестал быть. Это могло его книге и не повредить: во-первых, интерес современников к лысенковщине далеко не насыщен; главные из посвященных ей книг вышли в Самиздате и за границей и в СССР доступны немногим. Во-вторых, темы *исчерпанной* и — более того — *исчерпаемой* для искусства и самобытной мысли нет и не может быть. Пер-

вое обстоятельство, несомненно, работает на Дудинцева: его книга находится среди тех советских произведений последних лет, которые захватывают читателя (особенно в 1950-х — 1960-х годах всерьез еще не читавшего) уже одной только темой. Со вторым фактором дело обстоит сложнее.

Альманах «Стрелец-89» (Нью-Йорк, «Третья волна») перепечатал статью советского критика Н.Ивановой, размышляющей о В.Дудинцеве, Т.Толстой, Ю.Трифонове и о некоторых советских исследователях их творчества. «Белые одежды» Н.Иванова определяет как «роман мысли», в котором миссия художника отступает на второй план перед миссией историка, философа, социолога (отсюда, по мнению Н.Ивановой, художественные недочеты романа, не уменьшающие его ценности). Я не думаю, что существует такая альтернатива: либо роман мысли — либо художественное совершенство (или хотя бы высокое качество). Но размышления на эту тему излишни, ибо «Белые одежды» — не роман мысли. Прежде всего потому, что никакие течения мысли в этой книге одно другому не противостоят. Борьба мысли между современной для 1940-х годов генетикой и ее добросовестными научными оппонентами к тому времени завершилась более или менее широким признанием фундаментальных постулатов генетики. Биология бурно развивалась, в ней продолжались диалоги и полемика, возникали новые направления, специализации и ответвления (в границах собственно биологии и на ее стыках с другими науками). Об этом рассказывает Р.Берг в «Суховее» изнутри ситуации. Но «академик» Лысенко никогда не представлял ни одного из течений научной мысли (то же — и академик Рядно в романе Дудинцева). Борьбы идей между фальсификатором, интриганом и властолюбцем Рядно и ученым Стригальевым не было и быть не могло. Академик Рядно, если, в отличие от Лысенко, когда-то и был, то давно перестал быть ученым. Он имел Покровителя, сообщников и функционеров, а не научную школу. Некоторая борьба идей происходит вроде бы какое-то время в сознании его фаворита Дежкина — пока последний окончательно не прижимает к тем, кто прав. После этого борьбу идей заменяют в его сознании выбор тактики и моральное обоснование конспирации. Недолгие первоначальные колебания Дежкина предопределялись, по-видимому, его профессиональным невежеством. После одного-двух разговоров с теми, кого он

должен был терроризировать, после классического лабораторного опыта, предложенного ему еретичкой-возлюбленной, просмотра одного крамольного научного кинофильма и прочтения широко известной специалистам книги он стал убежденным сторонником гонимых. Что читал кандидат наук Дежкин до этого — непонятно. А ведь успел прослыть в среде генетиков Торквемадой.

Итак, борьбы разных течений научной мысли в «Белых одеждах» нет.

Остается предположить, что Н.Иванова имеет в виду мысль самого Дудинцева — ее поиски и борьбу, ее свершения.

В чем, однако, концептуальный стержень «Белых одежд» — по утверждению самого Дудинцева и по мнению его самых благожелательных критиков?

Дудинцев ищет и, по его убеждению, находит корни воссозданного им конфликта не в социальной, а в нравственной сфере человеческого бытия. И писатель, и критик Н.Иванова задаются следующим вопросом: как могло случиться, что тысячам ученых, знающих истину, их моральный кодекс позволил подчиниться диктату агрессивного фальсификатора?

В одном из своих телеинтервью Дудинцев говорил о постигнутой им ценой тяжкого опыта непрерывности сражения Добра со Злом в душе человека и соответственно в обществе, о неустранимой необходимости всегда осуществлять нравственный выбор. В этом он и находит ответ на главный вопрос романа: Добро отступило перед Злом в душах тысяч людей, *но не во всех без исключения*. Некоторые — те, кто в белых одеждах, — решились на конспирацию, на морально оправданный «обман обмана», позволивший им продолжать их исследования. Поэтому Добро победило. Такова основная мысль романа.

Дудинцеву, видимо, представляется, что он ушел далеко вперед от социологизма «Не хлебом единым». Что ж, согласимся: борьба между Добром и Злом непреходяща и повсеместна. Более того: чем люди свободней от внешних пут, тем судьбоносней для них, для человечества, для Природы исход борьбы между Добром и Злом в их душах. Бесперебойная и морально абсолютно индифферентная конкурентно-рыночная машина свободного общества готова немедленно удовлетворить *любой* спрос (от спроса на Биб-

лию и детское питание до спроса на наркотики и наемных убийц). В таких обстоятельствах если не все, то многое, очень многое начинает зависеть от того, Добро или Зло, понимаемое по заповедям, диктует нам каждый заказ этой машине.

Но, соглашаясь с Дудинцевым в его главном тезисе (о вечности сражения Добра со Злом в человеческих душах), заметим: он напрасно ушел с почвы еще и социально-системной в данном конкретном сюжете. В нормальном обществе, 3-5 процентов населения которого кормят всю страну и многих едоков за ее пределами, выведение новых сортов популярных сельскохозяйственных культур стоит давно уже на будничной коммерческой почве и, как правило, не предопределяет роковых коллизий для тысяч ученых. Неоднозначные аспекты и перспективы генной инженерии, обретающие все большую остроту и небезразличные для всего мира, лежат в иной плоскости и охватывают круг фундаментальных проблем, начиная с нравственных.

Но Дудинцев говорит не о них, а о тривиальной сельскохозяйственной селекции. Кроме того, вопрос, поставленный им, некорректен в принципе: тысячи ученых, знающих истину, сдались не академику Рядно (Лысенко) как таковому. Дудинцеву так же ясно, как нам, что над блудливым, тщеславным и невежественным фальсификатором стоял другой дьявол (Сатана над чертом). Сатана, в свою очередь, противопоставлял сдавшимся тысячам и несдавшимся — тоже не одиночкам (читайте «Суховой» Р.Берг) — не столько свои личные качества, сколько оседланную им Систему. Многого ли добился бы он от ученых без нее? Я ничего не открою, повторив, что за Сталиным и, следовательно, за Лысенко (Рядно) стоит Система, вооруженная до зубов, имеющая всепроникающий сыскной аппарат и оперативнейшую в истории человечества охранку, владеющая всем достоянием общества: всеми ресурсами, всеми рабочими местами, всем жилым фондом, всеми средствами массовой информации и т.д. и т.п. Разве в романе Дудинцева Рядно не задействовал немедленно и «органы»? А самого Дудинцева какое рядно заставило запереть «Неизвестного солдата» на двадцать три года в стол? В 1965 году он вовсе не собирался ждать с публикацией своего романа почти четверть века. И не безнравственная личность (шайка), а Система, при которой нельзя издать книгу без державного на

то соизволения, его к этому вынудила. Что помешало ему уйти в Самиздат или Тамиздат: недостаток мужества или принципиальные соображения, — гадать не будем. Принципы часто приходят на помощь недостатку мужества, жалости к себе или к близким.

Если бы, с одной стороны, наука, мысль, *вся ее материальная и информационная база*, а с другой — экономика, *все достояние общества* не оказались в одних обезличенных совокупных руках — в лапах Системы, то и духовный потенциал общества не выдирался бы из этих лап с такими потерями, в огромной степени необратимыми. В нормальном обществе со свободным хозяйством Рядно, как любой шарлатан, больше двух-трех раз своих инвеститоров (совет фермеров, муниципалитет, исследовательский центр, меценатов, государство и пр.) не обманул бы. Его прогнали бы с треском. «Троллейбус» и его «кубло», на худой конец, взяли бы деньги в кредит, в долг и добились бы успеха, в том числе и житейского.

О том, что дело обстоит в массе случаев именно так, а не иначе, свидетельствуют все отличия американской, канадской, австралийской, западноевропейской и пр. сельскохозяйственной и потребительской ситуации от советской. Не говоря уже о сравнительной вероятности репрессий против ученых, инакомыслящих... по отношению к чему и кому? Ведь официальной позиции в науке в демократических странах, как известно, вообще нет. Разве что в вопросе о государственных инвестициях в науку. Так можно ли в данном конкретном случае пренебрегать социально-системной почвой событий, настолько трагических и массовых?

Надеяться же на то, что из высших нравственных соображений (не только ради отличного сорта картофеля, но даже и ради фундаментальных научных истин) большинство ученых, а не лишь подвижники, которых в истории советской генетики поразительно много, пойдут на смерть, на утрату свободы, на крушение семейной жизни, на муки для близких, на подполье, — бесчеловечно.

А судьбы книг и писателей? Можно ли усомниться в том, что если бы выход «Неизвестного солдата» в свет в 1966 году (речь идет о второй книге писателя, широчайше известного) зависел только от готовности читателей за него заплатить, то Дудинцев, не имея, допустим, собственных средств, распространил бы предварительную подписку и

выпустил бы роман за два-три месяца? Тираж? Он зависел бы от числа потенциальных читателей (как у всех нас, грешных, по эту сторону). В данном случае их были бы сотни тысяч (по меньшей мере).

По многим причинам никогда и нигде не было, нет и не будет недостатка в трагических для творческой личности коллизиях. Но писатель какой из свободных стран может сказать о родной земле: «Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги»? (Александр Солженицын. Нобелевская речь, 1972).

Если у каждой из тоталитарных стран есть свой ГУЛАГ с писательскими могилами, а ни у одной из свободных стран его нет, то не только же в нравственности людей и народов тому причина! Тем более, что граница между тотальностью и относительной хотя бы свободой рассекает иногда один и тот же народ. Но и в этих случаях в каждой из половин господствуют закономерности выпавшей на ее долю Системы.

Итак, сюжетный конфликт «Белых одежд» Стригалева — Рядно не расположен ни на концептуально-научной (Мысль), ни на чисто нравственной (Добро против Зла в душе человека) почве: он куда примитивней, но все-таки носит прежде всего социально-системный характер. Глубинные нравственные истоки у этого конфликта есть, но они автором не затронуты, ибо не затронута господствующая идеология и ее нравственные основы в их исторической динамике. Что же до столкновений научной честности (гражданского долга) и карьеризма (корысти), которых, по несовершенству человеческому, из жизни исключить невозможно, то катастрофических масштабов «лысенковщины» они в нормальных обществах не достигают. Нормальными представляются общества, где мысль свободна от монопольного финансирования и диктата.

Возникает иной вопрос, не поставленный Дудинцевым (при его ориентации на чисто нравственное обоснование конфликта он мог перед автором и не возникнуть): почему Система поддержала Рядно, а не Стригалева, «мичуринскую биологию», а не генетиков? Ведь конфликт, казалось бы, имеет характер не политический. Вот тут бы роману Мысли и развернуться, тем более, что упомянутые и не упомянутые нами работы историков вопроса позволяют сего-

дня приподнять завесу над убедительными для него ответами.

Думаю, что выбор был сделан не только по сродству душ Лысенко и Сталина. И не только потому, что Лысенко привлёк сначала Сталина, а потом и Хрущева своими феерическими посулами*. Конечно, сродство душ налицо: *Системе* (уже с эмбрионально-доктринальных ее времен) антипатичен непредвзято мыслящий, а тем более, еще и нравственно неуступчивый интеллигент; ей милее, нужнее, родственней верный любой господствующей фразеологии беспринципный «образованец». Почему — объяснять вряд ли нужно: это объяснено многократно.

Но ведь и картошка нужна! Можно было хотя бы позволить Стригалеву довести до конца его опыт! Но Стригалева для Рядна — боец фронта генетики, а сопротивление Системе принятию методологии и селекционных методик генетики представляется не столь уж загадочным. Прежде всего, селекционеры работают медленно. Марксизму-ленинизму же вообще и сталинизму, в частности, прирождены, родственны и симпатичны «решения» быстрые, новаторские, окончательные. Кроме того, радикализму, как и толпе, которую он всегда намеревается повести и часто ведет за собой, по душе «решения», сопровождаемые как можно более четким и близким указанием на «врага». К такого рода решениям особенно тяготеют доктрины и силы, чьи конечные цели носят характер утопический. Или иначе: утопии обычно предлагают «решения» быстрые, радикальные, а на самом деле — заведомо импотентные (во всем, кроме разрушения, лжи и насилия). *Как тут обойтись без «врага»?* Возьмите коллективизированное сельское хозяйство СССР, построенное такой кровавой ценой, с его вождельным для коммунистов отсутствием частной собственности, с его МТС, с его партийным («единственно правильным») руководством, обслуживаемое огромным количеством НИИ, опытных станций и вузовских кафедр. Почему оно не дает подсчитанной еще Шарлем Фурье отдачи? Где затаился враг?

* Эти посулы сменяли друг друга с такой ураганной скоростью, что Хозяин забывал (или не успевал узнать) о провале предшествующего блефа, ослепленный блеском очередного фантома. Говорят, Лысенко и сам в них верил. Так ли это — не знаю.

Трудно ли понять, какой находкой для Сталина явились в этих условиях «разоблаченные» «академиком» Лысенко шарлатаны и саботажники-генетики, занятые бесполезными мухами вместо необходимых народу коров? Неторопливая селекция сельскохозяйственных сортов и пород и скоростное «наследование» целенаправленно «воспитанных» признаков — какое, с точки зрения строительства коммунизма, может быть между ними сравнение? Поощряется то, что «быстрее», «лучше», а выполнимо ли — это зависит от исполнителей: надо выполнить — выполняют. Не захотят — заставим. Не умеют — научим. Не это ли объяснял Бухарин академику Павлову в 1924 году?

Сердится проф. Павлов ужасно свирепо.

«Люди вообразили, что они, несмотря на заявление о своем нежестве, могут переделать все образование нынешнее».

Страсти-мордасти! Вот ужас-то, в самом деле! И *переделаем* так, как нам нужно, обязательно переделаем! Так же переделаем, как переделали самих себя, как переделали государство, как переделываем хозяйство, как переделали «расейскую» «Федорушку-Варварушку» в активную, волевою, быстро растущую, жадную до жизни народную массу, которая только теперь завоевала себе возможность настоящего развития. [...] Как же случилось этакое чудо, что неучи расколотили противника и крепко, точно молодые дубы, стоят на завоеванной земле? Разгадка простая, проф. Павлов: не знали — узнали; не учились — обучились и научились; не умели, а потом сумели. Только и всего. (Н.И. Бухарин. О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем. — В кн.: Путь к социализму. Избранные произведения Бухарина. Под ред. С.Хейтмена. Нью-Йорк, Омикрон-букс, 1967, с.206-208).

Это ли не лысенкино воспитание удойных коров за одно поколение? Какими методами? Отвечает тот же возлюбленный нынешними социлибералами Бухарин:

...принуждение во всех своих формах, начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. (Н.И.Бухарин. Экономика переходного периода. — Там же, с.119).

Хотите посмотреть, как решает научно-хозяйственно-промышленные проблемы еще более возлюбленный социлибералами Ленин? Вот несколько микропримеров (цитирую по очерку Венедикта Ерофеева «Моя маленькая ленинияна». — «Континент» №55, 1988, с.195, 199):

Глебу М.Кржижановскому:

«Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физ.-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2-х лекций, обучить не менее 10-и (50-и) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920). [Ленин, ПСС, т.52, док. 62, с.38].

В комиссию Киселева:

«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921). [Там же, т.53, док.295, с.183-184].

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок» (26 августа 1919). [Там же, т.51, док.62, с.38-39].

Такова изначальная стратегическая ось ее идеологии. Неудивительно, что лысенки, стахановы, лепешинские и им подобные становятся идолами режима, а кто не с ними, тот *«против нас»*.

Но есть, по-видимому, еще один, менее явный аспект проблемы (он четко намечен в книге Р.Берг). Марксизму-ленинизму, а сталинщине как одной из предельных разновидностей этой идеологии — особенно, антипатичны и, более того, противопоказаны развернутые в терминах и категориях любой науки постулаты и выводы современной теории систем. Современное понимание «больших», или «сложных» систем и естественных для них способов самоорганизации и функционирования опровергает аналитическую и конструктивную догматику марксизма как непоправимо ошибочную. Поэтому для Ленина оказались категорически неприемлемыми системологические разработки А.А.Богданова (Малиновского), во многом предвосхитившего кибернетику. Поэтому сталинский «мозговой трест» (главные опричники «образованщины») ополчился против генетики и кибернетики.

Можно лишь поражаться самосохранительной чуткости стражей идеологии. Атака искони шла против тех наук и ученых, чья методология и выводы не оставляли (чаще всего — вполне невинно и аполитично) камня на камне от надежд на оптимизацию созданной коммунистами Системы. Причем обоснование это носит и качественный, и структурный, и количественный характер. Возьмите что ни на есть легальные естественнонаучные работы хрущевской

эры и времен вполне распоясавшегося «застоя» (называю лишь те, что в данный момент у меня под рукой): статьи П.К.Анохина и Н.А.Бернштейна в сб. «Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии» (М., Изд. АН СССР, 1963); И.И. Шмальгаузен. Кибернетические вопросы биологии (Новосибирск, «Наука», 1968); Ю.М.Васильев, И.М.Гельфанд, Ш.А.Губерман, М.В. Шик. Взаимодействие в биологических системах («Природа», 1969, №6). Это работы, выполненные в СССР, а сколько издано было в те годы переводных (издательствами «Прогресс», «Наука», «Мир» и др.), начиная с Н.Винера, У.Р.Эшби, К.Шеннона, С.Бира и др., отнюдь не одних биологов! О Самиздате я и не говорю. Ученые внутри СССР, на самом-то деле, не отставали от своих свободных коллег в понимании принципов саморегуляции «больших систем». С начала 1930-х гг. они, как правило, не переводили своих наблюдений и выводов на языки гуманитарных (социально-экономических) дисциплин, как это сделали их западные коллеги уже в конце 1940-х гг.

Потребности техники, в первую очередь военной, и сельского хозяйства после смерти Сталина заставили советских «научковедов в штатском» скрепя сердце реабилитировать кибернетику и генетику. Повторяю: их вынудил к этому технико-экономический прагматизм. Вспомним, что атака асов марксистско-ленинской уголовщины против «идеализма» в физике была предотвращена Курчатовым и др. лишь потому, что они решились предъявить Сталину ультиматум: будет «дискуссия» — не будет бомбы. Без атомной бомбы Сталин обойтись не мог. Кибернетика (без употребления этого термина) эксплуатировалась в ряде случаев в технике еще при нем.

Но если в технике и в сельском хозяйстве конкретные приложения кибернетики и генетики могли, казалось бы, стать Системе полезными, то основополагающие выводы этих наук в их приложении к обществу доказывали, что Систему улучшить ничто не может — кроме ее отказа от собственной сущности. Сверхсложная динамическая система не может удовлетворительно управляться посредством предписанных извне («свыше») правил — таков приговор, вынесенный Системе наукой. Поэтому коммунистическая партократия по сей день так и не легализовала бескомпромиссной экстраполяции системологических выводов естест-

венных и точных наук на общество и, в частности, на его хозяйство. Образец фальсифицированной и потому легальной экстраполяции такого рода представляет собой статья Н.Моисеева «Зачем дорога, если она не ведет к храму?» (в сборнике «Иного не дано»).

Вспомним, что К.Черненко на июньском (1983 года) пленуме ЦК КПСС бездоказательно возражал против «перенесения понятий и методов естественных и технических наук на область общественных явлений». Замечу, что к тому времени это перенесение (с необходимыми коррективами и оговорками) и в Самиздате, и в Тамиздате, и в эмигрантской научно-философской литературе, и на Западе аргументировалось вполне убедительно. Полемикой по существу проблемы советский официоз и его наука себя не затрудняли и не затрудняют: их проигрыш в этой полемике предопределен. Поэтому у них на вооружении — террор, замалчивание и фальсификация (в различных для разных времен соотношениях). До тех пор, пока будут себя сохранять и защищать неработоспособная во всем, кроме насилия и лжи, Система и мертвая, но все еще агрессивная идеология, это неизбежно.

У специфических функций Системы есть человеческая субстанция, миллионы платных носителей. Они на добровольную социальную самоликвидацию идти не хотят, и это естественно. Поэтому все, что Система способна выжать из общества и природы, она бросает на свое самосохранение и экспансию. В конце концов она исчерпает эти резервы, выродится и рухнет, но не исключено, что примерно так же, как гибнет злокачественная опухоль, пронизавшая весь организм своими метастазами и его убившая. Если организм хочет жить, он должен избавить себя от опухоли прежде такого исхода.

Писатель волен рассматривать их борьбу в категориях вечного сражения между Добром и Злом. Но картина не может быть достоверной и убедительной без воссоздания особенностей (если хотите — масок) этой борьбы для данного сюжета, для данной эпохи, тем более — для эпохи с таким размахом лжи и насилия. Можно с равным пафосом, убежденностью и даже впечатляющими примерами в руках утверждать, что Зло реализуется на этот раз в национально-психологической или национально-исторической неполноценности русского народа; или во всемирном жидо-ма-

сонском заговоре; или в нравственных уродствах Сталина и даже Ленина; или в неправильном понимании истинного социализма. Можно сколько угодно потрясать по всем этим поводам вырванными из мирового исторического контекста фактами и цитатами. Можно, как это делает Дудинцев, не конкретизировать исторически и системно Добра и Зла, представляя их в качестве категорий сугубо личных. Любая из этих концепций при мало-мальской добросовестности подхода куда убедительней опровергается, чем защищается (что, правда, не убивает мифов: их питает не логика).

Не удастся убедительно опровергнуть лишь одну точку зрения: что Зло столь масштабно задействовано и вооружено на этот раз всечеловеческой, древней, имеющей разные фразеологии Иллюзией. Эта Иллюзия утверждает, что *необходимо и можно сознательно, радикально, оперативно, любыми средствами* построить разумное, беспроblemное, безбедное общество. Для этого надо прежде всего истребить врага, снести с лица Земли все неправильное, несправедливое, подчинить несознательных воле сознательных, «а затем» возвести правильный новый мир. Правильность может трактоваться по-разному, это неважно. Важно разрушить, уничтожить и возвести, «а затем» — возглавить и направлять (исключительно по разумению возглавляющих). И это она, Иллюзия, сперва из наилучших намерений строит ловушки для разделивших ее в решающий час людей, «а затем», не имея возможности в рамках принятых ею догм мобилизовать человеческие достоинства, эксплуатирует и развивает до ужаса человеческие пороки. Надеюсь, читатель помнит: «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...».

Ко всем этим выводам можно прийти (и попавшие в ловушку миллионы приходят) эмпирически. Но теория больших систем объясняет принципиальную порочность Системы-ловушки обобщенно, неотклонимо, бесстрастно. Поэтому взаимное противоборство между Системой и этой теорией непреходяще.

Значит ли это, что писатель, воссоздающий один из сюжетов великой драмы, должен коснуться всего того, что представляется критикам ее истоками? Писатель вообще ничего никому не должен. Он говорит о том, что его занимает, о чем хочет, и никакая регламентация со стороны

здесь неуместна. Но и у читателя есть свои права. Во-первых, Дудинцев размышляет в «Белых одеждах» об этих истоках, и читатель не может не оценивать предлагаемых ему концепций. Во-вторых, главное, на что вправе претендовать человек в собеседнике, — это искренность. Иначе — к чему беседа? На мой взгляд, второй роман Дудинцева настолько слабее первого уже по одной той причине, что искренний самообман может создавать талантливые произведения, а ложь — не может. В первом романе Дудинцев был искренним, был зорким, хотя и не свободным еще, по всей вероятности, от эпохальных иллюзий, — во втором он *заставляет себя* не видеть правды. Слишком часто он в этой книге *сочиняет* (в дурном смысле слова). Приведу один из наиболее ярких примеров такого сочинительства.

«Белые одежды» заключены растянутой, скучной, муляжеподобной идиллией, организующим центром которой является миска со сверкающей стригалевской картошкой. Сорт выведен и вручен народу (как в свое время машина Лопаткина и светильник героя «Новогодней сказки»). Победило Добро. Его победу поклонники «Белых одежд» видят уже в самом факте легального выхода романа в свет. Но ведь для советского человека победа погибшего в лагере Стригалева так и не состоялась: на столах соотечественников ученого-подвижника, ученого-мученика *нет* волшебной картошки! Не так давно в советской печати мелькнуло письмо из Евпатории: талоны на сахар перестали отovarивать. Килограмм сахара заменяют десятью килограммами картофеля, из которых четыре кило — гнилье. Цена на картофель повышена с 12 до 24 копеек за килограмм. Между тем, Советский Союз производит в 5-6 раз больше картофеля, чем США, а на стол потребителя поставляет в два с половиной раза меньше, хотя в СССР картофель — куда более популярный продукт питания, чем в Америке. В другой газетной корреспонденции (из русской деревни) пишут, что талоны на сахар выдаются жителям только после продажи ими определенных количеств картофеля, выращенного на приусадебных участках, государственным заготовителям *по заниженным ценам*. А у сельчан этого картофеля и без того не хватает: для себя, для поросенка, для продажи на рынке, чтобы купить самое необходимое — одежду, обувь. В крохотном воюющем (поливном) Израиле, где картофель и апельсины идут по одной цене, и того и дру-

гого — хоть завались, причем по дешевке. Финал романа «Белые одежды» лжет.

Ни картофель Стригалева, ни машина Лопаткина, ни светильник «бандита» из «Новогодней сказки» не приостановили катастрофического скольжения советской экономики в пропасть. Если это могло быть не ясно Дудинцеву в 1956 году и даже в 1965-м, то сегодня — ясно. Система продолжает перемалывать дарования в порошок и развеивать их по ветру. Нынешнее состояние советской науки, по оценкам ряда ее представителей (в том числе и в советской печати), являет собой картину такого упадка, что ее оперативную реанимацию трудно себе представить. Все это — результат не только более чем семидесятилетнего насилия над мыслью, честью и совестью, но и следствие противоестественности Системы, неработоспособной даже при наилучших намерениях всего ее «человеческого фактора». Все реформы, сохраняющие монопартократию и государственную собственность на средства производства, в том числе и в науке, остаются инъекциями лекарственных средств в деревянную ногу. Держится на плаву только производство вооружения. Это шкурная потребность Системы, и на этом сосредоточены ее усилия.

* * *

Закономерен вопрос: имеет ли смысл столь пространно рассуждать о романе, с точки зрения автора статьи, неудачном, слабом? Думается, что в данном случае имеет. Прежде всего роман в определенном смысле слова все-таки значителен: как феномен писательской судьбы самого Дудинцева, в «оттепельной» литературе второй половины 1950-х гг. занявшего одно из ключевых мест. Кроме того, и роман Дудинцева, и реакция на него отечественной аудиторией, в том числе расположенных к нему критиков, крайне симптоматичны для «оттепели» второй половины 1980-х и уже потому интересны.

Страшная слабость большинства популярных представителей легализованной либеральной полуоппозиции в СССР состоит в том, что последняя, чтобы не потерять возможности говорить правду массовому читателю, хотя бы по существенным конкретным поводам, *вынуждена* демонстрировать свою верность фетишам Системы: Ленину, социализму, руководящей роли партии. Эти «знаки», чтобы слу-

жить пропуском в Госиздат, окрашиваются в ее словаре положительно. Об исключениях я здесь не говорю. Но в массе своей она скороговоркой вставляет время от времени в свои тексты все эти «Сезам, отворись». И, дабы не потерять самоуважения, убеждает себя, что делает это искренне.

В неподцензурную печать, повторю, уходить не хочется, и отнюдь не только из страха: жаль терять массовую отечественную аудиторию, что вполне понятно. Развернуть в Госиздате хорошо аргументированную систему воззрений, альтернативных официальным (без всяких камуфляжных приемов), крайне трудно, если не невозможно. В этом — одна из причин того, что многие писатели второй «оттепели», подобно Дудинцеву, стараются видеть лишь чисто нравственные, изолированно нравственные корни явлений. Тем более, что вульгарная и бесчеловечная политизированность «соцреализма» отвратила их от социальных аспектов любых сюжетов.

Эти установки: *только на нравственные, только на национальные, только на духовные, только на религиозные корни* — являются в значительной степени реактивными. Это далеко не всегда глубинный процесс хорошо продуманного, осознанного обретения новых или возрождения утраченных ценностей. Это еще и стремительное эмоциональное отталкивание от принудительных советских канонов: от всеобязательного вульгарного социологизма, от деспотического и лживого «интернационализма», от разрушительной бездуховности господствующей идеологии, от агрессивного атеизма. Для подобной реакции отталкивания характерны впадения в противоположные крайности. Среди них — и упорная тенденция игнорировать социально-историческую основу явлений, их идеологический генезис. В эту крайность советские писатели и публицисты впадают особенно часто — тем более, что она не слишком пугает цензуру. Из двух зол Система поощряет для себя меньшее: лучше уж нравственные обличения, чем убийственный для нее анализ, да еще содержащий какие-то работоспособные альтернативы — ей, Системе.

В ряду оживающих ценностей одно из первых мест принадлежит религии. Дудинцев не случайно взял эпиграф к своей второй книге из Священного Писания (впрочем, и у первой название из того же источника). Но религия, как бы ни была велика ее роль, не может быть единственной

исчерпывающей альтернативой советской идеологии для сотен миллионов людей. Им нужна не только четкая нравственная основа и опора — им необходимо еще и *понимание* происшедшего, происходящего и наиболее вероятных его перспектив. Страшная картина, возникающая в конкретных разоблачениях, выбивает у людей остатки тверди из-под ног, а то, что разоблачители, как правило, все еще повторяют время от времени как заклинание, в унисон с властью, партийные штампы, порождает в читателях и слушателях вместо надежды — цинизм.

Уныние и беспросветность буквально переполняют советскую прозу благословенных времен «перестройки». Недавно один американский славист назвал нашумевшую, но весьма слабую книгу Чингиза Айтматова «Плаха» галиматейей. Вспомним: Чингиз Айтматов — автор нескольких хороших книг, напечатанных в, казалось бы, куда худшие времена, чем нынешние. Но какое отчаяние пронизывает именно эту его, «перестроечных» времен, книгу, особенно ее последнюю (лучшую) часть, какой мрак, какое чувство отсутствия будущего, несмотря на неуклюжие поиски Бога! Может быть, из-за этих поисков отечественный читатель и простил Айтматову его неожиданную профессиональную беспомощность. Ведь читатель этот в массе своей философски и богословски так же неграмотен, как Айтматов.

Между тем, в обществе безысходность и озлобление нарастают еще быстрее, чем в литературе, и грозят вылиться (уже выливаются) на ближайшего указанного мифом (идеологии уже не верят) «врага». И вылиться не только словесно. И если во времена первой «оттепели» честная картина реальности сама по себе имела ценность открытия и потому обнадеживала (даже при беспомощности авторских комментариев к ней), то сегодня эта картина самоочевидна для всех. Неотложной жизненной необходимостью становятся ее истолкование и четко сформулированные альтернативы. Если Госиздат не предоставит пишущим печатного поля для честных, без скидок, размышлений над прошлым, настоящим и будущим, то либеральной полуоппозиции второй «оттепели», так же, как в свое время демократической полуоппозиции первой «оттепели», придется делиться на ряд потоков и в какой-то части своей согласиться на ложь, в остальной же — устремиться в печать свободную, в «неформалы».

Подобно массе своих коллег, Дудинцев пребывает сегодня в межеумочной позиции совмещения несовместимого. «Перестройка: гласность — демократия — социализм. ИНОГО НЕ ДАНО!» — пытаются они внушить себе и другим. Авторы сборника, полное заглавие которого мы привели, не хотят видеть, что одно из понятий в их триаде не умещается: либо демократия — либо социализм. Дудинцев тоже не хочет или не смеет этого видеть.

В «Белых одеждах» трагедия располагается в прошлом. Отсюда удобопечатаемость романа для Госиздата времен «перестройки» и государственная премия за 1988 год. В действительности же трагедия длится, и неизвестно, не впереди ли ее кульминация. Дудинцев от этой мысли уходит. И это тоже типичная для литераторов-либералов второй «оттепели» траектория.

Самиздат, Тамиздат, литературы диаспоры народов СССР возникли не из диверсионных наклонностей их авторов, а из потребности говорить правду, невозможную в Госиздате. Это обстоятельство продолжает действовать. Сегодня альтернативное Госиздату самовыражение не смертельно опасно. Что будет завтра, никто не знает. Может быть, оно станет опаснее, чем было вчера. Но принятие писателем в качестве основного ключа к человеческому поведению личного нравственного императива, казалось бы, исключает неискренность с его стороны. А в «Белых одеждах» есть либо неискренность, либо поразительная слепота. Правда, Дудинцев, кроме приоритета нравственного императива, постулирует (не впервые) еще и правомерность «обмана обмана» во имя конечного торжества правды. Но как же совместить тайное и явное служение правде с безответственным конструированием «хеппи-энда» в эпохальной трагедии, напряжение которой растет? Этим недоуменным вопросом мы и закончим свои размышления вокруг «Белых одежд» Владимира Дудинцева.

Июнь 1989

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Ян Тесарж

ОТСЕЧЬ «ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ»

(Из чешского опыта 1969 года)

Возможно, в момент, когда в России снова пробудилось подлинное рабочее движение, нашим русским друзьям пригодится опыт свободных профсоюзов в Чехословакии в 1969 году. В других странах империи этот опыт остался неизвестным, но именно он явился одной из первых попыток организовать народное сопротивление против коммунистической диктатуры. Позднее в Польше рабочее сопротивление нашло другие, более зрелые формы — тем не менее, стоит знать и этот ранний опыт. Мне кажется, современному русскому рабочему движению не достаёт анализа такого опыта, почему я и осмеливаюсь вмешаться в русские дискуссии. Я был активистом (рядовым, не ведущим) чехословацких свободных профсоюзов, и этим определяется мой долг обратить внимание на их опыт. Этим же определяется как компетентность, так и ограниченность моей точки зрения.

Структуры независимых профсоюзов, какими они сформировались в Чехословакии в 1968-1969 гг., вырастали в эпоху, которую сегодня, в рамках всей советской империи, можно назвать эпохой до «Солидарности» и до КОРа*. Эта эпоха повсюду в империи отличалась живой памятью о немедленных жестоких расправах с малейшими проявлениями общественного объединения, и с этим была связана психологическая блокада: общественную (отнюдь не глубоко конспиративную) организацию, независимую от сталинской системы «пригодных ремней», мы тогда были не в силах даже представить себе.

Владимир Буковский в своих воспоминаниях впечатляюще описывает, как его взгляды на возможность успеш-

* КОР — созданный в 1976 году представителями польской интеллигенции Комитет защиты рабочих. — *Пер.*

ной работы против режима формировались под влиянием критики последствий подпольной деятельности. Это было примерно в то же время, когда мы создали свои Координационные комитеты профсоюзов. Русский диссидент встал затем на путь индивидуального сопротивления, т.е. прежде всего борьбы за свободу совести и слова. Пожалуй, по прошествии времени можно сказать, что путь диссидентства в совершенстве укладывается в русские традиции — точно так же, как и русское антикоммунистическое подполье. Продолжая, можно сказать, что КОР в 1976 году естественно соотнесся с вековой польской традицией «независимого общества». И прибавить, что сопротивление в Чехословакии в 70—80-е годы избрало русский путь — удивительный парадокс движения, которому антирусские настроения не совсем чужды; чертой собственно чешских традиций в сопротивлении является его ограниченность по преимуществу литературной сферой, многолетний отказ от всякой «политики». Тогда, в 1969 году, этот далекий путь еще не был виден. И русское диссидентство было явлением предстоящих лет — или, по крайней мере, мы в странах-сателлитах почти ничего о нем не знали.

В период дубчековской «перестройки» весной 1968 года (т.е. до советского вторжения) в Чехословакии возникло несколько независимых организаций. Это были, в первую очередь, знаменитые политические клубы, чьи названия потом трепала брежневская пропаганда, чтобы оправдать вторжение: Клуб ангажированных беспартийных (КАН), объединение политзаключенных готвальдовского режима К-231 и др. Ошибочно ставить их на уровне сегодняшних русских неформалов. Эти организации (со структурами чаще всего весьма свободными, импровизированными) функционировали, опираясь на старый, еще австро-венгерских времен, закон, который коммунисты забыли отменить; но никто не управлял и не мог управлять по этому закону, поскольку он противоречил элементарному принципу «ведущей роли партии». Старинный закон об объединениях гласил, что учреждаемый общественный союз обязан создать «подготовительный комитет», который составит проект устава и направит его в министерство внутренних дел; пока министерство не утвердит устав или, наоборот, не откажет в регистрации, подготовительный комитет имеет право действовать и созывать собрания. В период «Пражской

весны» все пользовались этим старым благодеянием: формировались подготовительные комитеты новых объединений, а дубчековцы не утверждали их, но и не запрещали, не желая провоцировать народ и глупо надеясь, что не провоцируют и Брежнева. Этот принцип лег и в основу возрождающейся социал-демократической партии. Это была, разумеется, *игра* в легальность. Но за нею очевидно и признание легальности *режима*: в момент своего кризиса, неспособный к успешным репрессиям, режим получает заверение, что граждане ставят свою деятельность в зависимость от его согласия. До понятия независимого гражданина еще далеко — так далеко, как до КОРа.

Игра в легальность *d'autrefois*, разумеется, кончилась с «вводом войск»: новый министр внутренних дел решительно отказал в регистрации всем подготовительным комитетам. Независимые объединения, возникшие в эпоху «Весны», оказались перед известной дилеммой: либо прекратить свою деятельность, либо уйти в подполье. Ничего третьего мы были не в состоянии представить — и не только мы, но, очевидно, и режим. Именно это было характерной чертой эпохи. Все возникшие перед тем независимые организации самораспустились, притом отнюдь не формально: они прекратили свою деятельность.

Но наряду с этими независимыми организациями, новосозданными в эпоху «Весны», были и куда более многочисленные вполне *легальные* организации, существовавшие в рамках режима: сталинские «приводные ремни», которые в период распада партии при Дубчеке лишились своего «мотора». Все эти разнообразнейшие организации, от дозволенных т.н. политических партий до некоторых Церквей, переживали в эпоху «Весны» кризис доверия: они расплачивались не только за свое послушание партии, но и за то, что реформы, когда до них наконец дошло, родились не в этих кругах и не при их поддержке, но опять-таки по инициативе коммунистической партии. Каждый задавался вопросом: какой смысл имеют эти организации, когда в самой партии, центре власти, вводится плюрализм и идет демократизация, притом быстрее, чем в ее «приводных ремнях». Поэтому все такие организации до августа 68-го были в упадке.

Однако вторжение драматически изменило ситуацию. Некоторые «приводные ремни» ожили — таков был пара-

докс советского вторжения. Здесь я должен мимоходом указать на распространенный миф о якобы стихийном всенародном сопротивлении в течение первой недели вторжения. Не стану пускаться в долгие рассуждения — хватит, вероятно, иронического замечания: вообразимо ли, чтобы в течение двух-трех дней в оккупированной стране была стихийно создана общегосударственная сеть радиовещания, опирающаяся на армейские радиостанции и чтобы эта чудом возникшая «стихийная» сеть придерживалась одной-единственной идеологической концепции и, более того, одной политической тактики?! Гражданское сопротивление чехов и словаков, продолжавшееся неделю после начала советского вторжения, было стихийным только в том смысле, что решение о нем не было принято единственным в коммунизме уполномоченным на то органом — политбюро, а было делом коммунистов низших уровней иерархии, и в этом состояла его сила и слабость. Сила — в том, что те, кто организовал гражданское сопротивление, держали в руках все нити управления обществом, которое за короткое время «Весны» не сумело самостоятельно организовать, — они стояли за спиной товарища Дубчека в его секретариате; а слабость — в том, что, когда они дали сигнал к отступлению, под влиянием как капитуляции Дубчека, так и фундаментальной идеи об *общих интересах* всего коммунизма, все якобы стихийное сопротивление большей частью замерло. Но об этом я говорю всего лишь мимоходом, чтобы читатель понял внезапное оживление «приводных ремней» в дни августовского общенародного бойкота оккупанта. Легальные структуры «массовых организаций», в глазах людей давно и полностью скомпрометированные, в августе вдруг стали серьезной основой *организованного* гражданского сопротивления и бойкота оккупанта, а поскольку этим они вышли навстречу всеобщим чаяниям, через неделю после вторжения на их почве вдруг возродилась активность народа.

Потом, осенью 1968 года, начал становиться очевидным размах капитуляции и смысл провозглашенной политики «консолидации». Народ стал терять доверие к вождям, из которых советский способ обращения с ними сделал национальных героев, а среди коммунистов наступила новая дифференциация. Недавно еще запуганные сталинисты подняли голову, поняли, что победа в любом случае на

их стороне. У тех, кто перед тем не знал, по отношению к кому быть лояльным — к Дубчеку или Москве, в момент капитуляции дубчековцев все сомнения отпали; это было то подавляющее большинство всевозможных аппаратчиков, которые составляют главную социальную силу любой коммунистической системы. Этот социальный слой пришел к выводу, что в Чехословакии (в отличие от Венгрии 1956 года) партия не рухнула, не нуждается в построении заново и после августа снова стала инструментом постепенного, расчетливого порабощения всего общества. (Первый этап «консолидации» проводили сверху донизу те же органы, в большинстве случаев в том же персональном составе, которые проводили перед тем дубчековскую политику — а раньше додубчековскую.) А дубчековский лагерь в результате августовских событий и еще больше в результате послеавгустовских, всё новых и новых уступок Дубчека, резко разделился: самые последовательные из входивших в него встали на путь хождения по мукам, от разрыва с матерью-партией до отождествления с собственным народом. Они начали с резких возражений против капитуляции Дубчека — к сожалению, лишь *ex post*, когда уже было поздно; но не это — тема моей статьи. Речь идет о том, что для запоздалого протеста против капитуляции и ее продолжения — политики «консолидации» — они использовали *легальные* структуры: приводные ремни сталинской системы, зависимость которых от партии вследствие предшествовавшего кризиса ослабла. Притом они принесли сюда свой организационный опыт и закалку, которыми в рамках коммунистического режима только они и располагали.

В таких обстоятельствах происходила наша попытка организовать свободные профсоюзы в Чехословакии. Она происходила *после* августа 68-го и не является составной частью «Пражской весны». Ее вызвал протест против лакейства Дубчека по отношению к СССР в момент вторжения и после него, мотивированный как национальной гордостью, так и сопротивлением против возрождения неосталинской диктатуры. Состояла эта попытка в использовании *легальных* структур официальных профсоюзов, их первичных организаций, в отсечении их от *всех* высших профсоюзных органов (т.е. как от формально выбранных функционеров областного и более высокого уровня, так и от всякого штатного аппарата), в свободной федерации от-

дельных первичных профсоюзных организаций и, наконец, в свободных, совершенно независимых от режима и направленных против него выборах новых руководящих органов, которые мы называли *координационными комитетами*.

Если брать более широко, то эта практика ориентировалась на одну идею, которая возникла тогда как естественная реакция многих независимо мыслящих людей в нашей стране. Правда, большинство чехословацкой интеллигенции в своем мышлении было в плену надежд на Дубчека, миф которого, в конечном счете, она же перед тем и создала. Но люди, духовно независимые, искали альтернативу. Социальная действительность нашей страны весной 1969 года была ясна: решительное несогласие с капитуляцией и желание *активно* повлиять на судьбы страны только тогда стали широко распространяться. Первичные организации, особенно профсоюзные, тем решительней выступали против капитуляции, чем сильнее было давление сверху, требования отмежеваться от антисоветских заявлений августовской недели. Эта действительность заставляла свободно мыслящих людей искать формы, в которых мнение граждан могло бы проявляться и реализоваться. Перед нами были простые люди, которые только теперь политически пробуждались как свободные граждане, и эти люди приходили, просили совета, как им успешней выразить свою волю, как защитить свою родину от капитулянтов, а себя — от возврата сталинизма. Русский путь индивидуального диссидентства в то время никого не удовлетворил бы. Это стало предпосылкой появления т.н. *горизонтальных структур*. Эмансипация первичных организаций официальных профсоюзов и затем создание их координационных комитетов были сравнительно самым успешным осуществлением этой идеи.

Вначале пришло понимание взаимной солидарности отдельных первичных организаций для защиты от давления сверху. Оно родилось во время студенческих забастовок протеста против уступок Дубчека в ноябре 1968 года. Тогдашний устав профсоюзов допускал «горизонтальные контакты» между первичными организациями разных отраслей или областей — видимо, зодчим тоталитарной структуры и в голову не приходило, какая опасность для власти в этом скрывается. Отдельные первичные организации, осо-

бенно активно сопротивлявшиеся «консолидации», во время ноябрьских протестов узнали друг друга и начали заключать письменные, обычно двусторонние соглашения, где обязывались проводить постоянные взаимные консультации своих комитетов в интересах «защиты послеянварской политики»*, как тогда всё еще говорили, хотя на самом деле речь шла о защите от «консолидации», проведение которой вплоть до апреля 1969 года возглавлял Дубчек. Партнеры по соглашению договаривались о сотрудничестве в разных формах (например, при использовании своих домов отдыха и просветительских учреждений) и о взаимопомощи вплоть до забастовок солидарности. Соглашения такого рода заключались вне зависимости от принадлежности данных организаций к институциональной структуре профсоюза, т.е. поверх отраслевого и административного деления. Иногда прямо в соглашении содержалось обязательство, что партнеры будут дальше расширять возникающую цепочку. Консультации между комитетами со временем заменились собраниями председателей, происходившими все более регулярно. Началась «цепная реакция», которая привела к структурированию: совещания председателей превратились в «координационные комитеты» в отдельных районах Праги, потом в Пражский городской комитет, зарождался и общенациональный чешский. Хотя, в принципе, на высший уровень предполагалось делегировать представителей актива низшего местного уровня, но вся структура была неформальной и уже не успела формализоваться. Объединившись, первичные организации со временем отказывались подчиняться органам официальных профсоюзов (РПД — Революционное профсоюзное движение), переставали переводить им членские взносы и отрезали их от профсоюзных масс. Взносы, однако, по-прежнему собирались и служили новой, независимой деятельности первичной организации. Как только в той или иной области или отрасли возникал координационный комитет, он сразу волей-неволей вступал в политическую борьбу с соответствующим облсовпрофом (ответственной единицей тотали-

* «Послеянварской политикой» называли тогда линию партии после январского пленума ЦК КПЧ 1968 г., где Александр Дубчек был избран генеральным секретарем вместо Антонина Новотного. — *Пер.*

тарной профсоюзной бюрократии) и стремился перетянуть как можно больше первичных организаций в области на свою сторону. Так обстояло дело и в Праге, а наш арест и разгром организации наступили на стадии борьбы с Чешским советом профсоюзов, т.е. центром тоталитарных профсоюзов в Чешской Республике. Разумеется, не все организации одинаково решительно отстаивали независимые позиции, и, разумеется, не было никаких обязательных организационных правил.

Что касается меня, то я не участвовал ни в возникновении этой оригинальной идеи, ни в первой стадии ее осуществления. (Я был бы рад, если бы сложилось иначе.) Участником этого движения я стал только весной 1969 года по инициативе инженера Рудольфа Баттека (ведущего деятеля тогда уже запрещенного КАНа). Баттек был председателем профсоюзной организации в Институте социологии Чехословацкой АН, где он тогда работал. Баттек познакомил меня с организационным принципом возникающих структур, и я сразу оценил и принял эту идею; я считал, что в данный момент это самый перспективный метод борьбы. Однако личное участие для меня не было легким, поскольку несколько лет назад я вышел из профсоюза. Кроме того, на своем тогдашнем рабочем месте, в Институте истории, я был новичком. (Я бежал туда после советского вторжения из Мемориала сопротивления, подчинявшегося армии: уже шла первая чистка, которую Дубчек в августе обещал в Кремле, а меня советский генерал Болтин публично назвал «главой антисоветской агентуры» среди чехословацких историков.) Вопреки этим затруднениям, идея Р.Баттека и, пожалуй, еще больше его личность настолько увлекли меня, что я — против навыков всей жизни — пришел к своим коллегам по Институту истории с предложением, что я вступлю в РПД, с тем чтобы потом они выбрали меня председателем институтской организации и поручили мне представлять их в возникающей структуре свободных профсоюзов. На созванном собрании мне достались эти желанные функции. С этого момента я участвовал в интенсивной организационной работе этой новой структуры рядом с Р.Баттеком и в самом тесном сотрудничестве с ним. Мы делили работу, заменяли друг друга или работали вместе. Мы вовлекали в возникающую свободную структуру новые первичные организации. Но оба мы были лишь двумя из

десятков столь же вовлеченных в эту работу чешских интеллигентов, и все мы действовали, ясно сознавая реальные цели политики партии, а значит, и наши перспективы. Мы не страдали иллюзиями.

Это не был пример типичного поведения интеллигенции как социальной группы или обычной деятельности чешской интеллектуальной оппозиции (тогдашней или позднейшей). Оппозиция тогда была под сильным влиянием коммунистов-реформистов эпохи «Пражской весны», и из ее рядов до нас доходили голоса о том, что наши пути расходятся. Знаком расхождения была наша работа в народной организации, притом независимо, не под руководством партии, будь то партия обновленная или «разобновленная».

Чего мы хотели достичь? На этот частый вопрос мы отвечали, как Катон Старший: полюбилось нам то, что *потерпело поражение!* Но у нас скорее действовало отвращение к тем, кто прежде поддерживал политику реформ в расчете на ее победу. Приход Гусака на пост генсека в апреле 1969 года открыл глаза этим «заблуждавшимся», и они быстро очистили поле. По существу, то дело, которое потерпело поражение, не было вполне нашим. Для нас речь шла о чем-то ином. Танки Брежнева были для нас горькой обидой, но не сами по себе. Насчет характера советского режима у нас не было иллюзий, потому-то август не стал для нас неожиданностью. В то же время мы сумели отличить русский народ от советской власти. (Жаль, что недостаток места не позволяет мне говорить подробней именно об этом.) У большинства из нас также не было иллюзий ни относительно Дубчека, ни относительно его обновленной партии, так что нам не приходилось огорчаться, что лакеи Советов ведут себя как лакеи. Зато невыносимо было ощущение, что именно за такое поведение их повсюду превозносят, возводят в ранг национальных героев, символов, *образцов поведения!* В этом мы видели огромную опасность для своего народа, для его будущего, для его нравственного облика. Эта опасность нас волновала. Мы испытывали настоящий долг по отношению к предкам и потомкам: распрямить искривление позвоночника своего народа — стать прямо, любой ценой. Мы верили, что не только бесовская капитуляция, но и наше сопротивление войдут в черты облика нации. Это была наша глубочайшая мотивировка, и только в ее рамках возникали разнообразные

соображения о том, что реально можно защитить, надолго ли и какие средства для этого будут наиболее успешными. Не знаю, можно ли назвать деятельность, ориентированную на такие критерии, политической и «рациональной». Так называемые реальные политики и многочисленные наши коллеги-ученые оплакивали наш нерациональный подход. Для нас, наоборот, смешно было смотреть, что они и в самом деле верят, будто танки уйдут и, более того, аппаратчики «будут с народом», как требовал лозунг тех времен.

Настоящим политиком среди нас был только Рудольф Баттек. В 1946 году в Чехословакии проходили единственные относительно свободные выборы за последние 50 лет. Р.Баттек, которого в терминах западноевропейской политики, вероятно, можно назвать «левым либералом», в выборах не участвовал в знак протеста против дискриминации правых партий. Никто из великих имен столь прославленной чехословацкой демократии: политиков и философов, коммунистов и демократов — не занял тогда подобных позиций. Тот же Баттек в эпоху «Весны» принял совершенно комедиантское «избрание» в депутаты Чешского национального совета от КАНа. Может быть, его ошибкой было участие в этой комедии — но он пошел на это, чтобы обеспечить КАНу возможность легальной деятельности. Возможность открытой деятельности антитоталитарной политической силы внутри тоталитарной системы — вопрос всей жизни Баттека как политика. Деятельность в координационных комитетах была для него, после учреждения КАНа, вторым опытом. Но в то время я скорее замечал, что бескомпромиссный характер и отважный темперамент перевешивают в действиях Баттека любое холодное рассуждение.

Среди стимулов, которые вызвали активность свободных профсоюзов, никакой роли не играли узко рабочие требования или социальный вопрос в более широком смысле. Эта констатация — не критика. Сама эпоха отодвигала такие вопросы на задний план. Еще и потому, что важным принципом политики «консолидации» (в течение нескольких лет после августа 68-го) было стремление подкупить все слои общества, в том числе рабочих. Свободные профсоюзы оказывали сопротивление этим, идущим сверху попыткам коррупции. С точки зрения участвующих в них рабочих, свободные профсоюзы были защитой *политических* прав и проявлением гражданского сознания и патриотиз-

ма чешских рабочих. И если интеллектуальная и партийная оппозиция весной 1969 года очищала поле, возмущение народа и особенно рабочих было тогда, пожалуй, сильнее всего — в частности, еще и потому, что отвергаемую ими политику уже не возглавлял обожаемый кумир.

В нашу организацию вошли крупнейшие предприятия Праги, в т.ч. завод ЧКД, Чешский холодильный завод в Либени, электротехнический завод «Тесла-Карлин», шинный завод и большинство институтов Академии наук, из которых самыми активными были микробиологи, физики и атомщики. Сотрудники этих институтов оказывали профсоюзам техническую помощь в разных формах, и в этом участвовали многие активисты, не только председатели профсоюзных организаций.

Летом стало ясно, что режим готовится к решительному разгрому всей оппозиции в связи с приближающейся первой годовщиной вторжения. Мы понимали, что идут гонки со временем: либо мы успеем раньше создать общенациональную сеть входящих в свободные профсоюзы предприятий, на которую могло бы опереться сопротивление тех, кто не ушел с поля, либо режим обгонит нас и сломит всё. Незадолго до августовской годовщины нам удалось включить в нашу сеть несколько первичных организаций стеклодувного завода в Кладно (под Прагой); это огромное предприятие значит для нас то же, что Путиловский завод для России. Кладненский стекольный завод, в свою очередь, вступил в переговоры с пльзенским заводом «Шкода», крупнейшим машиностроительным комбинатом страны, а люди из Кладно и Пльзена вместе сумели проникнуть в Оставу — бастион чешского сталинизма.

Но Гусак был еще быстрее. Он хорошо подготовился к августовской конфронтации. Три дня бурных демонстраций, в Праге, Брно и Либереце сопровождавшихся баррикадами и уличными боями, каких у нас не было со времен майского восстания 1945 года, были подавлены двумя «отечественными» танковыми дивизиями, милицией и вспомогательными «рабочими» отрядами. Дубчек на своем тогдашнем посту председателя Федерального Собрания объявил ради этого чрезвычайное законодательство, постановление о борьбе против контрреволюции. Победу в уличных боях, одержанную без участия советских войск, Гусак использовал для немедленного наступления на нашу, еще недоста-

точно окрепшую и не во всех ключевых местах закрепившуюся организацию. Комбинируя провокации, аресты, террор и дезинформацию, ему удалось ее разгромить.

Атака Гусака началась с вызова: одна из ключевых фигур нашей организации, председатель профкома на карлинском заводе «Тесла», была выброшена с работы. Все предприятия, входившие в организацию, были связаны соглашениями о солидарной акции протеста и ее единственной подходящей формой считали всеобщую забастовку. Тому, чтобы организация отреагировала именно так, действовал агент госбезопасности — но мы тогда не знали, что он у них на службе! Это был старый рабочий деятель времен еще до коммунистического путча 1948 года; после путча он, как социал-демократ, долгие годы сидел. Вероятно, в тюрьме-то его сломили и добились обещания сотрудничать, но оставляли в запас на будущее. В августе и октябре 1969 года, когда разыгрывалась эта битва, предатель Чехала как старый рабочий деятель и жертва сталинизма пользовался в своем окружении огромным авторитетом. В независимых профсоюзах он представлял одну из организаций Кладненского стеклодувного завода. Именно он пришел с идеей всеобщей забастовки. На собрании председателей я выступил решительно против. Я аргументировал это очевидной неготовностью организационной сети, тем, что все центры, кроме Праги и Кладно, ею не охвачены, так что всеобщая забастовка неизбежно окончится поражением, которого в настоящий момент мы не можем себе позволить. В качестве альтернативы я предложил массовый сбор подписей под петициями. Я исходил из представления, что бои, которые мы ведем, в любом случае являются оборонительными: нашей целью было затормозить консолидацию режима и выигранное время использовать так, чтобы никогда уже не повторилось то, что произошло после 1948 года, — прекращение непрерывности борьбы. Но из-за обструкции Чехалы собрание закончилось, не приняв никакого решения. Сразу после этого Баттек и я были арестованы и формально обвинены в подготовке петиции, хотя петиции, естественно, и чехословацкой конституцией разрешены. Баттека, вдобавок, защищала депутатская неприкосновенность. Парламентская комиссия по депутатскому иммунитету отказалась выдать его уголовному расследованию. Но эту проблему быстро решил Честмир Цисарж,

тогдашний (а потом нынешний) видный дубчековский «обновленец»: своей властью председателя Чешского национального совета он отменил решение комиссии и выдал Баттека.

Нашим арестом режим воспользовался для разгрома профсоюзов. Более пятидесяти профсоюзных активистов с крупных предприятий были вызваны или доставлены приводом в Рузинскую тюрьму. Там гебисты в соответствующей аранжировке сообщали им, что Баттеку и мне уже не помочь, нас ожидает самое худшее, и одновременно предлагали им легкий выход: высказаться в духе простых рабочих, сбитых нами с толку. К сожалению, этот выход отверг только один из пятидесяти — молодая девушка. Может быть, еще и потому, что она не могла помнить ужасы чешского сталинизма, которые затмили ум всех этих подлинных рабочих активистов. Никого из них не посадили. Однако, когда мы, отсидев 13 месяцев (тогда — без суда), вышли с Баттеком из тюрьмы, почти никого из них мы не застали на их прежних предприятиях.

Между тем, наступление на профсоюзы продолжалось. Госбезопасность продолжала использовать испытанные методы — ложь и провокации, иногда и нечаевщину. Работе свободных профсоюзов помогала подпольная троцкистская группа, лидером которой был Петр Уль. Его имени мы в то время не знали, и он сам, насколько мне известно, в независимых профсоюзах не работал. Однако с нами работали несколько людей, позднее осужденных за участие в группе Уля. Это были самоотверженные и бескомпромиссные работники. Баттек и я иногда предполагали, что они работают по договоренности со своей подпольной группой. Мы особенно ценили то, что у них не было никаких иллюзий ни по поводу режима, ни по поводу того, как поведут себя оставшиеся дубчековцы, если дело примет серьезный оборот, ни по поводу исхода нашей борьбы. Они считались с наихудшими перспективами и не отступали перед ними. Думаю, что практическая работа наших структур в то время без них была бы невозможна. Они заботились о распространении политических листовок и материалов, нужных для организационной работы, ездили в качестве курьеров и т.п. Но наши отношения не были идиллическими. Мне казалось, что в их отношении к свободному профсоюзному движению сквозит ленинская идея: использовать «легаль-

ные организации» для нелегальной работы. У меня было ощущение, что в наших профсоюзах эти ребята видят только «легальную платформу» для своей собственной партийной работы, и я видел в этом принципиальное непонимание роли свободных профсоюзов как таковых. Думаю, что и у Баттека было аналогичное ощущение, хотя в наших спорах он был менее резок.

Сегодня, через 20 лет, я вообще не настаиваю, что был прав. Не хочу делать себя судьей в наших спорах. Зато я готов, как говорится, «отвечать перед судом истории» — в том числе и за то, что возражал против всеобщей забастовки. Но наша проблема: и моя, и Баттека, и друзей Уля — не в том, что «история нас осудит» за наши действительные или мнимые ошибки; общая проблема всех тех, кто в 1969 году не очистил поля для Гусака, — в том, что никто нас «к суду истории» не зовет. Эта глава истории чехословацкой оппозиции должна остаться неизвестной, всякое упоминание о ней следует задуть, чтобы сохранить нетронутым «человеческое», демократическое лицо таких обновителей, как Дубчек или Цисарж, которые помогли раздавить профсоюзы в интересах гусаковской «консолидации».

После того, как меня и Баттека посадили, а председателей организаций на главных предприятиях этим запугали, гебисты перешли к удару по ядру подпольной троцкистской группы. Для этого они использовали предателя Чехалу, который проник в ее руководство. (Описывая эту часть истории, я опираюсь только на то, что было констатировано позднее на процессе в 1971 году: процесс был закрытый, и меня, присутствовавшего как доверенное лицо жены Уля, насильно вывели из зала суда в самом начале; я не могу судить, полностью ли выдумана госбезопасностью версия, предложенная суду, пытались ли подсудимые обмануть полицию и насколько им это удалось.) Чехала, по-видимому, по заданию ГБ завел на сходке троцкистской группы спор о том, надо или не надо убивать полицейских агентов, а потом, якобы потрясенный этим разговором, «поделился» своим моральным возмущением с госбезопасностью. Не могу судить, так ли действительно все это происходило, — пусть выскажутся участники событий. Твердо известно, что в тот момент и ради такой цели госбезопасность не колеблясь пошла на раскрытие своего агента. На основе этого в середине декабря 1969 года были арестованы 10-20 активистов

групп «Революционно-социалистическая партия» и «Движение революционной молодежи» — некоторые из них и после того, как арестовали нас с Баттеком, поддерживали сопротивление несдавшихся профсоюзных организаций и особенно активно участвовали в акциях солидарности с нами и арестованным на месяц раньше нас гроссмейстером Людеком Пахманом (с ним Баттек и я сотрудничали, но не в профсоюзных делах). Аресты троцкистов были, разумеется, использованы для устрашения людей на заводах, и можно задуматься, не было ли это главной целью волны арестов. Именно в этом состоит основа той формы «консолидации», которую проводил Гусак (вопреки некоторым традиционным сталинистам) и которую он сам характеризовал как политику «разгрома контрреволюции *политическими* средствами». В этом случае также было пущено в ход соответствующее *политическое* средство, чисто нечаевское, — провокация, организованная госбезопасностью.

Итак, наши усилия окончились неудачей. Созданные структуры были разгромлены еще быстрее, чем создавались. И, хуже того, наше поражение было полным — не удалось сохранить и то основное, что было целью наших оборонительных боев: непрерывность движения. Коммунистам снова удалось прервать его, и за это наш народ расплачивается тяжелым отставанием. Не удалось сохранить массовый народный характер оппозиции в нашей стране. И, если бы мне даже пришла в голову глупая мысль поучать русских друзей, результаты решительно не дают мне для этого оснований.

Тем не менее, я думаю, что ни наше поражение, ни наша неспособность или слабость ничего не говорят о той концепции, которая легла в основу нашего движения. Не подрывают ее. Мы потерпели поражение прежде всего потому, что освобождение граждан из-под власти партии, которая благодаря реформе и советскому вторжению обновила свой авторитет, началось слишком поздно. «Консолидация» имела возможность набрать разбег и выиграть время.

Наше тогдашнее движение развивалось, а затем было разгромлено в совершенно специфических имперских и чехословацких условиях, которые я описал, пожалуй, достаточно подробно. В этом смысле оно представляет собой неповторимый исторический опыт. К счастью, мы сейчас

живем не в эпоху до КОРа — мы живем после создания «Солидарности». И все-таки никто еще не ответил на основной вопрос: почему собственно нельзя высвободить основные элементы системы «приводных ремней», почему нельзя отсечь их от «мотора»? Никто же не может отрицать, что их руководство — выборное.

Никто также не может закрывать глаза на еще более важную проблему. Все мы знаем, что подлинной свободы мы можем добиться не путем реформирования коммунистического режима, но путем его уничтожения. Но каждый, кто обладает чувством ответственности, должен видеть и опасность социального хаоса, которая при этом грозит. Быть может, это отсечение основных элементов системы «приводных ремней» могло бы стать профилактикой от новой пугачевщины?

Перевела с чешского Н.Горбаневская

ЗАПАД — ВОСТОК

Пейшенс Т. Хантворт

ДЕЛО ИВАНА ДЕМЬЯНЮКА

Комментарий юриста

25 апреля 1988 года израильский суд приговорил Ивана Демьянюка, бывшего гражданина США, к смертной казни за убийство 900.000 евреев в печально известном нацистском лагере смерти Треблінка. Этот приговор, как казалось вначале, был успешным завершением 12-летних совместных усилий американских и израильских властей, с одной стороны, и юридических органов СССР (представление о которых я имею*) — с другой. Однако в течение 12 месяцев, прошедших со дня оглашения приговора Демьянюку, мировая совесть не могла успокоиться. Я, в свою очередь, движимая совестью и нравственным долгом юриста и американского гражданина**, не могла молчать. Следствием явился этот анализ дела Демьянюка.

* Автор была инициатором успешной международной кампании (1986-1988 гг.), призывавшей Ассоциацию американских адвокатов прекратить ее формальную связь с Ассоциацией советских юристов. Будучи якобы правовой организацией, АСЮ представляет собой неиссякаемый источник пропаганды и дезинформации.

** Профессиональный долг автора определен в «Правилах поведения члена Ассоциации американских адвокатов», одобренных штатом Аризона в феврале 1985 г. как «Правила поведения специалистов штата Аризона», ст. 17А «Исправленного устава штата Аризона» («Правила Аризоны»). В преамбуле к «Правилам Аризоны» говорится следующее: «Как гражданин общества, юрист должен улучшать законы, правосудие и качество услуг, оказываемых правовой профессией. Как образованный специалист, юрист должен способствовать распространению юридических знаний, не ограничиваясь обслуживанием клиентов, и применять эти знания для реформы законов... Юрист должен замечать недостатки в практике правосудия... Юрист должен стремиться... улучшать закон и правовую профессию...» «Правила Аризоны» далее устанавливают: «Юрист обязан оказывать правовые услуги обществу. Юрист может осуществлять этот долг путем... деятельности, направленной к улучшению закона, правовой системы или юридической профессии...».

История моего интереса к делу. Мое первое знакомство с делом Демьянюка имело место 3 июня 1987 г., когда я докладывала правлению коллегии адвокатов штата Аризона о соглашении между Американской ассоциацией юристов (АВА) и советскими адвокатами. Представитель АВА Вейман Ландквист прибыл по этому случаю из Сан-Франциско изложить позицию своего руководства. Касаясь «выгод» соглашения между АВА и советскими адвокатами, г-н Ландквист доложил, что он, Уильям Фалсграф (президент АВА), Менахем Бергер (президент юристов Израиля) и Александр Сухарев, глава Ассоциации советских юристов, в результате соглашения между АВА и АСЮ получили возможность доставить советские свидетельства по делу Демьянюка.

Мысль о том, что Александр Сухарев, советский пропагандист, антисионист и глава одиозной Ассоциации советских юристов, будет поставщиком «улик» в одном из наиболее сложных и тягчайших дел нашего столетия, вызывала беспокойство. Подумав, что слова Ландквиста следует передать защите Демьянюка, я так и сделала. После этого я заинтересовалась делом сама, преследуемая мыслью, что невинный человек может быть осужден за одно из тягчайших преступлений истории.

18 апреля 1988 г., когда Демьянюк был признан виновным, я ужаснулась при мысли, что какой-нибудь суд, не говоря об израильском суде, может вынести обвинительный приговор, не приняв во внимание, что защита получила возможность представить суду оправдательный материал, выданный семье Демьянюка в январе 1988 г. судом округа Колумбия на основании Акта о свободе информации*. (Когда израильский суд отклонил ходатайство о допросе новых свидетелей, что диктовалось поступившими в январе-феврале 1988 г. материалами, я пришла к выводу, что Демьянюка оправдают.)

25 апреля 1988 г. Демьянюку был вынесен смертный приговор. Среди широкой общественности преобладает мнение,

* Речь идет здесь о показаниях свидетелей, бывших узников Трелинки, не опознавших в Иване Демьянюке «Ивана Грозного». В выдаче этих показаний защите Демьянюка министерство юстиции США долгое время отказывало, ослабляя таким образом возможности защиты.

что смертный приговор допустим, когда совершение подсудимым ужасных преступлений бесспорно. Точно так же большинство людей не допускает возможности смертного приговора в делах, где существует большой риск ошибок как в фактах, так и в процедуре опознания. Поскольку я верю, что Демьянюк невиновен, я отношу его дело к той категории дел, где перед лицом осведомленного и здравомыслящего общественного мнения учитывается, что возможность ошибки может быть слишком велика, чтобы выносить смертный приговор. По причинам, изложенным ниже, я не нахожу в проведенном судебном разбирательстве оснований для вынесения смертного приговора.

В мае 1988 г. репортер газеты «Аризона рипаблик» попросил меня прокомментировать политику правительства США в отношении депортации бывших американских граждан в Советский Союз на смертную казнь (или ее эквивалент). Я опубликовала несколько статей, высказывая свое несогласие с такой политикой и пожелание, чтобы подозреваемые военные преступники были судимы в США со всеми юридическими гарантиями, принятыми в американском судопроизводстве*.

Между тем, мой коллега в области прав человека Уильям Уолф опубликовал несколько статей о деле Демьянюка. У.Уолф является вдохновенным образцом еврейской веры и нравственности для тысяч, даже миллионов людей, поскольку он безбоязненно пошел навстречу последствиям, которые могут принести еврею и сионисту его высказывания по вопросу осуждения Демьянюка.

В приложении к этой статье приводятся два отрывка из разговора Уильяма Уолфа с бывшим узником Треблинки Рихардом Глейзаром, откуда следует, что израильское официальное лицо, по-видимому, пыталось препятствовать контакту адвокатов Демьянюка с Р.Глейзаром.

Здесь следует отметить, что Бюро специальных расследований при министерстве юстиции США продолжает свою ничем не оправданную практику утаивания свидетельств, необходимых для полноценной защиты И.Демьянюка. Показания Рихарда Глейзара, Курта Франца, коменданта Треблинки, и Франца Сухомела, лагерного охранника, так

* См. Приложение №1.

и не были выданы из архивов БСР адвокатам И.Демьянюка, несмотря на все усилия семьи последнего. Эти показания содержат бесценный для защиты оправдательный материал.

Удостоверение личности из Травников*. Единственной весомой уликой, представленной обвинением на процессе Демьянюка, было удостоверение личности из Травников. Исходя из того, что мне известно об использовании дезинформации и сфабрикованных улик в советской юридической практике, я не могу исключить возможность подделки удостоверения советскими службами, дабы поддержать обвинение против Демьянюка, первоначально выдвинутое в известном пропагандистском издании «Вісті з України» в 1975 году. Тот факт, что, согласно удостоверению, Демьянюк служил в лагере Собибор, а не в Треблинке, объясняется тем, что «Вісті з України» первоначально объявили И.Демьянюка охранником в Собиборе, но это обвинение министерство юстиции США нашло недостаточно подтвержденным свидетельствами бывших узников.

Как признают теперь все стороны, подлинность удостоверения нельзя выводить из того, что эксперты обвинения не нашли следов подделки в элементах чернил и бумаги. Свидетельствами *всех* экспертов, обвинения и защиты, в отношении подписи Демьянюка установлено, что подпись либо подделана, либо невозможно установить, подделана она или подлинна.

Более того, в соответствии с советскими указаниями, экспертам защиты не было разрешено отделять снимок от удостоверения для экспертизы чернил и клея на обратной стороне фотографии, что могло бы окончательно установить, подделан документ или нет.

Вполне очевидно, что удостоверение не может считаться «неопровержимым» доказательством вины И.Демьянюка

* Травники — нацистский концентрационный лагерь в Польше, где проходили обучение охранники для службы в других лагерях, таких, как Треблинка и Собибор. Удостоверение личности, якобы выписанное в Травниках на имя Ивана Демьянюка, было доставлено американским и израильским властям советскими органами, как сообщают, через посредника — американского промышленника Арманда Хаммера.

ка. И приговор израильского суда по делу Демьянюка прямо указывает, что он полагается не на удостоверение личности, а на опознание свидетелей. Представитель центра Симона Визенталя Мартин Мендельсон заявил в своем выступлении по радио 19 апреля 1988 года в программе «Фронтлайн» (радиостанция WNTR), что и он полагается не на удостоверение из Травников, а исключительно на показания свидетелей.

(Помимо всего прочего, можно спросить, как удостоверение личности, которое охранник должен был носить при себе, оказалось в Советском Союзе.)

Меня заинтересовали обстоятельства, сопутствовавшие заявлению на перекрестном допросе судебного эксперта Уильяма Флина, свидетеля защиты, о том, что, будучи связан контрактом с Фондом защиты Демьянюка, он не может давать показания. Некоторые комментаторы полагают, что это заявление ставит под вопрос его свидетельство о том, что удостоверение из Травников — подделка. Причиной заявления Флина стало то обстоятельство, что после того, как израильский суд исключил большую часть предполагаемых показаний У.Флина в защиту подсудимого*, защитник Демьянюка принял решение отозвать У.Флина как свидетеля «в знак протеста», что разрешено по законам Израиля.

* Следует отметить, что на перекрестном допросе У.Флин не мог сказать чего-либо противоречащего себе, поскольку его записанное на пленку заявление на семинаре судебных экспертов, представленное ему на процессе израильской прокуратурой как якобы несовместимое, на самом деле *совместимо* с его показаниями в Израиле. Вот что заявил У.Флин на собрании судебных экспертов Юго-Востока (США) в октябре 1987 года: «Если бы я не изучал это [Хофмана] дело, документы Марка Хофмана, я был бы абсолютно уверен, что удостоверение личности из Травников является подлинным. Знание того, что я теперь знаю, несомненно, повлияло на мой подход к такого рода документам. Мы все хотели бы верить, что существуют готовые ключи к разгадкам, легко постижимые эксперту документов, но, как вы увидите, если некто имеет в своем распоряжении надлежащие чернила, надлежащую бумагу и может умело подделывать подписи, то имеет место стечение обстоятельств, выходящих за пределы этого [Хофмана] дела». Заявление это отнюдь не равнозначно заявлению, что удостоверение личности из Травников является подлинным.

Выполняя решение об отзыве свидетеля, Эдуард Нижник* в перерыве показаний У.Флина поставил последнего в известность, что свидетель подлежит суду в случае, если не подчинится распоряжению защитника и не прекратит дачу показаний. После этого У.Флин и сделал свое заявление в суде, которое стало предметом противоречивых комментариев.

Вышеизложенные обстоятельства и заявление свидетеля У.Флина явились следствием постановлений израильского суда, ограничивающего показания свидетелей. Эти обстоятельства ни в коей мере не опровергают мнения эксперта У.Флина в деле Демьянюка. (У.Флин — тот эксперт, который в 1975 году установил, что мормонское письмо «Белой Саламандры» подделано, после того как 12 экспертов с мировыми именами признали письмо подлинным.) В деле Демьянюка У.Флин заключил, что удостоверение личности из Травников — фальшивка. Это заключение совпадает с заключением д-ра Джулиуса Гранта, британского судебного эксперта документов, установившего поддельность «Дневников Гитлера». Д-р Грант показал на процессе Демьянюка, что в удостоверении личности из Травников с самой высокой степенью профессиональной уверенности обнаруживаются признаки подделки.

Мнение этих экспертов наряду с неспособностью обвинения установить подлинность подписи Демьянюка исключает возможность, что удостоверение личности из Травников может быть основанием для осуждения, тем более, основанием для вынесения не подлежащего апелляции смертного приговора.

Показания очевидцев. Израильский суд в своем приговоре утверждает, что экспериментальная наука о памяти и сознании недостаточно развита, чтобы измерить степень достоверности юридических процедур опознания надежными тестами памяти. В соответствии с этим суд исключил из материалов дела показания свидетеля защиты, эксперта по вопросам памяти и сознания, благоприятные для Демьянюка.

* Эдуард Нижник — зять И.Демьянюка и президент Фонда защиты Демьянюка.

Вопреки этому своему утверждению, израильский суд первой инстанции основывает в дальнейшем свой приговор на совершенно не доказанном и научно не проверенном тезисе, что, несмотря на длительное время, узники, пережившие Катастрофу, помнят лица своих мучителей, следовательно, свидетели на процессе Демьянюка не могли ошибиться, опознавая подсудимого. Однако этот тезис был опровергнут при опознании подозреваемого в военных преступлениях Франка Валюса: не менее одиннадцати узников, переживших Катастрофу, под присягой настаивали на опознании, которое в дальнейшем было признано полностью ошибочным, обвинение против Ф.Валюса снято, а он — реабилитирован.

Вызывает недоумение и тот факт, что вместо того, чтобы одобрить решение судьи Реттгера на процессе Федоренко об отсутствии правдоподобия в показаниях свидетелей, израильский суд в своем приговоре без должного фактического обоснования предположил наличие предубеждения со стороны судьи Реттгера.

Более того, по словам бывшего адвоката И.Демьянюка Джона Гилла, прокурорам на процессе разрешалось вступать в контакт со свидетелями в период между прямым и перекрестным допросом, вопреки правилам израильского суда, зато такой привилегией не пользовалась защита Демьянюка в отношении своих свидетелей.

Кроме того, задолго до процедуры опознания по фотографиям, предпринятой в Израиле, следователь прокуратуры опубликовал в одном или нескольких изданиях объявление:

Отдел расследования нацистских преступлений ведет следствие по делу украинцев Ивана Демьянюка и Федора Федоренко. Просьба к оставшимся в живых узникам лагерей смерти Собибор и Трелинка явиться в главное полицейское управление Израиля.

Таким образом, имена и национальная принадлежность лиц, подлежащих опознанию, стала известна свидетелям до начала процедуры. Вызывает беспокойство очевидная возможность того, что свидетели могли быть осведомлены о личности подозреваемого из публикации в прессе, а также то совпадение, что некоторые из этих свидетелей на процессе Федоренко были признаны не заслуживающими доверия и виновными в предосудительном, указывающем на сговор поведении.

К этим проблемам следует добавить недавно открывшийся факт, что израильское официальное лицо, связанное с обвинением, инструктировало бывшего узника Треблинки г-на Глейзара, рекомендуя ему не давать показаний защите. Это наводит на мысль, что другие бывшие узники, не опознавшие в Демьянюке «Ивана Грозного», тоже, возможно, подвергались аналогичному давлению, притом еще до процесса.

Вызывает недоумение также нежелание министерства юстиции США предоставить защите до окончания судебного производства в Израиле многочисленные находящиеся в его руках министерства показания бывших узников Треблинки, не опознавших подсудимого. В настоящее время достоверно известно, что 41 бывший узник Треблинки, которому показывали фото Демьянюка, не опознал в нем «Ивана Грозного» из Треблинки.

На еще более важные нарушения указывает недавно опубликованное заключение известного еврейско-датского физиолога проф. Виллема А.Вагенаара, который был свидетелем защиты Демьянюка в области психологии опознания очевидцами: из 42 правил опознания, установленных для обеспечения его достоверности, в деле Демьянюка 37 «были прямо или косвенно нарушены следственными органами». Вагенаар заключает: «Я не скажу, что следственное производство было фарсом, но для полного фарса оставалось нарушить всего лишь два-три правила» (Wagenaar. Identifying Ivan. — Harvester Wheatsheaf, London, 1988, p.145).

Принимая во внимание совокупность вышеперечисленных обстоятельств, заключение суда, что пять показаний очевидцев являются «неопровержимым свидетельством» вины, выглядит в высшей степени сомнительным. В действительности, более вероятно, что ни одна категория свидетельств обвинения: ни документальная, ни основанная на показаниях свидетелей — не обладает удовлетворительной силой убеждения.

Собибор. Проф. Алан Дершовиц* в своей рубрике предположил несуразную возможность осуждения Ивана Демья-

* Алан Дершовиц — профессор права Гарвардского университета, ведет в газете юридическую рубрику.

янюка за преступления, совершенные в Собиборе, — в которых подсудимый даже не был обвинен и за которые, тем более, не судим и не осужден. В этой связи следует заметить, что версия Собибора была первоначальной версией следствия по делу Демьянюка в министерстве юстиции США, но она была признана не имеющей достаточно обоснования. Мне трудно понять, как ученый-правовед может говорить, будучи в здравом рассудке, что он «подозревает» обвиняемого в совершении преступлений в Собиборе и что тот заслуживает пожизненного заключения. Еще в 1937 году Верховный суд США постановил, что прямым нарушением законности является осуждение подсудимого за действия, по которым ему не предъявлялось обвинения.

Заявления, подобные сделанному проф. Дершовицем, вводят в заблуждение общественность относительно допустимых правовых процедур и могут способствовать казни Ивана Демьянюка, которую, по словам профессора, он сам, как противник смертной казни, хочет предотвратить.

Триест. Несовместимые противоречия в ряде обвинений, выдвинутых против И. Демьянюка: что он служил в охране лагеря Собибор, что он «Иван Грозный» из Треблинки и что он Иван из Триеста, — недавно были освещены Гитой Сирени, журналисткой, специализирующейся на Катастрофе и Треблинке, в ее статье «Таинственная сила алиби», опубликованной 28 декабря 1988 г. в лондонской газете «Индепендент». Автор подвергает анализу показания Данильченко (бывшего узника Собибора), предоставленные суду в последний день процесса Демьянюка, а также письмо Франца Сухомела д-ру Карнье в Италию. В то время, как бывшие узники Треблинки показывают, что вплоть до сентября 1943 г. И. Демьянюк был в Треблинке, Данильченко утверждает, что в марте 1943 г. он встретил «Ивана Демьянюка» в Собиборе, где тот служил шесть месяцев в качестве рядового охранника. Данильченко показывает, что они были вместе в Собиборе вплоть до «марта или апреля 1944 года». Письмо Сухомела, однако, подтверждает, что Иван был переведен из Треблинки в Триест. Как показывает еще один охранник из Треблинки, Густав Мюнценбергер, это случилось в сентябре 1943 года.

«Показания Данильченко, — пишет Сирени, — наделали им [судьям] много хлопот, но судьи предпочли отклонить эти показания. Демьянюк, заключили они, был прикомандирован к Собибору и к Треблинке, и тогда противоречие во времени между заявлением Данильченко и заявлениями бывших узников Треблинки, опознававших Демьянюка одновременно в двух лагерях, будет сглажено. Узники Треблинки видели Демьянюка там „вплоть до конца“. Расформирование Треблинки наступило в августе 1943 г., но возможно, решают судьи, что для узников с их особым восприятием времени „на планете Треблинка“ „конец“ был в январе-феврале 1943 года, когда массовые убийства там фактически прекратились (но зато набирали темп в Собиборе). После этой даты Иван — активный в Собиборе и активный в Треблинке — мог ездить туда и сюда по мере нужды в его службе.

Искажение действительности в этом анализе, наряду с четким обличающим приговором в остальных деталях, вызвало недоумение у опытных обозревателей в Израиле. Письмо Сухомела, согласуясь с таким же, невынужденным заявлением Мюнценбергера, сделанным в 1960 году, превратило этот анализ в совершенно неприемлемый. У нас нет уверенности, где был Демьянюк. Но сомнений быть не может: „Иван“ был в Триесте».

Сирени приходит к выводу, что «приговор Демьянюку в настоящее время скомпрометирован в основных пунктах, а вместе с ним и вся тактика обвинения. Дело, как мы видим в последнюю минуту, не решено. И смертный приговор стал немыслим. Сейчас встает вопрос не о милосердии, а, вполне понятно, о правосудии».

Татуировка*. Удаленная татуировка, о которой так много говорилось, является скорее оправдательной, чем обвинительной уликой, поскольку она *несовместима* со службой в охране лагеря смерти и *совместима* со службой в армейской части. И. Демьянюк постоянно утверждал, что был солдатом армии Власова, воевавшей против Советов. Не менее показательно и то, что подсудимый *добровольно* инфор-

* На руке И. Демьянюка имеются следы удаленной татуировки, которые обвинение считает уликой против подсудимого.

мировал следователей в США, что он удалил татуировку. Трудно поверить, что он поступил бы так, если бы татуировка была знаком службы в лагере смерти или доказательством того, что он был «Иваном Грозным».

Учитывая, что события имели место более сорока лет тому назад, я не считаю важным, что на одном допросе Демьянюк сказал, что удалил татуировку в Ландешуте, а на другом — что начал удалять ее в Хойберге, а закончил в Ландешуте.

Хелм*. Такими же являются расхождения в числе военнопленных в одном железнодорожном вагоне, сделанные Демьянюком при описании этапа из Хелма в Грац. Несмотря на то, что я сохранила довольно живую память о зрителях в телестудии во время шоу Мортон Доуни-Младшего, участницей которого я недавно была, я не могу сказать, сколько их было — 75, 100 или 300. Я решительно не хотела бы, чтобы моя жизнь зависела от моей способности установить число зрителей во время шоу Доуни.

Плохая память И. Демьянюка о Хелме (Холме), включая его неспособность на одном из первых допросов в США припомнить название города, неоднократно подчеркивается. Во время шоу М. Доуни Алан Дершовиц провел аналогию такой неспособности с неспособностью любого из нас вспомнить случай, происшедший в средней школе.

Откровенно говоря, это плохая аналогия. Во-первых, лагерь военнопленных возле Хелма в те времена именовался не по названию города, а «шталаг-309». Более важно, однако, что число советских военнопленных, погибших в таких немецких лагерях, превосходит 2-2,5 млн. человек. Эти лагеря, где 90% умерло от голода, тифа и дизентерии, описаны как настоящее пекло. Невообразим ужас медленной, неотступной и неизбежной смерти, косившей людей на глазах их голодающих и близких к смерти товарищей. Переживать кошмары Хелма в качестве военнопленного — не то же самое, что ходить в школу. И действительно, в своих

* В Хелме (Польша) находился лагерь советских военнопленных, где, согласно показаниям Демьянюка, он содержался до вступления в армию Власова.

показаниях Демьянюк сказал, что, голодая в Хелме, он отдал бы жизнь за буханку хлеба.

Никто из нас не может знать, сохраним ли мы в подобных обстоятельствах твердую память об именах, лицах и событиях, которая поможет нам через 40 лет подкрепить наше алиби, или эти детали сотрутся в нашей памяти. Поскольку наука о памяти вряд ли поможет разрешить эту дилемму, я бы не решилась выносить обвинительный приговор, притом к смертной казни или пожизненному заключению, исходя из неспособности вспомнить имена, лица и подробности пребывания в Хелме. Защита Демьянюка представила весьма наглядные свидетельства узника, пережившего Катастрофу, который забыл название лагеря, где его держали шесть месяцев, и другого узника, который 38 лет был уверен, что содержался в Треблинке, тогда как на самом деле был в лагере смерти Майданек.

В отношении несоответствий в датах, названных И. Демьянюком, я бы сделала тот же вывод, какой сделал израильский суд в отношении хронологических неточностей советского свидетеля Данильченко: что ошибки не снижают достоинства показаний. (Ни Демьянюк, ни Данильченко не пользовались привилегией иметь календарь, переживая ужасы Второй мировой войны.) Вопиющим искажением истины являются заявления Рут Тейнер из Антидиффамационной лиги, что Демьянюк «не имеет алиби», и Алана Дершовица (в его газетной рубрике), что алиби Демьянюка «лжесвидетельское» и «равносильно признанию вины».

Атмосфера процесса. К фактам, не благоприятствовавшим объективности процесса, надо отнести следующие:

- заявление израильского министра юстиции, сделанное по правительственному радио в день открытия суда, о том, что «сегодня начинается суд над нацистским преступником Демьянюком».

- антиукраинская настроенность стоявших на стороне обвинения средств массовой информации Израиля, к которым прислушивались судьи, подписываясь на ежедневную подборку газетных вырезок, с тем чтобы следить за освещением процесса в прессе;

- решение суда перенести слушание дела из здания участкового суда в Иерусалиме в зал театра, примечатель-

ного во время процесса тем, что там была вывешена громадная фотография лагеря смерти Треблінка;

— решение суда разрешить телевизионные съемки процесса и допустить в зал суда более ста фотографов, хотя в участковых судах Иерусалима присутствие фотографов во время судебных заседаний строго запрещено;

— отказ суда ограничить средства массовой информации в их освещении процесса, а освещение это, как правило, поддерживало обвинение, в то время как представителям защиты пригрозили тюремным заключением за попытку уведомить прессу об имевших, по их мнению, место юридических нарушениях со стороны обвинения;

— регулярные встречи судей с репортерами во время процесса с обсуждением материалов для прессы, куда юристы защиты не допускались;

— ярмарочная атмосфера, преобладавшая во время процесса, вследствие того, что власти доставляли в зал суда большие группы детей, а судьи оказались неспособны сдерживать вспышки эмоций публики, присутствовавшей в зале;

— распевание толпой «смерть, смерть, смерть» при зачитании приговора;

— заявление министра юстиции Израиля в канун оглашения приговора, что он надеется на вынесение приговора к смертной казни.

К проявлениям прямого пристрастия и предубеждения суда на процессе следует отнести:

— решение суда посвятить значительную часть процесса слушанию показаний, которых защита не оспаривала, а, наоборот, признавала (36 из 118 разделов приговора касаются исключительно цитирования и анализа показаний, защитой полностью признанных);

— постоянная тенденция суда отклонять вопросы защиты к свидетелям обвинения, по поводу которых со стороны обвинения *возражений не было*;

— практиковавшиеся судом беспричинные насмешливые замечания по адресу защиты, как например, что от доводов защитников «у меня болит голова» (стр.10129 протоколов суда);

— помощь, оказываемая судьями свидетелям обвинения, и в то же время действия, направленные на дисквалификацию свидетелей защиты.

Прочие проблемы. К числу правовых проблем, связанных с этим разбирательством, я отношу:

- отсутствие доступа к общественным фондам для защиты Демьянюка во время судопроизводства как в США, так и в Израиле;

- вопиющее неравенство обвинения и защиты в доступе к архивным фондам в Польше, Восточной Германии и СССР;

- отсутствие юридических гарантий в течение 12 лет гражданского судопроизводства в США, которое, тем не менее, рассматривалось средствами массовой информации как эквивалент судебного разбирательства по уголовному обвинению и которое в полном объеме участвовало в израильском судопроизводстве;

- утаивание министерством юстиции США оправдательных свидетельских показаний;

- некомпетентность защиты;

- помещение государственного информатора в тюремную камеру И.Демьянюка;

- недавнее разоблачение возможного давления обвинения на свидетелей;

- и масса других моментов, касающихся обстановки в зале суда, которые, все вместе взятые, лишили разбирательство достоинства, справедливости и объективности.

Украинская община. Клубок проблем, связанных с процессом Демьянюка, очевиден не только мне, но и украинской общине свободного мира. Украинцы, однако, за одно только осуждение юридических нарушений подверглись публичному шельмованию в органах печати, где их называли пронацистами, профашистами и антисемитами. Обвинения эти, несомненно, злонамеренные, безосновательные, неправомерные и клеветнические. Такой оборот дел мог быть (и, наверное, был) запланирован в КГБ, поскольку он дискредитировал традиционно антисоветскую, тесно связанную с диссидентами в СССР общину, одновременно возлагая на нее непомерное бремя защиты Демьянюка.

Заключение. Анализ процесса Демьянюка неумолимо склоняет к выводу, что традиционно соблюдаемые современной уголовной юриспруденцией гарантии недопущения ошибок — в деле Демьянюка либо полностью отсутство-

вали, либо в значительной степени были преданы пренебрежению. Юристы и правозащитные организации должны принять необходимые и посильные для них меры, чтобы предотвратить осуществление юридического кошмара, способного вечно преследовать человечество: осуждение и казнь невинного человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Статья Пейшенс Т.Хантворк «Охоте за нацистами — надлежащий уровень правосудия»

Представьте себе, что в одно прекрасное утро, проснувшись, вы узнаете, что правительство обвиняет вас в геноциде, совершенном 40 лет назад. Вы же совершенно невиновны.

Может ли случиться такой кошмар? К сожалению, может. Одиннадцать переживших нацистскую Катастрофу свидетелей показали под присягой, что они «узнали» в американском поляке из Чикаго, Франке Валюсе, кровожадного «Мясника» из Кельце времен Второй мировой войны. 44 потенциальных свидетеля в Израиле опознали в Валюсе ужасного нациста, узнав его на развороте из восьми фотографий. После гражданского процесса судья первой инстанции Джулиус Хофман лишил Валюса его (американского) гражданства как нацистского военного преступника. Лишь со временем было установлено, что Валюс невиновен. Правительство выдало запоздалое признание в том, что ошиблось, обвиняя Валюса. Обвинение отпало.

Прошлым летом внимание мировой общественности привлек зал суда в Иерусалиме, где пять переживших катастрофу свидетелей показали, что опознали в бывшем жителе Кливленда Иване Демьянюке «Ивана Грозного» из Треблинки. Многие ли в мире знают, что министерство юстиции США скрыло от защиты Демьянюка тот факт, что многочисленные бывшие узники Треблинки, ознакомившись с фото Демьянюка, не смогли опознать в Демьянюке «Ивана Грозного»?

Один такой бывший узник Треблинки, о котором защита не знала, пока семья Демьянюка в феврале прошлого года не выиграла иск на основании Акта о свободе информации, провел в Треблинке 11 месяцев. Он сообщил, что знал одиозного Ивана «очень хорошо» и видел его «каждый день». Получив для опознания фото Демьянюка, этот бывший узник (по словам правительственного следователя) «положительно не смог опознать Демьянюка».

Три свидетеля, дававшие в Иерусалиме показания против Демьянюка, были признаны «не заслуживающими доверия» как свидетели по делу Федоренко в 1978 году. Слушавший это дело

судья Норман Реттгер полностью исключил опознание подсудимого этими свидетелями. Его решение основывалось, в частности, на том, что свидетели обсуждали между собой свои показания, что недопустимо. Тот же самый набор фотографий, использовавшийся для опознания в Демьянюке «Ивана Грозного», был признан недопустимо способствующим желаемому опознанию в деле Федоренко.

Задумавшись над своими перспективами в качестве подозреваемого нацистского преступника, не тешьте себя иллюзиями: вы подлежите выдаче и, возможно, в СССР, и, поскольку вас будут судить в рамках гражданского судопроизводства, вам в судах США не будут предоставлены нижеперечисленные юридические гарантии:

- право на суд присяжных;
- непереносимое право, согласно пятой поправке к конституции, против самооговора;
- требование, чтобы правительство доказало вашу вину без тени сомнения;
- право на государственного защитника;
- презумпция невиновности;
- право на перекрестный допрос свидетелей из советского блока в обстановке, не способствующей принуждению к даче желаемых показаний, свободной от влияния КГБ;
- право на судебно-юридическую экспертизу советских документов.

И еще одна отрезвляющая реальность: вы предстанете перед прокурорами министерства юстиции, которые, в случае необходимости, сотрудничают с советскими властями в деле сбора «свидетельств» против вас. В кафкианском мире охоты за нацистами в министерстве юстиции вас ожидают следующие препятствия:

- министерство юстиции всегда отказывает обвиненным в военных преступлениях в суде присяжных (ни один такой обвиняемый не был судим в США судом присяжных);
- министерство юстиции подчиняется советскому требованию о том, чтобы документы-улики оставались в руках советских чиновников;
- на основании «суверенитета СССР» министерство юстиции отклоняет всякую попытку допросить свидетелей из советского блока в нейтральной, не способствующей принуждению к даче желаемых показаний обстановке, как, например, в консульстве США, без контроля КГБ и советского прокурора;
- министерство юстиции не признаёт права подсудимых пользоваться пятой поправкой к конституции (в одном деле министерство потребовало лишить обвиняемого гражданства в наказание за то, что он прибег к пятой поправке; драконовская санкция, наложенная судом первой инстанции, была отменена кассационным судом);

— как правило, министерство юстиции стремится выдать обвиняемых в Советский Союз, где они подлежат смертной казни, а нормы законности не соблюдаются.

К счастью, вмешательство законодателей может исправить положение. Конгресс может и обязан принять закон, который позволит судить военных преступников в США согласно уголовному, а не гражданскому кодексу и положить конец заблуждению, будто бы судопроизводство США — исключительно гражданское. Таково веление здравого смысла. Ни один преступник, тем более нацистский, не должен быть казнен без уголовного процесса.

Высказываются сомнения относительно правомочности США судить военных преступников. Однако эти сомнения не помешали ни Израилю, судившему Эйхмана, ни США, участвовавшим в Нюрнбергском трибунале, распространить свою юрисдикцию на бывших нацистов и вынести им приговоры к смертной казни на основании доктрины «универсальности».

Принцип универсальности признаёт существование преступлений, настолько гнусных и противоречащих нормам цивилизованного общества и международного права, что виновные в таких деяниях являются *hostii humani generis* (врагами рода человеческого) и подлежат суду и наказанию в любом государстве, в границах которого они окажутся.

...Судья Феликс Франкфуртер однажды заметил, что «история американской свободы в немалой степени является историей юридической процедуры». Соблюдение должной законности в суде, по мнению Франкфуртера, является квинтэссенцией понятий общества о справедливости по отношению к «обвиняемым в тягчайших преступлениях».

В соответствии с этим принципом нам надлежит обеспечить самый высокий уровень американского правосудия по отношению к обвиняемым в преступлениях Катастрофы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Выдержки из записанного на пленку телефонного разговора между адвокатом Уильямом Уолфом (У.У.) из Феникса, штат Аризона (США) и г-ном Рихардом Глейзаром (Р.Г.) из Швейцарии, состоявшегося 27 сентября 1988 года

В ы д е р ж к а № 1

У.У. Всё, что я хотел бы, сэр, — это показать вам то, что я написал.

Р.Г. Одно я скажу вам, одно. Я обещал генеральному прокурору, проводившему следствие, израильскому прокурору, не говорить ни с кем, пока процесс не закончится.

У.У. Но, видите ли, вы знаете, если вы важный свидетель, я думаю, это очень важно, чтобы, если вы имеете что-нибудь добавить к этому процессу, чтобы вы сделали это теперь, прежде чем будет слишком поздно и человека повесят.

Р.Г. Я сказал всё, что знал, следователю, израильскому следователю.

У.У. Я понимаю, но адвокат защиты тоже хотел бы иметь возможность представить ваши показания, если можно. Сэр, все, чего я хотел бы, — это остановиться в Швейцарии и поговорить с вами, очень спокойно, как вам будет удобно, и обсудить этот вопрос с вами.

Р.Г. Ах...

У.У. Откровенно говоря, я собираюсь в Израиль на следующей неделе.

Р.Г. Нет, пока процесс не кончится.

У.У. Но дело в том...

Р.Г. Нет, извините.

У.У. Я говорю вот что...

Р.Г. Никому никакой информации. Знаете, я должен сказать вам одну вещь. Меня интервьюировали не раз, много раз, много раз, и я должен сказать вам, что я всегда был разочарован тем, что эти люди писали впоследствии.

В ы д е р ж к а № 2

У.У. Я хочу спросить у вас одну вещь, сэр, только скажите мне, является ли Джон Демьянюк действительно этим «Иваном Грозным»?

Р.Г. Гм, я не могу сказать вам, я не могу сказать вам.

У.У. Не говорю мне ответа...

Р.Г. Слушайте, слушайте, слушайте. Я видел удостоверение личности Джона Демьянюка, так называемое удостоверение личности СС, его удостоверение личности СС. Там на удостоверении упомянуты две местности: Окшов и Собибор, но не Треблинка. Собибор был другой лагерь смерти недалеко от Треблинки.

У.У. Да, сэр, но это удостоверение признано действительным.

Р.Г. Слушайте, быть может, быть может, но быть может, знаете, быть может, быть может, быть может, знаете, он не убивал в Треблинке, он убивал в Собиборе, быть может, быть может...

У.У. Но ведь, по сути, то, что вы говорите, означает, что, насколько вам известно, он не был в Треблинке?

Р.Г. Я не могу сказать вам, я не могу сказать вам...

У.У. Был он там или нет, по вашему мнению?

Р.Г. Быть может, он... быть может, он был еще и в Треблинке. Я не могу сказать вам.

У.У. Ну, а вы видели его в Треблинке?

Р.Г. Я видел много, много украинских охранников в Треблинке.

У.У. Я спрашиваю не об этом.

Р.Г. В то время они были молоды, как и я.

У.У. Я спрашиваю вас об одном конкретном человеке, Джоне Демьянюке, был ли он в Треблинке, в поле вашего зрения, насколько вам известно?

Р.Г. Извините. Извините. Я не могу сказать вам ничего больше. Извините.

Перевел с английского Святослав Караванский

ХАНТВОРК Пейшенс Т. окончила в 1973 году Йельскую высшую школу права, сыграла ведущую роль в развернувшейся в 80-е годы в США дискуссии о правовой процедуре в отношении военных преступлений. Живет и работает в Фениксе (штат Аризона).

**Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста**

Б . Д . Б р у ц к у с а

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием
В . С о р о к и н а и Д . Ш т у р м а н ,
пояснительной статьей лауреата Нобелевской премии
по экономике Ф . А . Х а й е к а
и др. материалами.

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР. Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Цена книги — 72 фр.фр.

Чеки направлять по адресам:

Victor Sorokine — 45, rue Victor Hugo,
94370 Sucy-en-Brie, FRANCE,

или

S.Tictin, Greenspan Str., 12/6,
Misrakh Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Виктор Каган

ЗАПАД И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

На Запад надейся, да сам не плошай.

В тридцатые годы в Германии действовала Немецкая лига защиты прав человека (основана в 1919 году, запрещена в 1933-м, восстановлена в 1945-м). Высланный в 1922 г. из СССР вместе с цветом интеллигенции, первым в списке экономистов, профессор Русского научного института в Берлине Б.Д.Бруцкус считал своим долгом вступаться за права прежних сограждан. Поэтому 2 апреля 1930 г. он направил в Лигу копию письма, за неделю до того направленного в редакции «Фоссише цайтунг» и «Вельт ам зонтаг».

В письме от 27 февраля один из вождей Немецкой лиги прав человека Курт Гроссман пытался интерпретировать новый курс Лиги. В письме от 6 марта Грета Эйхель назвала его объяснения «отличными». При таком положении да будет мне позволено высказать мнение, что объяснения Курта Гроссмана произвели такое благоприятное впечатление не на всех читателей. По крайней мере, не на русских читателей, к которым я принадлежу и которым страшные нарушения прав человека в советской России, о чем говорил президент Международной лиги проф. Баш, тяжело ложатся на сердце.

12 лет существует в России правительство, которое принципиально отвергает принцип прав человека как буржуазный институт и сообразно с этим правит самым жестоким образом. При той всеобщей моральной депрессии, в которой мир еще находится после войны, мало шансов пригвоздить к позорному столбу эти жестокие нарушения прав человека и мобилизовать против них общественное мнение. Однако, когда в этом отношении что-либо делается, то менее всего кругами Лиги, хотя, казалось бы, это должно быть ее первым священным долгом. Думается, в этом причина, почему, как пишет Грета Эйхель, на ежегодном собрании правления Лиги были сделаны «упреки в пристрастии, вялости и нарушении долга». Может быть, эти упреки совсем необоснованны. Представляется все же верным, что Лига не проявила особой энергии в борьбе против страшных событий в советской России. Теперь некоторые газеты, с мнением которых Курт Гроссман все же считается, пишут, что Лига плывет в коммунистическом фарватере.

Оставим, однако, прошедшее в покое. Нам обещают теперь «новый курс в Лиге». Правление теперь разовьет «разъяснительную работу» о подавлении прав человека в России. Это решение очень скромное, так как со стороны Лиги прав человека можно было ожидать не только разъяснительной работы, но и демонстрации протеста в момент, который сама вдова Ленина Крупская назвала «страшным». Но где эта разъяснительная работа Лиги? Русские круги, которые бессильно с глубокой болью наблюдают страшные события в советской России, тоже должны были бы видеть такую работу. Однако твердо известно, что и сейчас обоснованны серьезные сомнения в том, что Лига прав человека способна сделать что-то положительное в этой особенно интересующей нас области. И письмо Курта Гроссмана непригодно, чтобы рассеять эти сомнения.

Производит странное впечатление, что Курт Гроссман чрезвычайно обеспокоен недовольством коммунистической прессы последним собранием Лиги. Разумеется, можно поверить, что партия, которая в своей борьбе признаёт дозволенными все средства, не будет особенно довольна деятельностью Лиги прав человека. Но почему этот факт должен так беспокоить г-на Гроссмана? В такой ли же мере его беспокоит, что фашисты недовольны Лигой? Организация, верно выполняющая свой святой долг, должна быть безразлична к благосклонности или неблагосклонности той или иной партии.

Не менее странное впечатление производит речь президента Международной лиги проф. Баша в изложении Курта Гроссмана. Проф. Баш, пишет Курт Гроссман, «ясно изложил позицию Лиги прав человека в отношении советской России. Он сравнил Италию с Россией. В обеих странах права человека грубо нарушаются. Однако фашизм стабилизирует тиранию, тогда как за советской системой стоит идеал, которого страстно желают все социалисты». Во-первых, надо сказать, что не все социалисты считают, будто за советской системой стоит их идеал. Именно главные направления в русском социализме отклоняют такое утверждение с большим негодованием, как глубочайшее оскорбление их идеалов. Кто прав — эти ли социалисты или проф. Баш, вопрос можно считать открытым. Но чрезвычайно огорчительно, что президент Международной лиги прав человека позволяет себе руководствоваться не только правами человека, но и своими политическими симпатиями в момент, когда определяет отношение Лиги к режиму. Когда права человека рассматривают не как абсолютную ценность, когда не делают дистанции между ними и преследованием политических целей, тогда нельзя выступать хранителем этих святых прав, тогда возникает даже опасность их предать.

Я позволю себе поэтому высказать надежду, что Курт Гроссман неточно передал речь проф. Баша. С идеей гуманности дело обстоит безнадежно, если только такие последователи могут собираться

под ее знамена. Можно все же не терять надежды, что в наше время есть еще люди, которые выше всего ценят права человека и готовы бороться за них без политических задних мыслей.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

Из Лиги немедленно пришел ни к чему не обязывающий ответ.

Ваше письмо от 2 апреля с.г. будет представлено на ближайшем заседании правления. Мы позволяем себе между тем передать Вам для ознакомления последний номер «Прав человека».

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

Не замешкался и редактор «Вельт ам зонтаг». Его ответ гораздо более информативен.

4 апреля 1930 г.

Благодарю за дружеское письмо с приложением. Вероятно, Вы знаете, как отрицательно я сам отношусь к большевизму. Лига прав человека, однако, в первую очередь имеет задачей заботиться о защите прав человека в своей стране. Борьба против нарушения прав человека в других странах — задача Международной федерации Лиг прав человека.

Речь проф. Баша на общем собрании я слышал сам. Она показалась мне вполне обоснованной.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

После этого наступило молчание... Бруцкус снова написал в Лигу:

28 сентября 1930 г.

С письмом от 2 апреля с.г. я послал Вашей уважаемой организации для сведения копию моего письма в «Фоссише цайтунг», которое не было там опубликовано. В моем письме в «Фоссише цайтунг» я позволил себе высказать сомнение в том, что Лига избрала верный путь защиты прав человека по отношению к событиям в советской России. Я получил от Вас ответ от 3 апреля, что мое письмо будет представлено на ближайшем заседании правления. К сожалению, от Вашего правления я до сих пор ответа не имею.

Не исключено, что такой ответ стал уже излишним, так как тем временем в советской России имели место новые страшные события: так называемое «раскулачивание» (я позволяю себе переслать Вам относящийся сюда доклад, который я в апреле с.г. сделал в Париже) и массовые расстрелы ГПУ выдающихся русских специалистов, которые, надеюсь, уже побудили Лигу занять соответствующую позицию в духе прав человека.

К сожалению, мне не удалось найти что-либо о соответствующей деятельности Лиги в газетах, в том числе и в «Фоссише цайтунг», редакция которой, очевидно, связана с Лигой. Я был

бы чрезвычайно благодарен правлению, если бы оно могло прислать мне материалы с высказываниями Лиги об упомянутых страшных событиях. В печальном настроении, в котором мы, бывшие русские граждане, находимся, для нас всегда утешение, если мы видим подтверждение, что дух гуманности еще не полностью умер. Эти материалы были бы также лучшим ответом на высказанные мною сомнения: дела всегда убеждают больше, чем только слова.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

И снова ему немедленно отписали ответ.

30 сентября 1930 г.

Многоуважаемый г-н профессор,

мы получили Ваше письмо от 28 сентября и сообщаем Вам, что Немецкая лига прав человека создала комиссию для выяснения происходящего в советской России, отчет которой еще не представлен. О назначении этой комиссии Вас информируют «Права человека» №4.

По отношению к актуальным событиям в России правление Немецкой лиги прав человека уже выработало точку зрения, и по приятии относящихся сюда данных будет опубликован протест.

Мы надеемся, что удовлетворили Вас этим ответом, и приветствуем Вас.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

На это Бруцкус реагировал резким письмом:

3 октября 1930 г.

Я благодарю Лигу за любезный и скорый ответ на мой запрос. К сожалению, содержание Вашего письма меня никоим образом не удовлетворило.

Прошлой зимой советские власти частью экспроприировали в пользу колхозов, частью просто ограбили все имущество, включая одежду, у зажиточных крестьян, несправедливо зачисленных в «кулаки» (эксплуататоры), и у тех, кто возражал против принудительной коллективизации. Ночью, в суровую русскую зиму, их, одетых в отрепья, с женщинами и детьми, вооруженной силой вышвырнули из их домов и выгнали из деревень. Тысячи «кулаков» по приказу местных властей были расстреляны без всякого судебного решения. Сотни тысяч были сосланы в северные леса на принудительные работы. Те, кто мог оставаться с членами семьи, были полностью лишены возможности заработка. Миллионы людей: мужчины, женщины и прежде всего дети — при этом погибли от холода и голода. Дороги в степные области и в Западную Сибирь покрыты телами умерших от голода и замерзших людей.

Катастрофа, равную которой едва ли можно найти в истории Европы! А Лига прав человека... она в конце концов назначила комиссию, которая за 4 месяца еще не закончила работу.

Новые страшные сообщения приходят из России: выдающиеся представители русской науки, годами лояльно работавшие при правлении коммунистов: хозяйственники, агрономы, историки, даже бактериологи — арестованы и по нелепым обвинениям заключены в тюрьмы. Несколько дней назад ОГПУ в своих подземельях на Лубянке расстреляло без суда 48 специалистов во главе с двумя выдающимися профессорами. Лига в конце концов, по-видимому, заняла позицию по отношению к этому мерзкому делу, неслыханному в культурном мире, однако... Вам еще не хватает данных. Каких, собственно, данных не хватает Лиге — совершенно непонятно. Потому что в этот раз советское правительство не делает тайны из своих дел. В официальном органе «Известия» от 22 сентября появилось сообщение ОГПУ об аресте, а в номере от 25 сентября — о казни 48 специалистов. Так что какие еще убедительные данные нужны Лиге, чтобы заявить протест? Или она хочет, как в случае Пальчинского, направить вежливый запрос в здешнее советское посольство? В советской России пролиты потоки крови лучшей части русского населения, духовная элита великого народа систематически уничтожается. Я верю, что придет время, когда Лига осознает свой долг бороться против такой бесчеловечности и начнет энергичную кампанию против варварских злодеяний. Если она их допустит — она предаст свои собственные принципы и возьмет на себя ответственность за пролитую кровь.

Я все еще надеюсь получить документы и отчет о деятельности Лиги в связи с последними событиями в советской России.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

На сей раз Лига воздержалась от ответа. Ни документов, ни отчета Бруцкусу, разумеется, не переслали. 1 ноября в газете был напечатан протест Лиги против бессудного расстрела сорока восьми* и сказано, что задержка публикации вызвана техническими причинами. О «раскулачивании» и геноциде крестьян Лига промолчала — должно быть, комиссия все еще не представила отчета.

* * *

Бруцкус вновь вернулся к судьбе жертв «вредительских процессов», откликнувшись в газете на статью Апфеля. В своей заметке Бруцкус напоминает имена и незаслуженно забытые заслуги людей, погибших в сталинских застенках и ссылках.

* «Континент» №60, стр. 296.

Адвокат д-р Апфель в статье «Духовно голодные русские» (6.12) сделал замечания к статье Освальда Цинау «Нет места свободному призванию» (3.12), главные мнения которой опираются на основательное знание положения вещей. Из факта, что однажды приговоренный к смерти проф. Рамзин снова привлечен к научной деятельности, Апфель выводит заключение, будто «по меньшей мере, в настоящее время в России еще очень толерантны к небольшевистским ученым». Те, кто знал деятельность проф. Рамзина в первые годы после октябрьского переворота и внимательно следил за ходом процесса, не особенно беспокоились о его судьбе. Очень жаль, однако, что д-р Апфель не справился в Москве о судьбе других 20 приговоренных в обоих больших «вредительских процессах». Что касается моих коллег (в области национальной экономики и аграрного дела), то все они, насколько мне известно, находятся в тюрьмах. И никакие заслуги — не только перед наукой, но и перед советской властью — не смогли их спасти. Так, в тюрьме — знаменитый исследователь конъюнктуры проф. Николай Кондратьев, который в свое время основал Русский Конъюнктурный институт; там же талантливый аграрный политик Александр Чаянов, долгие годы работавший в комиссариате сельского хозяйства; известный исследователь в области науки о сельскохозяйственном производстве проф. Николай Макаров, познакомивший советскую Россию с организацией американского сельского хозяйства. С ними выдающийся специалист-финансист проф. Юровский, создавший валютный червонец; известный статистик проф. Громан, работавший в Госплане и награжденный орденом Красного знамени; талантливый руководитель московской сельскохозяйственной опытной станции проф. Дояренко и т.д. и т.д. Та же участь постигла и самых выдающихся русских историков во главе с почтенным Нестором русского исторического источниковедения Платоновым (берлинцы имели возможность узнать этого исследователя во время Недели русской истории, которую организовало «Общество изучения Восточной Европы» летом 1929 г.).

В тот момент, когда восхваляется «очень толерантное отношение» советской власти к небольшевистским ученым, бесчисленные блестящие представители русской духовной жизни сидят под замками и засовами, томятся в ссылке за Полярным кругом или в пустынях Средней Азии, должны выполнять принудительные работы и терпеть страшную участь вместе с женами и детьми.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

Деятельность Бруцкуса в прессе и в общественной жизни была направлена против симпатий к советскому режиму, распространенных тогда в Германии, США и других странах. Он действовал настойчиво, как капля, которая

точит камень. В 1933 г. он написал письмо главному редактору «Берлинер тагеблатт» Т.Вольфу.

29 января 1933 г.

[...] всегда с большим интересом читаю Ваши статьи о текущих вопросах немецкой жизни. Я нахожу в них талантливую защиту принципов демократии, либерализма и свободы духа.

Тем более звучит для меня и для всех, кто чувствует себя внутренне связанным с Россией, тон, находящийся в полном противоречии с Вашими идеями. Я говорю об отношении Вашей газеты к коммунистическому режиму в России. С Вашей точки зрения, это отношение, собственно, должно быть однозначным. Большевизм отрицает демократию, либерализм, свободу духа не из преходящих соображений целесообразности, а принципиально. Большевизм создал террористический режим, по сравнению с которым не только полуконституционный предвоенный режим, но и старый российский режим до 1905 г. выглядит мягким и гуманным. Можно было быть уверенным, что «Берлинер тагеблатт» займет по отношению к нему принципиальную негативную позицию. К большому моему удивлению, этого не произошло. «Берлинер тагеблатт» не только принимает точку зрения, что Германия из определенных политических и хозяйственных соображений должна быть в хороших отношениях с Россией (это делают немецкие журналы разных направлений), но и демонстративно проявляет симпатии к сущности этого диктаторского режима. Достоин сожаления факт, что газета — хотя и в несколько завуалированной форме — берет под защиту самые отвратительные стороны этого режима.

Я позволю себе напомнить только два примера.

Последним летом в приложении к газете, «Вельтшпигель», были напечатаны картинки из жизни русских концлагерей. Все, что мы знаем от запуганного концлагерями населения России, вызывает ужас. И если мы знаем об этом лишь немного, то только потому, что из этих лагерей мало кому удастся выбраться живым. В «Вельтшпигеле» жизнь в концлагере изображается прямо-таки идиллически. Я был удивлен, что газета так дает обмануть себя потемкинскими деревнями. Однако недавно я убедился, что мы здесь имеем дело не с ошибкой, а с чем-то совсем другим. Мы переживаем сейчас страшную вспышку коммунистического террора. «Новый период, — читаем мы у Вашего корреспондента Гюнтера Штейна в «Берлинер тагеблатт» от 27 января, — будет отмечен, уже сегодня отмечен усиливающимся нажимом диктатуры, насилием, тем, что многие люди так или иначе попадают под машину развития...» Московский корреспондент вынужден выражаться осторожно, но из его слов нетрудно понять, что происходит в России. За границу проникают страшные новости о действиях карательной экспедиции на Северном Кавказе: массовые расстрелы, высылка целых деревень в северные концлагеря на принудительные работы и т.д. И в этот

момент «Берлинер тагеблатт» находит уместным печатать картинки из жизни ссыльных на Сахалине... в прошлом веке. Эти картинки выглядят уже не идилически, а страшно. Газета, очевидно, впала в ошибку, но совершенно независимо от этого должен быть поставлен вопрос: не создает ли демонстрация вполне неактуальных картинок впечатление, что газета хотела отвлечь внимание читателя от омерзительных дел большевизма и оправдать их? От этого впечатления трудно избавиться.

Я был бы Вам чрезвычайно благодарен, уважаемый г-н главный редактор, если бы Вы смогли мне объяснить, как соединяется Ваша борьба за демократию, либерализм и свободу духа с вызывающим изумление отношением к большевизму в его худших проявлениях. Без такого объяснения это отношение бросает мрачную тень на Вашу газету, которая у меня и у многих других была в неизменном почете еще в прежние годы в России. Так как вопрос имеет важное общественное значение, было бы, вероятно, много целесообразнее, если бы Вы захотели дать на мой запрос открытый ответ.

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

Главный редактор вместо открытого ответа написал письмо.

Уважаемый г-н профессор,

я прошу Вас извинить, что отвечаю на Ваше письмо только сегодня. Я могу только сказать, что «Вельтшпигель» совершенно не зависит от «Берлинер тагеблатт» и что я не имею на него никакого влияния. Я несу ответственность только за статьи, которые появляются в «Берлинер тагеблатт».

(Из архива Б.Д.Бруцкуса. Перевод с немецкого)

Разумеется, в газете ничего напечатано не было.

* * *

Как видим, в то время даже лучшие сторонники либерализма на Западе были склонны защищать права человека только в своем доме и совсем не желали вступать из-за них в конфронтацию с тоталитарным режимом. Положение в значительной мере сохраняется и сегодня, но все же есть определенные сдвиги: мы не раз видели, как общественное мнение Запада вступалось за советских граждан. Исторические причины и обстоятельства этого пробуждения сложились из заслуг многих людей, место среди которых по праву должно принадлежать и Борису Давидовичу Бруцкусу.

ИСТОКИ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Веры Иосифовны Л у р ь е

...Сегодня хочу окунуться в те далекие годы. Гимназию я закончила уже после революции. Что делать дальше? Пошла было на Бестужевские курсы, но там мне совсем не понравилось. В один прекрасный день я пошла в гости к материю к ее знакомым. Дочь знакомых Неточка рассказала мне, что на углу Невского и Мойки в бывшем княжеском дворце помещается теперь «Дом искусства», в котором проводятся различные семинары: по стихосложению, журналистике, искусству театра и т.д. Бывали там и вечера, музыкальные и литературные, читались доклады. В «Доме искусства» работал буфет, были даже парикмахер и маникюрша, что по тогдашним временам считалось роскошью. Там же жили и некоторые писатели и поэты: Мариэтта Шагинян, Лозинский, Гумилев.

В то время, о котором я веду рассказ, Гумилев уже давно был разведен со своей первой женой Анной Ахматовой и женат на совсем молоденькой и не очень-то талантливой актрисе Анне Энгельгардт, падчерице поэта Бальмонта.

«Дом искусства» находился недалеко от нашего дома, и вот однажды я пришла туда на литературно-танцевальный вечер. Из всего, что происходило на вечере, запомнился только один забавный эпизод. В углу танцевального зала, где кружились в вальсе пары, стоял Гумилев и разговаривал с Мандельштамом. Тогда уже знаменитый поэт, Мандельштам был маленького роста и напоминал мне воинственного петуха со своей откинутой назад головой. Гумилев производил впечатление очень спокойного человека. Его узкое лицо не было красивым, но необычайно привлекательным. Полная задора, я подошла к Гумилеву и пригласила его на танец. Должна заметить, что знакомы мы с ним не были. «Я не танцую, — ответил он мне, — но пре-

лестной девушке отказать не могу». Мы присоединились к танцующим и прямо-таки промаршировали как раз исполняемый оркестром вальс.

В «Дом искусства» я ходила на два семинара, одним из которых руководил известный тогда театральный режиссер Николай Николаевич Евреинов, создавший теорию, что жизнь есть театр, а Бог является высшим театрархом.

Одна из пьес Евреинова называется «Самое главное». Действие происходит в театральном агентстве, которое посылает артистов к несчастным людям, чтобы помочь им в жизни. Например, к одной очень некрасивой и одинокой девушке является симпатичный молодой красавец, он начинает ухаживать за ней, создавая иллюзию счастья. Пьеса переводилась на многие иностранные языки. На семинаре Евреинов читал лекции по драматургии, излагал свои идеи о разных формах театра. Я была в него влюблена и посвятила ему стихотворение «Христос и Арлекин».

Евреинов был близорук и по улице ходил с палкой. Часто его сопровождала одна из его поклонниц, дочь известного в Петрограде адвоката Нора Сахар. Вскоре Евреинов женился на актрисе Анне Кашиной. За границу они уехали уже после отъезда нашей семьи.

Другой семинар, на который я ходила, назывался «Стихосложение», его руководителем был Николай Степанович Гумилев. Гумилев был монархистом, абсолютным противником советского режима. Однажды, выступая в «Доме искусства» с рефератом по искусству, Гумилев обратился к публике со словом «господа». Встает какой-то гражданин и заявляет: «Господ больше нет, есть только товарищи и граждане». Презрительно посмотрев на гражданина, Гумилев ответил: «Такого декрета еще не было». Доклады и семинары Гумилева были всегда очень интересными. Студисты писали стихи, читали их на семинаре, обсуждали, а потом сам Гумилев разбирал эти стихи и давал им свою оценку. Я посвятила Гумилеву несколько, по-моему, совсем неплохих стихов.

Чудесное было время. Из глубины памяти вновь возникают перед глазами картины прошлого. Мы сидим за длинным столом. Морозная зима. Открывается дверь, и закутанный в шубу, в меховой шапке, входит Гумилев. Медленно снимает сначала шубу, потом шапку, садится на свое председательское место, достает черепаховый портсигар,

закуривает — и занятия начинаются. Весной после занятий некоторые студисты ходили с Гумилевым на прогулки по запустелым, заросшим травой улицам революционного Петрограда. Особенно четко сохранилась в моей памяти набережная Невы. О Неве я писала стихи еще в Петрограде, а затем и в первые годы эмиграции в Берлине.

В то время, когда я познакомилась с Гумилевым и начала заниматься в студиях «Дома искусств», жена Гумилева Аня Энгельгардт была в отъезде. У Гумилева было много любовных приключений: он часто влюблялся, и в него влюблялись. Я, конечно, тоже влюбилась в Гумилева, увлечению Евреиновым наступил конец.

В один прекрасный день на прогулке по набережной Гумилев сказал мне: «В квартире Оцупа состоится небольшая вечеринка, но взрослых на ней не будет. Это, вероятно, не для вас, ведь вы такая примерная девушка», — подчеркнул он. Мне минуло 21 год, воспитывали меня по всем правилам буржуазной морали, поэтому слова Гумилева меня только подзадорили: я решила непременно пойти на вечеринку.

В те годы в Петрограде был комендантский час, и после 8 вечера выходить на улицу воспрещалось, так что на вечеринке надо было остаться до утра. На вечеринку пришли Гумилев, поэты Георгий Иванов, Николай Оцуп, морской офицер Колбасьев, также писавший стихи, старшая дочь «придворного» тогда фотографа Наппельбаума Ида и я. Электричества не было. Мы бродили из одной комнаты в другую с керосиновой лампой в руках. Пили нечто отвратительное, приготовленное из денатурата. На следующее утро, придя домой, я написала стихотворение, в котором была такая строка: «Милые, милые, ночь оторвала меня!»

Но был человек, который трогательно любил меня. Это был поэт Константин Вагинов, в те годы еще Костя Вагинов. Он посвятил мне стихотворение, которое написал на книге моей любимой поэтессы Анны Ахматовой «Четки». В то время Вагинов писал очень сложные по содержанию лирические стихи. В памяти возникает облик Кости в длинной, переделанной шинели его отца. Он стоит во дворе нашего дома и машет мне на прощание рукой. Мы уезжаем насовсем. Костю я больше не видела. В первые годы пребывания в Берлине мы с ним еще переписывались, я посвятила ему несколько стихотворений. Уже после нашего

отъезда он стал довольно известным поэтом. Женился Костя на одной из студисток Гумилева, Шуре Федоровой. Как я потом узнала, умер он совсем молодым от туберкулеза.

Как-то, придя в «Дом искусств», услышала: «Не ходи к Гумилеву, там засада. Его арестовали, и в квартире сейчас сидят чекисты, подстерегают его друзей и знакомых». Помню, что пакеты в тюрьму Гумилеву носили три женщины: жена Аня Энгельгардт, Нина Берберова и Ида Наппельбаум. Получал ли он их, осталось неизвестным.

Недавно узнала от журналиста и литературоведа Наташа Федоровского, что расстреливал Гумилева сам Дзержинский. Студисты Гумилева заказали в Казанском соборе на Невском панихиду по рабу Божьему Николаю. Фамилии Гумилева, разумеется, произносить было нельзя. В день панихиды я случайно встретила на улице Анну Ахматову и, конечно, попросила ее прийти на панихиду, она пообещала прийти и пришла.

На смерть Гумилева я написала несколько стихотворений. Напечатаны они были в выходившей в Берлине газете «Дни», в которой я работала постоянной сотрудницей литературного отдела.

Вскоре после гибели Гумилева умер Блок...

*

Итак, умер Блок. Панихида состоялась на квартире поэта. Когда я пришла туда, комната, где стоял гроб, была переполнена, люди стояли в дверях. Гроб по улицам Петрограда несли шесть человек. Помню, кто-то сказал: «Если бы сейчас взорвалась бомба, в Петрограде не осталось бы в живых ни одного представителя литературно-художественного мира». Действительно, казалось, вся интеллигенция города шла за гробом поэта.

Вскоре мы навсегда уехали из Петрограда. В первый, но, увы, не в последний раз я так безнадежно, в таком отчаянии рыдала, уткнувшись лицом в подушку на уже проданной кровати. Я так не хотела покидать родину. В этот день закончился значительный и, несмотря на все трагическое, счастливый этап моей жизни.

*

Сегодня хочу рассказать о начале 20-х годов в Берлине, о литературных кругах русского Берлина того времени.

Поздней осенью 1922 г. с родителями, братом и сестрой я приехала в Берлин. От кого-то я узнала, что в кафе «Ландграф» на площади Нолендорф раз в неделю проводятся русские литературные вечера под названием «Дом искусства». Однажды меня пригласили на вечер, где я должна была выступить с докладом о петроградском Цехе поэтов и о «Звучащей раковине» (так называли себя студисты Гумилева). Кафе было переполнено. Председательствовал поэт Минский. Это был среднего роста, с довольно значительным брюшком, добродушный человек с лысиной, обрамленной седыми локончиками. Рядом с ним в президиуме сидела пожилая переводчица госпожа Венгерова. Стоя посреди зала, я рассказывала о творчестве петроградских поэтов, о «Доме искусства» в Петрограде, о Гумилеве, о его студии. Рассказала и об аресте и гибели Гумилева, о смерти Блока.

После доклада я прочитала несколько своих стихотворений петроградского периода. И вдруг произошло нечто для меня совершенно невероятное: со своего места встал и подошел ко мне Андрей Белый. Белый был очень знаменит в России, он был недосыгаемой знаменитостью. Еще в Петрограде я прочла два его романа — «Серебряный голубь» и «Петербург».

Итак, Белый подошел ко мне и попросил принести ему для литературного журнала «Эпоха», редактором которого он являлся, мои стихи. Издавал журнал Абрам Вишняк. Недавно мне рассказали, что он погиб мучительной смертью от рук гестапо.

Вишняк, однако, заявил, что в его журнале мои стихи напечатаны не будут. Это было большим разочарованием. Только что я испытала такой восторг и такую гордость! В утешение Вишняк обещал подарить мне флакон духов, от чего я, разумеется, с возмущением отказалась. В 22 года я была еще наивной и очень гордой.

Во всяком случае, так началась моя дружба с Андреем Белым.

Я бывала у него почти ежедневно: подавала ему чай, штопала его носки. Я чувствовала себя ужасно влюбленной. Теперь, когда все кануло в прошлое, я думаю, что мое чувство к Белому было не любовью, а уважением к такой литературной величине, гордостью и счастьем быть замеченной такой знаменитостью. Тогда я еще не знала, что для

Белого его увлечения мало значили, ведь он тогда же был «влюблен» в дочь хозяина ресторана, в котором часто проводил свои вечера.

Белый был человеком трудным и сложным. Я думаю, что он был крайне эгоистичен и любил только самого себя. Но, вероятно, многим гениальным людям, а Белый был гениален, с трудом дается общение с другими людьми.

В то время Белый работал над «Воспоминаниями о Блоке», переделывал и сокращал свой «Петербург», писал книгу «Глоссолалия», мало понятную для рядового читателя. Мне же Белый так ясно и подробно изложил ее смысл, что я смогла написать на книгу рецензию, опубликованную в «Днях», что сильно изумило моих знакомых.

Несколько слов о наружности Белого. В те годы, когда я встречалась с ним, ему было 40-42 года. Самое замечательное в его внешности были его глаза — зеленоватые, узкие, глубоко запавшие, они светились изнутри. Обрамляющие обширную лысину волосы свисали прядями, и дома он носил обычно ермолку.

Антропософом Белый стал под влиянием жены, Аси Тургеневой. Не помню, были ли они к тому времени разведены или нет. Во всяком случае, Ася приехала в Берлин, но не к Белому, как он надеялся, а к поэту Кусикову, другу Сергея Есенина и поэту довольно посредственному. Эта связь тяжело подействовала на Белого.

Некоторые эпизоды нашего знакомства вспоминаю очень отчетливо. На один русский литературный вечер Белый, пообещав прийти, не пришел. Минский попросил меня позвонить Белому и напомнить о его обещании. «Бенжамин, — так, намекая на мою молодость, называл меня Минский, — если вы попросите Белого, он явится непременно». Минский оказался прав: я позвонила, и Белый пришел.

Поначалу Белый жил на Пассауэрштрассе, а затем переехал в пансион на площади Виктории-Луизы. Часто по вечерам он ходил со мной в большое кафе неподалеку от пансиона на танцы. Он носил длинный черный сюртук, а вместо галстука — большой черный бант. Под ритмы уанстепа и шимми он танцевал со мной нечто им самим созданное, не имевшее никакого отношения к тогдашним модным танцам. Посетители кафе были в восторге от этого зрелища, и мне не раз дарили цветы.

Однажды Белый поехал в Свинемюнде, курортный городок на Балтийском море. Я последовала за ним. В городке было кафе, которое охотно посещали отдыхающие, по вечерам публике предлагались небольшие концерты типа варьете. Однажды во время выступления фокусника со сложными математическими трюками Белый, поднявшись со своего места, хладнокровно развенчал фокусы незадачливого артиста, математически доказав публике его обман. Мне показалось это слишком жестоким.

Мы снова в Берлине. Я опять каждый день навещаю Белого. Как-то, придя к нему, застаю его в очень расстроенном состоянии. «Что случилось, Борис Николаевич?» Оказывается, в Дорнахе произошел пожар, сгорел купол Гетеанума, а в нем, как утверждал Белый, находилась его голова, и теперь ему предстояло или тяжело заболеть, или даже умереть. Как я ни старалась убедить его в нелепости этих опасений, он долго не мог успокоиться.

Белый поглощал изрядное количество алкоголя, но пьяным его я никогда не видела. Впрочем, это и не удивительно, ведь я редко видела его по вечерам, обычно мы проводили вместе послеобеденное время.

В один прекрасный день Белому опостылел Берлин, и он отправился в небольшой городок Цоссен, что под Берлином. Несколько раз ездила и я в Цоссен. Тогда туда ходил еще паровоз, который тащился целый час. Путь от станции до дома, в котором жил Белый, пролегал по полю и был обсажен фруктовыми деревьями. От всего этого времени остались в памяти невзрачный домишко, холодная пустая комната, седая и бесцветная, как и ее платье, хозяйка дома.

Наши отношения начали сходить на нет с приездом из Москвы антропософки Васильевой, будущей жены Белого. Васильева напоминала мне по внешнему облику типичную русскую студентку. Одевалась она скромно, лицо ее было симпатично. Во всяком случае, она, по-видимому, имела сильное влияние на Белого, решившегося на возвращение в Советский Союз.

Берлинский вокзал «Цоо». Белый покидает Берлин. На перроне много провожающих, друзья, знакомые. Я тоже здесь. Поезд медленно трогается, Белый машет платком из окна вагона, пока окончательно не исчезает из виду, для

меня навсегда. Это грустное прощание означало еще один закончившийся этап в моей жизни.

*

На улице Пассауэр, в небольшом пансионе, жил Эренбург со своей женой Любовью Михайловной Козинцевой. С Эренбургами я была в большой дружбе, в особенности с Любовью Михайловной. Много раз бывала с ними в фешенебельном ресторане «Шванеке», где познакомилась с видными немецкими писателями Эрнстом Толлером, Акселем Эгебрехтом, Леонардом Франком.

Иногда Любовь Михайловна звонила мне и говорила: «Володя (они стали называть меня так после того, как в «Днях» под одной моей рецензией по ошибке напечатали подпись Вл. Лурье), Илья Григорьевич скучает, приходите его развлечь». Когда я приходила, Эренбург сажал меня на колени, изображая француза, разговаривающего с проституткой: «*Ma petite poule, ma petite poule...*», — и т.п. Эренбург выглядел очень неряшливо. У него не было передних зубов, на брюках постоянно отсутствовали пуговицы, волосы часто стояли дыбом*. В среде русской богемы рассказывали анекдот, что во время бракосочетания Эренбург не мог надеть кольцо невесте, так как должен был поддерживать грозящие упасть брюки. Писал Эренбург обычно в кафе «Прагердиле», где у него был свой постоянный столик, за которым вечерами собирались знакомые и друзья Эренбургов. Помню, как однажды в «Прагердиле» пришел со своей ручной крысой знаменитый русский клоун Владимир Дуров. Крыса сидела в открытом деревянном ящике, из которого она время от времени выходила, прогуливаясь по спинам присутствующих.

Частым гостем «Прагердиле» был находившийся тогда в Берлине Сергей Есенин. В «Днях» была напечатана моя не очень лестная рецензия на поэму Есенина «Пугачев». И вот однажды вечером Эренбург подводит меня к столи-

* Все это и впридачу злой язык Эренбурга приводили к разного рода смешным розыгрышам. Так, однажды Любовь Михайловна нашла под дверью их комнаты в пансионе коробку с мылом; конечно, она тут же нашлась, остроумно заметив, что наконец у нее будет достаточно мыла для стирки. В другой раз шутники подложили намордник.

ку, за которым сидит очаровательный русский юноша с белокурыми кудрями, и говорит: «Володя, позвольте познакомиться вас с поэтом Есениным». В этот момент я готова была провалиться сквозь землю. Есенин, поглядев на меня, укоризненно произнес: «Нехорошо, девушка, несправедливо».

Хорошо знакома я была с художником Лазарем Мейерсоном. Он жил тогда в одной комнате с таким же молодым и таким же бедным писателем Федором Ивановым. У них на двоих было одно пальто и одна пара приличных ботинок.

С Лазарем меня связывала романтическая дружба, от которой осталась на память книга рассказов Гофмана. Мы часто гуляли по вечерам, но, чтобы успокоить моего отца, брали с собой одну поэтессу, которую все звали смешным именем Татида, от нее мы при первой же возможности избавлялись на первом углу. Незадолго до прихода Гитлера к власти Мейерсон уехал во Францию, где стал известным художником-декоратором. Умер он совсем молодым.

Его друг Федор Иванов был очень красив, но только румянец на щеках выдавал его болезненное состояние. Иванов умер в Берлине от туберкулеза еще до прихода Гитлера.

Из художников была знакома с Иваном Пуни. Он был итальянского происхождения, обладал впечатляющей внешностью и, несмотря на то, что был женат, предпочитал дамам мужчин. Его жена, художница Ксана Богуславская, имела связь с поэтессой Феррари. Однажды в ателье Пуни состоялась вечеринка, на которую я пошла с Наташей Юшкевич, дочерью русско-еврейского писателя Юшкевича. Было много народу, шумно, пьяно, весело. Перед уходом всеми силами старавшаяся удержать меня Ксана, разозлившись, бросила мне в лицо: «Ведьма, с Эренбургшей можешь, а со мной не хочешь». В том, что было такое мнение о наших отношениях с Козинцевой, мы были сами виноваты: она называла меня «Володя» и в кафе пила кофе с ложечки. Кстати, еще несколько слов об Эренбурге. Мне он казался талантливее своих произведений. Он был очень умен, ироничен, насмешлив, но большой добротой к людям не отличался. Свою жену называл «Люба-Вы», она в свою очередь тоже разговаривала с ним на «вы, Илья Григорьевич».

На этом прерываю свои воспоминания. Быть может, мне удастся однажды преодолеть свою лень, и тогда я расскажу еще что-нибудь из моей жизни.

ЛУРЬЕ Вера Иосифовна родилась в 1902 году в Санкт-Петербурге. Живет в Западном Берлине. Публиковала воспоминания в газетах Русского Зарубежья. Данный текст — фрагменты переписки из архива Ренэ Гера.

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие соотечественники!

Перестройка в нашей стране встречает организованное сопротивление. Откладывается принятие основных экономических законов — «О собственности», «О предприятии» и важнейшего закона — «О земле», который дал бы наконец крестьянству право быть хозяином. Верховный Совет СССР не включил в повестку дня Съезда вопроса о статье 6 Конституции СССР.

Если не будет принят Закон о земле, пропадет еще один сельскохозяйственный год. Если не будут приняты Законы о собственности и предприятии, министерства и ведомства по-прежнему будут командовать и разорять страну. Если статья 6 не будет изъята из Конституции, кризис доверия к руководству государства и партии будет нарастать.

Призываем всех трудящихся страны: рабочих, крестьян, интеллигенцию, учащихся — выразить свою волю и провести 11 декабря 1989 года с 10 до 12 часов дня по московскому времени всеобщую политическую предупредительную забастовку с требованием включить в повестку дня второго Съезда народных депутатов СССР обсуждение Законов о земле, собственности, предприятии и 6-й статьи Конституции.

Создавайте на предприятиях, в учреждениях, в колхозах, совхозах, в учебных заведениях комитеты по проведению этой забастовки!

Собственность — народу!

Земля — крестьянам!

Заводы — рабочим!

Вся власть — советам!

Народные депутаты СССР:

А.Д.Сахаров, В.А.Тихонов, Г.Х.Попов,

А.Н.Мурашов, Ю.Д.Черниченко*, Ю.Н.Афанасьев

Москва, 1 декабря 1989

* Через несколько дней снял свою подпись. К обращению присоединились еще 27 депутатов.

Наш друг, наш защитник

Памяти С.В.Калистратовой

В недавнем интервью в «Огоньке» Семен Глузман сказал о том, что от Софьи Васильевны Калистратовой получил документацию, которая позволила ему провести заочную психиатрическую экспертизу П.Г.Григоренко. Думаю, сейчас, над ее гробом, можно и нужно сказать еще о многом, что делала Софья Васильевна и что до сих пор было известно лишь немногим — тем, кто получал от нее помощь, по существу, подпольно.

Ее открытая деятельность защитника на политических процессах широко известна: мне самой выпала честь быть ее подзащитной, и если ей не удалось спасти меня от спецпсихбольницы, то запись процесса, появившаяся в «Хронике текущих событий», и где-то хранящиеся судебные протоколы показывают, как она боролась за меня и за справедливость, как своими вопросами и ходатайствами заставляла суд и экспертов саморазоблачаться, показывать себя в их истинном облике служителей произвола.

Бывало, ее спрашивали, зачем она так старается: не для судей же, когда приговор предрешен, не для публики, когда она за дверью, — Софья Васильевна говорила, что пусть правда сохранится хотя бы в протоколах, или, например, про мой суд: «...для одного заседателя», — в котором ей почувствовался человеческий интерес к делу. А однажды (дело Яхимовича) ей удалось и заставить суд отказаться от своей роли, пусть не до конца (суд послал Яхимовича на новую экспертизу, но не заслал, как было велено, в психиатрическую тюрьму), а прокурора-женщину — рыдать после окончания суда и клясться, что никогда больше, никогда...

Но все это, с большими или меньшими подробностями, известно. В ее жизни конца 60-х — начала 70-х годов было и другое. Достаточно сказать, что без ее прямого участия не были бы такими полными ни запись процесса Виктора Хаустова в книге Павла Литвинова «Дело о демонстрации на Пушкинской площади», ни запись суда над демонстрантами и кассационного разбирательства в моем «Полдне», ни документация Владимира Буковского о психиатрических преследованиях по политическим причинам.

С «Полднем», казалось бы, дело обстояло легче, чем обычно: на «открытый» процесс допустили по пропускам много род-

ственников, и, хотя делать записи было вообще запрещено, а, случалось, их отбирали, все-таки очень многое было записано и сохранилось. Тем большей оказалась вероятность ошибок и путаницы при восстановлении хода суда по разрозненным, обрывочным записям. Притом что восстанавливала я, вообще не присутствовавшая на процессе. Мне на помощь пришла Софья Васильевна, внимательно прочитав, поправив, отредактировав обе записи: Мосгорсуда и кассационного.

От нее же я узнала и некоторые детали своего первого акта экспертизы, а уж второй, по которому меня судили, попал в документацию Буковского.

Из того, что я рассказала, видимо, не ясно самое важное: это были не «деловые», а, несмотря на разницу лет, дружеские отношения. Прийти за такой помощью было нетрудно только после многих вечеров, проведенных в ее комнате коммунальной квартиры на Воровского, за чаем, под ее захватывающие рассказы из юридической практики, под ее нередко скептическим, полезно охлаждающим взглядом. Она была нашим юридическим наставником, и мы усиленно пускали в ход полученные знания, ловили судей и следователей на малейшем процедурном нарушении. Но она же как-то сказала: «В сравнении с уголовными, ваши суды проходят еще, можно сказать, с идеальным соблюдением УПК. Если б вы знали, что делают с уголовниками...» Многие ее рассказы были подтверждением этого.

Все мы, общавшиеся с Софьей Васильевной, мечтали быть ее подзащитными. (В том, что сядем, раньше или позже, не сомневались — и не ошиблись.) К ней, в эту комнату на Воровского, я пришла и 23 августа — сказать, что мы идем в воскресенье на демонстрацию. Не договориться с адвокатом пришла, а человеку, к которому испытывала величайшее доверие, сказать о самом важном, что мне предстояло. Она вздохнула грустно и скептически, дала несколько практических советов, а потом мы опять пили чай.

А потом, куда позже, не посаженная сразу с остальными, я все-таки села, и Софья Васильевна меня защищала, и они подружились с моей мамой и так уже и дружили после моего отъезда, когда меня давно уже ни от кого не надо было защищать...

А теперь вот — нет больше Софьи Васильевны.

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ

5 декабря 1989

Большевики за годы своего безумного правления уничтожили в России тысячи церквей. Сейчас начинается период отрезвления. Власти, нехотя и частями, уступают народу, отдавая поруганные святыни и разрушенные храмы.

Недавно принято решение о возвращении верующим собора Петра и Павла в Петергофе.

Он был построен в 1894-1905 гг. архитектором Султановым. Здание имеет пирамидальную форму и увенчано пятью главами с шатровыми покрытиями и золочеными луковицами над ними. Высота средней главы с крестом — 70,5 м. Поля стен облицованы красным кирпичом, архитектурные — желтого камня. Внутри храм был расписан московско-ярославским орнаментом очень красивого и чистого стиля. Стенная живопись была исполнена московскими и палехскими иконописцами и отличается необыкновенным изяществом. «По своим размерам и оригинальности собор является, бесспорно одним из замечательнейших храмов Петербурга и его окрестностей», — писал М.И. в «Путеводителе по Петергофу. К 200-летию его основания» (СПб., 1909).

В настоящее время наружная часть, реставрируемая государством второе десятилетие, приближается к былой красоте, но внутренние помещения находятся в катастрофическом положении из-за сырости и полувековой бесхозности (подвал залит водой, отсутствует вентиляция, отопление и др.).

Скудные средства в советских рублях, которыми располагает епархия, не дадут возможности предотвратить катастрофу полного разрушения покоробленных и осыпавшихся росписей. Кроме того, нужна **ваша**, а не советская техника.

Просим вас, граждане свободного мира, помогите в силу ваших возможностей.

Деньги следует переводить во **Внешний экономический банк СССР в Ленинграде, ул. Герцена, 29, счет №57000046**, сопроводив припиской: **Пожертвование благотворительное на восстановление собора Петра и Павла в Петродворце.**

Заранее благодарим вас.

Инициативная группа верующих

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Евгений Зв я г и н

ЧТО ТАКОЕ «БОГЕМНЫЕ ХРИСТИАНЕ»?

Читателю, впрочем, и так ясно в общих чертах, что за птица за такая — «богемный христианин». В большей или меньшей степени он и сам сюда принадлежит, или общался, или наблюдал. Но явление заметное — оно не было толком в литературе обозначено и заинтересует если не современников, то хоть будущих историков; впрочем, как повернется. Вообще понятие «богема» относится скорее к кругу окололитературному, околхудожественному, окол-артистическому. Характеризуется оно, прежде всего, крайней степенью плотского и духовного разгильдяйства. В начале века, впрочем, существовала в России еще богема политическая. В наше время ее место заняла разновидность, казалось бы, в природе невозможная, по парадоксальности сочетаемых сущностей, — богема «духовная» и, как ее подвид, — богемные христиане. Входят в него люди разного возраста — от двадцати до сорока, но преобладание — молодежное.

Казались они эфемеридами, первые представители этого летучего племени, пригнездившиеся где-то у подошвы шестидесятых.

Слонялись, помнится, двое братьев-проповедников; кто-то удачно их обозначил — «апостолы злчных мест». Смотрелись они экзотично — в вязаных шлемах каких-то из грубой шерсти, с раскудрявыми бородами и нематыми шеями, выражались темно и для чуткого уха ужасно. Боязно пересказывать ту бессвязную и в значительной степени богохульную чепуху, которую они ничтоже сумняшеся проповедовали. Однако же слово, исковерканное опасным, бессветлым юродством и самодельною рассудительностью, тогда прижилось — ибо много скопилось ищущих душ, алчущих и жаждущих правды, и, даже усеченная и компрометированная в изустной непочтительной хлестовне, она привлекала.

С годами эти люди распространились, явление оформилось и приобрело некие стойкие, неотчуждаемые черты. Первый и главный элемент его — игровой.

Вообще элемент неосознанной игры присущ современному человеку. Двойное мышление — психологическая черта, отмеченная еще Оруэллом, — пережило свой твердый социальный характер и приобрело отчасти игровой. В «духовной» сфере, как и в прочих, это проглядывает с большой очевидностью. Совершая некий психологический перенос, люди, интересующиеся, скажем, йогической литературой, называют себя йогами. Буддийской — буддистами. И так далее. Вспоминается недавняя беседа (очень характерная) с одним из знакомых. Он рассказывал о некоем христианском кружке следующее: «Раньше они на дзене кайф ловили, а теперь на христианстве торчат».

Эдакое «торчание» на существенном, игровому подходу не подлежащем, и создает главный контекст «богемного христианства». Юноши, воспитанные в духе атеистическом, впитавшие атмосферу религиозного индифферентизма, не могут прийти к чистому верованию в простоте и искренности. По крайней мере — сразу. Не хватает им ни терпения, ни, тем паче, смирения, противоположного общепринятой установке на гуманизм. Годами они «интересуются» вопросами религии, «играют» в духовное. Издержки воспитания (не столь уж бездейственного и бессильного, как принято считать) — годами не изживаются. Моральный климат, по природе своей — языческий, позволяет им, махнув рукой на сущность доктрины, ими же провозглашаемой, сказав: «А, это дело другое», — поступать по иным, черным заповедям, неписаным, но имеющим место быть. Поэтому так характерны для этого круга оргиастические эксцессы, «пьянство, сытость, блудострасть» — по выражению современного поэта. Потому-то и становится возможным в реальной жизни противоестественное сочетание богемного и христианского.

Размягчающее, инфантильное веяние «хиппейной» культуры, идущее отчасти с Запада, приводит к тому, что в особенности двадцатилетние живут только мечтою — не делом. Это относится не только к сфере религиозной. Часто вызывает раздражение простая, казалось бы, просьба, обращенная к юноше, называющему себя писателем или художником: «Дай почитать рассказ» (или — «картину по-

кажи»). Высказав подобную просьбу, чувствуешь, что нарушил некую неписаную заповедь, которую можно сформулировать приблизительно так: «Торчи и дай торчать другим», — заповедь, утверждающую жест, приносящую удовольствие и щекочущую тщеславие игру в дело, но не само делание. Так и христианство свое подают они миру казовым концом, а с другого — какой только дряни не накопилось!

Играют по-разному. Поют по пьянке акафисты. Вальяются на полу и целуются. Говоря о духовном, переходят вдруг на киношное оканье. И так далее, и тому подобное.

Другая, и не менее существенная черта, отличающая «богемного» христианина, — это твердое и невозмутимое сознание собственной исключительности. Весьма поверхностная «нахватанность» в вопросах церковно-религиозных и любовь к разговорам на эту тему воспринимается как некая нравственная регалия, возвышающая их над сонмом непосвященных. Происходя из различных социальных слоев, обладая разным уровнем образования и интеллекта, все они сходятся на том, что их круг — «самое то», «самотá», по сочному выражению одного из характернейших представителей «богемного христианства». Плотники и рыбаки, окружавшие Христа, показались бы многим из них недостаточно «подкованными». С простецкой бабкой, всю жизнь проходившей в храм, мало кто из них найдет общий язык. А в иную минуту, наблюдая пьяного и сквернословного «братца», она и сама с ужасом отвернется.

Итак, глубокий духовный труд разменян игрой, страх Божий — гордым сознанием исключительности. Сомнения, и немалые, вызывает также характер богемной «соборности». Реализуется эта «соборность» через маленькие кружки — «хунты». Что же такое «хунта» в разрезе?

Приходишь в какую-нибудь замусоренную комнату. Сидят на диване два-три «плановых», посылая друг другу сладко дымящую папиросу. Глаза томные. У стола кто-то «давит» из общего стакана темную «бормотуху». Некий юноша, очень на вид «голубой», жеманное что-то плетет милым голосом. Девушка, не сказать, чтоб слишком причесанная, где-нибудь у трюмо примостилась, мусолит пухлую книгу, не то — отца Павла Флоренского, не то — Иоанна Крон-

штадтского. Запах «дури» ей не мешает. Кто-то спит на пальто — ему уже хорошо.

Итак, подобное стремится к подобному. Зачем же пилили первых христианских великомучеников, вздергивали на кресты, скармливали хищным зверям? Ради этого сомнительного комфорта? Что-то не очень верится. Слова «где двое соберутся во Имя Мое» — очень трудно сюда отнести. Непуганная какая-нибудь рабочая девочка — и та затоскует, никогда уж сюда не вернется.

Каковы же мотивы этой случайной общности? Мотивы — атавистические, идущие из глубины времен, от древних языческих цивилизаций, где людей соединяла не общность духовного идеала, основанная на личном приятии Благой Вести, а та массовость, муравьиность, которая делала человека слепую частицей, инстинктивно лепящейся к огромному человеческому организму, осознающему себя только в целом; подобный характер мироощущения унаследован позже татаро-монгольской ордой, оттуда он и в России укоренился и существует как далекий, ослабленный в «хунту», но вот ведь — живучий инстинкт.

Короче, корни «богемной соборности» — корни языческие. И атмосфера «хунты» об этом убедительно свидетельствует.

Таковы, вкратце, черты богемного христианства. Замечу, что не считаю это состояние, относительно распространенное, состоянием твердым и окончательным. Для большинства — тех, кто сохранил крепкий нравственный инстинкт, оно — переходно. С годами они принимают более строгое и чистое исповедание. А некоторых (самых защищенных) и вообще в «богемное христианство» не занесло. Жизнь свою они строят прямо по евангельским заповедям. Или, во всяком случае, стараются так построить.

Да и в самом этом движении — не только дурное содержание. Поиски лучшего, идеального накладывают на его представителей свой романтический отпечаток. Да и нельзя же, право, повторять святые слова, ничего в себя не впитав. Хочется думать, что характер движения изменится, богемный дух свой оно переболеет. Как-то, по-моему, к этому делу клонится.

ИСКУССТВО

Дмитрий Хмельницкий

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

В марте-апреле 1989 года в Западном Берлине прошла выставка «Концепции советской архитектуры 1917-1988 гг.». Первое впечатление от нее было прекрасное. Наконец, подумал я, началась перестройка и в официальном архитектуроведении. Чертежи из московского музея им. Щусева проиллюстрировали в первую очередь самый любопытный период истории советской архитектуры — переход от 20-х годов к 30-м, события которого хронологически развивались так.

В 20-е годы в СССР существовали разнообразные архитектурные направления, но подавляюще преобладал русский вариант стремительно набиравшей силу во всем мире «современной архитектуры». Его условно, по самоназванию одной из крупных художественных группировок, называют конструктивизмом. Сторонники традиционной «академической» архитектуры не имели практически никаких шансов на успех, да и сами потихоньку начали перестраиваться. Не только универсальный до полной беспринципности Щусев, но даже и Жолтовский небезуспешно пробовали свои силы в конструктивизме.

И вдруг всё, как по волшебству, изменилось. Конструктивизм скоропостижно, за 2-3 года, скончался, и на его обломках возникло стройное здание новой, основанной на «изучении классического наследия» архитектуры. Конечно, самоубийством это нельзя было назвать. Конструктивизм погиб в результате целой серии правительственных постановлений и конкурсов, которые объяснили архитекторам, что и как следует строить. Были разогнаны независимые художественные объединения и создан единый Союз архитекторов СССР, который начал проводить в жизнь решения партии и правительства. Настало время конструктивистам, если они хотели сохранить профессию, перестраиваться и «овладевать наследием». Так называемый «сталинский ампи́р» быстро прошел несколько стадий раз-

вития, перешел от упрощенного, с явным конструктивистским душком классицизма к дворцовой пышности, достиг апогея после войны — и был в одночасье уничтожен начатой Хрущевым в 1956 году кампанией «борьбы с архитектурными излишествами». Были открыты информационные барьеры. Изумленные советские архитекторы, двадцать пять лет лишенные контактов с западной культурой, получили в подарок абсолютно зрелую современную архитектуру и стали приспосабливать ее к новым, крупнопанельным методам строительства.

Архитектурная идеология и даже терминология растаяли без следа, словно их и не было. Вот тут-то и начались мучения советских искусствоведов: объяснить всю серию катаклизмов в истории советской архитектуры с точки зрения нормальной художественной эволюции было решительно невозможно. Раньше было проще, для сталинской архитектуры конструктивизм был злейший враг, буржуазный пережиток, пытавшийся подорвать здоровые народные начала советской архитектуры. Над ним глумились, не стесняясь в выражениях. После 1956 года конструктивизм оказался реабилитированным. Как же относиться к сталинской архитектуре? Хорошая она или плохая?

Авторы первой послесталинской «Истории советской архитектуры», вышедшей, кажется, в 1962 году, рассуждали примерно так: архитектура тогда была хорошая, красивая, но слишком дорогая, поэтому от нее пришлось отказаться. В 70-е годы, когда я учился в ленинградской Академии Художеств, никакого определенного мнения на этот счет просто не существовало, история архитектуры 30-50-х годов представляла собой набор имен и сооружений. Наши преподаватели даже не делали попытки объяснить, откуда эта архитектура взялась и куда делась. В крайнем случае, пожимали плечами: время было такое. В 1985 г. вышла новая «История советской архитектуры», ее авторы уже имели на этот счет определенное мнение. Они полагали, что причиной архитектурного перелома начала 30-х годов было «изменение эстетического идеала общества»: «К 30-м годам социально-культурный контекст изменился. Жизнь заметно улучшилась, облегчилась, и противоречащий этой глубинной тенденции аскетизм оказался неуместным и резко отторгался общественным сознанием... Для решения новых задач высокого идеологического звучания прежние сред-

ства архитектурной выразительности оказались недостаточными, а то и вовсе непригодными».

Эту бессовестную ложь, очевидную всем, кто хоть немного знаком с основными этапами советской истории (начало 30-х годов — время страшного обнищания и массового голода в СССР), можно объяснить тем, что книга писалась в самые глухие годы брежневского «застоя».

И вот теперь наконец — эта выставка, честно демонстрирующая белые и черные пятна советской архитектурной истории, показывающая, как калечилось, уродовалось творчество одних архитекторов, судорожно пытающихся приспособиться к новым требованиям, и как стремительно набирали силу другие, которые с самого начала тяготели к тоталитарному способу художественного мышления. Да еще в Германии, в Берлине, где жил и работал Альберт Шпеер, где до сих пор уцелели грандиозные ансамбли гитлеровских времен и где интерес к тоталитарному искусству вообще носит совсем не случайный характер.

Выставка сопровождалась прекрасно (хотя и торопливо, с множеством опечаток) изданным каталогом на двух языках, немецком и русском. Я прочел статьи советских авторов, напечатанные в каталоге, и понял, что свалил дурака и что на самом деле смысл выставки был прямо противоположен тому, который я вообразил себе, рассматривая ее экспонаты.

Статьи предваряются «Введением», которое написал Ханс-Иоахим Ризеберг. Его взгляд на историю советской архитектуры более чем доброжелателен и наивен. Он, например, полагает, что только во время войны культ Сталина настолько усилился, что это привело к «самоизоляции» архитектуры и других областей культуры, и что только архитектура 1945-1953 годов заслуживает названия «сталинской». На самом деле, все это произошло на десять лет раньше (Союз архитекторов создан в 1932 г.), а послевоенный советский «цукербеккер-стиль» — результат 20-летнего последовательного развития сталинского «ампира».

Гораздо серьезнее другое утверждение, в котором, видимо, выражен взгляд г-на Ризеберга на выставку в целом: «...Ясно, однако, что ни в коем случае нельзя сравнивать архитектурный стиль Советского Союза 30-х годов с архитектурой фашистской Германии. 30-е годы должны рассматриваться как первая послереволюционная эра в СССР, и

в области архитектуры она далеко не ограничивалась рамками авторитарных структур, как это было в других культурных областях... В чертежах заметно, что здесь представлен на обозрение не пустой пафос фашистской архитектуры, но что советский традиционализм достигает соответствия между внешностью и содержанием, что городские постройки носят торжественный характер, который все-таки не подавляет, а возвышает человека, помогает ему втянуться в общие идеи социалистического общества. И даже здесь — огромная разница между ним и однообразной архитектурой Третьего Рейха».

Согласен, между нацистской и сталинской архитектурой есть определенные психологические различия. Советская архитектура создавала иллюзию восторженной торжественности, в то время как нацизму был более свойственен мрачный мистический романтизм (к слову сказать, среди составляющих сталинского ампира можно найти примеры, очень близкие нацистским образцам, — это зависело от личного темперамента архитектора). Но противопоставлять «пустому пафосу» гитлеровской архитектуры глубину и идейную насыщенность сталинской можно, только исходя из особой тенденциозной сверхдоброжелательности. История знает такие примеры. В 1937 г. Лион Фейхтвангер был в Москве и присутствовал на одном из страшных процессов того времени. Он, видимо, так ненавидел Гитлера и так хотел увидеть в Сталине его естественного врага, что поверил всему, что увидел. Он написал книгу, где представил Сталина скромным, заботливым вождем преданного ему и любимого им народа. Эта книга осталась в истории грустным примером сознательного самообмана умного человека. Впрочем, Фейхтвангер, кажется, скоро убедился в своей ошибке.

В любом случае, точка зрения г-на Ризеберга требует серьезных доказательств. Такие доказательства взялась обеспечить советская сторона, и это самое интересное: за «Введением» следуют две программные статьи А.В.Рябушина и А.В.Иконникова, оба они широко известны в СССР и имеют репутацию солидных искусствоведов. В наивности или неведении их обвинить трудно. Статья Рябушина называется «Авангардная архитектура 20-30-х годов». Первая часть ее посвящена довольно поверхностному обзору архитектурных событий этого времени. Правда, на фоне обя-

зательных в таком случае комплиментов по адресу различных архитекторов и зданий дико выглядят такие фразы, словно переписанные из старых учебников: «Советское правительство, занимаясь в этот период первостепенными по важности политическими и экономическими вопросами, не оставляло без внимания развитие художественной культуры. Исторических аналогов не было... Социалистическую культуру приходилось создавать в сложном переплетении старого и нового, передового и консервативного... Но это развитие не протекало стихийно, оно тщательно анализировалось в свете коммунистической идеологии и конкретных задач построения социализма в стране. На длительную историческую перспективу закладывались основы партийной политики в области культуры, искусства, архитектуры».

Можно подумать, что никакой культуры в России раньше не было или ее не стало и миссионеры-большевики были вынуждены нести аборигенам свет новой цивилизации. Что это была за цивилизация, мы теперь хорошо знаем. И уважаемого искусствоведа сейчас, в 1989 г., совсем не смущает такой метод партийного управления культурой. А ведь именно он вызвал тогда, в начале 20-х годов, массовое бегство из СССР русской художественной элиты, писателей, художников, музыкантов.

Самое интересное начинается, когда речь заходит о причинах художественной переориентации начала 30-х годов. А.В.Рябушин считает, что «межгрупповая борьба мешала прогрессивному развитию во всех областях советского искусства». Он одобрительно пишет о том, что после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932) были ликвидированы все архитектурные группировки и создан единый Союз советских архитекторов. После этого, по его словам, «сама архитектура перестала нравиться». И объясняется это, по Рябушину, тем, что экспериментальные формы новой архитектуры «опрощались рядовыми проектировщиками... становились постепенно новым штампом — унылым и монотонным — особенно в глазах неискушенного массового потребителя». И далее: «В этих условиях по меньшей мере неуместно говорить о каком-либо диктате сверху — недовольство стихийно назревало снизу. Пресса буквально пестрела критическими высказываниями... Назревала кризисная ситуация разлада эстетических возможностей но-

вой архитектуры с реальными ожиданиями и потребностями широких слоев общества».

Неясно, когда успела новая архитектура надоесть массовому потребителю, если реальное строительство еще едва началось. Впрочем, все объяснение выглядит нелепостью, если вспомнить, что к 1932 году никакие независимые рецензии в прессе давно уже не были возможны, что еще в 1930 г. пресса по указке сверху затравила Булгакова, что «реальные ожидания и потребности общества», на которое обрушился массовый террор коллективизации и голод, никого уже не интересовали.

Однако Рябушин полагает, что главную роль в повороте массового и профессионального сознания сыграло изменение эстетического идеала общества. Что язык архитектуры 20-х годов своей простотой и аскетизмом соответствовал тогдашним условиям жизни, «подчас требовавшим сурового самоограничения». Но «к 30-м годам социально-культурный контекст изменился» — и далее следует точная цитата из упоминавшейся «Истории советской архитектуры» 1985 года, где утверждается, что жить стало намного лучше и потому прежние средства художественной выразительности оказались недостаточными.

Другую причину перемен Рябушин видит в резком разрыве архитектуры 20-х годов с традицией. Забыв, как сам хвалил несколько страниц назад конструктивистов, пишет он, что «архитектурные формы 20-х годов, сконструированные по узким законам профессиональной логики, были... понятны рафинированному художественному сознанию, но мало что говорили воображению народных масс», что упрощенная архитектура 20-х годов была для потребителя лишь «неприятным напоминанием о бедствиях и лишениях». В то же время классика была понятна всем и вызывала глубокий пиетет в различных слоях общества, и потому курс на освоение наследия был вполне естественным.

Надо ли напоминать, что все было как раз наоборот, и если массовому потребителю и могло быть в это ужасное время какое-то дело до архитектурных проблем, то ассоциироваться «новая» архитектура могла лишь с относительным экономическим благополучием середины 20-х годов, а бедствия и лишения начались позже, и они-то сопровождались поворотом к классике.

С тем же радостным воодушевлением, с каким он писал о конструктивизме, пишет теперь Рябушин об архитектуре, выросшей на его, конструктивизма, костях. Особенно тепло он отзывается о проекте Дворца Советов и его авторе Иофане, на что решались немногие: Иофан даже в ряду своих коллег по стилю отличался бездарностью — это видно во всех его крупных сооружениях (Дворец Советов, павильон СССР на выставке в Париже 1937 г., жилой дом на Берсеневской набережной в Москве). Дворец Советов много лет оставался главным мифом советской архитектуры. Чудовищный монумент, увенчанный стометровой фигурой Ленина, на десятилетия определил круг стилистических и образных проблем, которые отныне следовало решать советским архитекторам. Конкурс на Дворец Советов был использован Сталиным для того, чтобы объяснить архитекторам, чего от них ждут. С этого момента никакие дискуссии о новых типах жилья и принципах расселения, которые бурно велись до 1930 года, стали невозможны. Архитектура переключилась на строительство идеологически ориентированных зданий — министерств, театров и партийных резиденций.

Во всем этом Рябушин не видит ничего дурного: «Нужна была иная, чем в 20-е годы, архитектура — непременно монументальная, чтобы средствами еще более внушительными, чем в давние эпохи, запечатлеть величие новой действительности; непременно яркая, сразу же запоминающаяся, в каком-то смысле даже агитационно-пропагандистская, плакатная, чтобы в сознание человека любого уровня подготовки (ведь плоды культурной революции еще впереди) мгновенно и глубоко внедрить целый комплекс образно выраженных идей, закрепляющих веру в победу и светлое будущее социализма».

Действительно, эти слова прекрасно передают смысл победившей в советской архитектуре тоталитарной психологии. И так ли уж она далека от психологии нацистского искусства, как это кажется г-ну Ризебергу?

Завершает свою статью Рябушин так: «Поворот в архитектуре был неотвратим. Он назревал изнутри, подспудно, а главное — давно. Только этим и можно объяснить удивительно быстрое... появление многочисленных зданий нового направления». Вероятно, такая формулировка вполне устроила бы официальное советское архитектуроведение

недавнего прошлого. Боюсь только, что обосновать ее Рябушину не удалось.

Впрочем, другую подобную попытку предпринял в этом каталоге А.В.Иконников. Его статья «Историзм в советской архитектуре» показалась мне еще более интересной. Первая часть этой статьи, где говорится о влиянии исторических стилей на новую архитектуру 20-х годов, увлекательна и возражений не вызывает. Действительно, почти все лидеры новой архитектуры получили «классическое» образование, и это тем или иным образом, хотя бы в виде сознательного отрицания, сказывалось на их творчестве. А рядом работали весьма уважаемые, хотя и терявшие популярность мастера, которые историзму и не изменяли.

Иногда, правда, можно споткнуться о фразу типа: «Социальная ответственность определяла демократичность и практицизм как необходимые черты советской архитектуры, проходящие сквозь все периоды ее развития» (пример — Дворец Советов? — Д.Х.), но это воспринимается еще почти как случайность. Чудеса начинаются, когда рассказ подходит к 1930 году. Здесь снова заходит речь об изменении массового сознания, но подход Иконникова к этой теме много тоньше, чем у Рябушина. Вначале говорится о том, что после 1928 года в связи с форсированным развитием промышленности резко ускорились процессы урбанизации, роста городов. Поэтому на первый план вышли проблемы формирования городских структур, к которым конструктивисты и рационалисты не были готовы. То есть они проводили интереснейшие дискуссии и создавали блестящие проекты, но все исключительно утопические. И только сторонники историзма, перерабатывавшие модель города русского классицизма начала XIX века, предлагали решения, которые можно было использовать немедленно. Надо понимать так, что градостроительные идеи начала прошлого века оказались более полезными в решении проблем урбанизации 30-х годов XX века, чем предлагавшиеся конструктивистами «утопические» идеи новых городских структур.

(Кстати, и Рябушин, говоря о новых идеях расселения и, в частности, о проекте «зеленого города» под Москвой М.Гинзбурга, пишет: «...разумеется, ни один из подобных утопических проектов не был реализован даже частично». Следует понимать — из-за своей утопичности.)

Кроме того, по мнению Иконникова, в это время изменяется отношение массового сознания к понятию «дворец». Раньше «дворцовость» была символом классово-враждебных сил, а теперь стала символом торжества нового строя. Почему это произошло — он не объясняет, отмечая только, что многочисленные Дворцы Советов, культуры, пионеров и пр. «утвердились как типы зданий, возникавшие во всех активно развивавшихся городах».

Однако о решительном повороте к классицизму речь, по мнению Иконникова, пока не идет. Такие здания лишь получили некие визуальные знаки дворцовости — «симметрия, торжественный, сильный ритм вертикальных членений, напоминающий об ордере, крупный масштаб форм, монументальность». Автор полагает, что стилистической определенности такие знаки не навязывали, хотя все перечисленные признаки являются стилистической характеристикой именно классицизма. Барочный дворец, например, под такое описание категорически не подходит.

Весь рассказ Иконникова выглядит убедительно лишь при полном незнании социально-исторического фона, на котором происходила тогда художественная переориентация. А происходило следующее.

До 1927 года, пока наследники Ленина боролись за власть, культура и отчасти экономика советской России были относительно независимы от этой власти. В 1927 году Сталин, победив соперников, начал планомерно проводить свои политические, экономические и культурные реформы. За несколько лет страна была полностью реорганизована. Крестьян насильственно согнали в колхозы, 10-15 миллионов были репрессированы, отправлены в лагеря или необжитые районы Сибири. От массового голода в 1931-1934 годах погибло еще 4-6 млн. человек. Несмотря на введение паспортной системы, целью которой было воспрепятствовать свободному перемещению людей внутри страны, крестьяне, спасаясь от голода и террора, массами бежали в города, где пытались устроиться на многочисленные стройки. Этот процесс Иконников называет красивым научным словом «урбанизация». В 30-х годах экономической основой индустриализации — планов строительства военной промышленности — стало рабовладение. Страну покрыли концентрационные лагеря. Вскоре положение свободных рабочих уже мало отличалось от положения заключенных —

в 1938 году был принят закон, запрещавший самовольно менять место работы. О разгоне независимых художественных объединений и создании централизованных «творческих» союзов говорилось выше. Художественную атмосферу в стране хорошо передает такой эпизод: в 1937 году делегация первого Всесоюзного съезда архитекторов посетила Молотова, тогда второго человека в стране и председателя жюри конкурса на Дворец Советов. Архитектор Чернышев вспоминает, как кто-то из присутствующих стал ругать постройки немецкого архитектора Эрнста Мая, который работал в СССР и уже успел уехать. «Жаль, что выпустили, — сказал Молотов, — надо было посадить лет на десять».

Что касается градостроительных идей 20-х годов, то все не «утопичность» сыграла роковую роль в их судьбе. На Западе подобные идеи утопичными не казались — из них выросло все современное градостроительство. Они просто оказались не нужны — с начала 30-х годов в СССР больше не строили массового жилья, так что проблемы расселения отпали сами собой. Градостроительные же идеи начала XIX века, времени ампира, оказались как нельзя более кстати: ведь задача, которую поставила перед архитектурой власть, заключалась в создании нового «ампира» — стиля империи.

Так что не стоит удивляться популярности «дворцов» в массовом сознании 30-х годов. Именно на создание нового типа дворцовых ансамблей и была переориентирована вся советская архитектура, начиная с конкурса на Дворец Советов. Полностью изменилась типология архитектуры. Теперь в сфере интересов архитекторов могли находиться только здания, которые можно было интерпретировать в дворцовом духе: министерства, партийные и правительственные резиденции, театры и немногочисленные жилые дома для высших чиновников. Причем сами эти дома утратили атмосферу жилой среды и превратились в богатые казармы, декорирующие центральные улицы городов.

Все это наглядно демонстрируют экспонаты выставки.

Зная это, трудно поверить Иконникову, утверждающему далее, что «при всех противоречиях и трудностях экономического развития 30-х годов уровень жизни в городах постепенно поднимался (только за 1933-1937 гг. национальный доход увеличился вдвое). Появлялись и расширялись

новые возможности приобщения самых широких масс к духовной культуре. Памятные всем тяготы начала 20-х годов уходили в прошлое. Все это питало настроения оптимизма, помогавшие как бы и не замечать еще не преодоленные сложности со снабжением и сохранявшуюся неустроенность быта. Они казались обстоятельствами переходящими».

Западному читателю это может показаться естественным: раз растет национальный доход, то растет и уровень жизни населения. В СССР все было наоборот: рост национального дохода, практически выражавшийся в быстром росте военной промышленности, происходил за счет продажи за границу зерна, отнятого у умирающих от голода крестьян, и варварских, средневековых методов эксплуатации нищего и запуганного населения. Одной из статей национального дохода была продажа за границу национальных художественных сокровищ, что сильно уменьшало «возможности приобщения самых широких масс к духовной культуре». Между «еще не преодоленными сложностями со снабжением» 30-х годов, под которыми следует понимать искусственно вызванный голод, и тяготами начала 20-х годов лежали 7-8 лет экономического благополучия. Вряд ли воспоминания о них могли питать настроения оптимизма. Дело скорее в том, что не проявлять оптимизм было в то время чрезвычайно опасно.

Вся эта ложь понадобилась Иконникову, чтобы убедить в естественно-эволюционном характере наступившей художественной переориентации, подтвердить равноправие новой художественной эпохи по отношению к предыдущей. Ведь в естественных условиях искусство, обогащаясь с каждой новой эпохой, не становится ни лучше, ни хуже — оно только меняется.

Таким же стихийным изменением художественных вкусов объясняет Иконников и судьбу других областей художественного авангарда. Он пишет, что «авангард» оказался как бы в безвоздушном пространстве. С одной стороны, не приходилось рассчитывать на поддержку частных меценатов (с этим трудно не согласиться). С другой — государственных заказов авангардисты больше не получали, так как государственные организации рассматривали искусство как средство пропаганды, а беспредметная живопись в этом отношении казалась им бесцельной, что было верно. Одна-

ко Иконников ни словом не упоминает злобных кампаний против «формалистов» и травлю всех, кто пытался отстаивать свои убеждения, — травлю, которая в лучшем случае кончалась потерей средств к существованию. А для такого «прагматичного», по его выражению, подхода властей к искусству он находит объяснение в русской культурной традиции: «...значительный слой русской интеллигенции издавна рассматривал искусство как некую воспитательную миссию, осуществляемую через конкретные образы, несущие однозначно выраженное этическое содержание». По меньшей мере оригинальна эта идея крупного ученого: объяснить идеологический террор, почти начисто уничтоживший русскую культурную традицию и самую русскую интеллигенцию, — тем воспитательным значением, которое она, интеллигенция, придавала искусству! — такое просто-душному Рябушину едва ли доступно. Всерьез тут можно возразить хотя бы то, что самих организаторов погромов: Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова и их коллег — даже сам Иконников вряд ли назвал бы интеллигентами. Но и это не все. Отсутствие у авангарда поддержки со стороны массового зрителя Иконников объясняет «притоком в города громадных масс сельского населения, вовлеченных в процесс урбанизации. Для горожан первого поколения долго сохраняли значение стереотипы и ценности сельской культуры, ориентированной на конкретность образов, на традиционное и привычное». То есть надо так понимать, что деклассированные, бежавшие из разоренных деревень крестьяне принесли в города такой мощный импульс здоровой сельской культуры, что это окончательно выбило почву из-под ног авангардистов и способствовало возрождению интереса к «изучению классического наследия» в архитектуре и реалистической традиции в живописи. Комментарии излишни.

Вся эта дезинформация рассчитана либо на абсолютно неподготовленного и доверчивого читателя, либо на ленивого, который заведомо не захочет копаться в хитроумных логических выкладках автора статьи.

Примеры такого рода «научных ошибок» Иконникова можно перечислять долго. Он пишет, например, что крупные конкурсы 30-х годов «показывали диапазон активно развивающихся идей». На самом деле они показывают (и это хорошо видно по экспонатам выставки) агонию неко-

гда свободно развивавшихся идей. Проекты крупнейших архитекторов 20-х годов, таких, как Веснины, Леонидов, Мельников, демонстрируют в лучшем случае безнадежные попытки ответить тоталитарному духу программы и в то же время сохранить остатки художественной независимости. Никому из них это не удалось. Новое время требовало архитектуры не только тоталитарной, но и анонимной. Неслучайно для окончательного проектирования Дворца Советов были сведены в одну группу и без того не отличавшиеся яркими индивидуальностями Иофан, Щуко и Гельфрейх. Теперь нужно было либо послушно вливаться в общую массу, либо уходить из архитектурной жизни страны. Эмиграция, в то же самое время ставшая спасением для многих блестящих немецких архитекторов, была в СССР невозможна уже с конца 20-х годов. Серединой 30-х годов датируются последние крупные (нереализованные) проекты Мельникова и Леонидова. Умерли они (соответственно) в 1974 и 1959 годах. Иконников же полагает, что «командно-административные методы управления, развившиеся в сталинский период, не оказали широкого воздействия на общее развитие советской архитектуры — пути ее оставались разнообразны, при общей ориентации на культурные ценности прошлого».

И, наконец, еще один пример своеобразного подхода Иконникова к проблеме историзма в архитектуре. Не соглашаясь с мнением, что советский неоклассицизм — исключительное явление в истории архитектуры, Иконников напоминает, что как раз в это время историзм получил широкое распространение в архитектуре Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Дании и Швеции. И делает вывод: «Формальные языки, которые могут быть развиты на основе неоклассицизма, универсальны, они могут быть наполнены разными значениями. Поэтому широкое обращение к классическому наследию, ставшее в 30-е годы по сути дела общемировой культурной тенденцией, не компрометируют ссылки на то, что словарь форм неоклассицизма стремились использовать для унифицированного выражения тоталитарных идей национал-социалисты, захватившие власть в Германии».

Это, пожалуй, один из самых главных выводов статьи: гитлеровский неоклассицизм не может компрометировать сталинский, поскольку находится по другую сторону куль-

турного барьера. В то же время сталинский неоклассицизм является естественным составным элементом общемирового культурного развития.

Иконников делает вид, будто не знает, что во всех цивилизованных странах того времени, за исключением СССР, Германии и Италии (о которой он, видимо, забыл), неоклассицизм был явлением временным, не ведущим, чисто эстетическим и быстро растворился под мирным воздействием новой архитектуры. Только в Италии, Германии и СССР он превратился в архитектуру государственной политической идеологии и подавил своих соперников совсем не художественными методами. Будучи одинаково структурно организованными, советские и немецкие архитекторы выполняли и сходные государственные функции. В результате этого архитектура была вынуждена отказаться от решения своих естественных задач — создания сложной, многофункциональной среды обитания человека — и свелась к выполнению идеологических и пропагандистских заказов государства, к его прославлению своими средствами. И это роднит сталинскую и гитлеровскую архитектуру гораздо больше, чем общие стилистические приемы.

Для советской науки жанр научной мистификации — дело, в общем, привычное. В разное время и в разной степени фальсифицировались биология, физика, история, психология, философия, даже геология. Так что в нынешней попытке Союза архитекторов СССР с помощью Рябушина и Иконникова представить западному читателю поддельную историю советской архитектуры нет ничего неожиданного. Странно другое — очень уж это как-то не ко времени. Сейчас, когда влияние идеологии на советскую культуру сводится к минимуму, когда выходят книги и фильмы, запрещенные много лет назад, когда исторические события освещаются все более правдиво, такая попытка выглядит особенно отвратительно. Впрочем, нельзя отрицать, что некоторым успехом она увенчалась — об этом свидетельствует статья г-на Ризеберга.

На Западе очень велико уважение к мнению ученых. Тут кажется невероятным, чтобы серьезный ученый рисковал своей репутацией, совершая научный подлог. В Германии связанные с этим этические проблемы были просто и жестко решены после войны. И сейчас, возникая, они решаются просто и жестко, — недавно из-за нескольких не-

осторожных и неверно понятых фраз в речи, посвященной довоенной истории Германии, потерял свой пост президент Бундестага. В Советском Союзе такие времена только наступают. Поэтому западным наблюдателям многие дискуссии об искусстве, разгорающиеся сейчас в советской прессе, кажутся излишне жесткими и некорректными. На самом же деле, в основе их лежат чаще всего не эстетические, а этические проблемы.

Я счел нужным так подробно цитировать и разбирать рассуждения Рябушина и Иконникова, потому что совсем не исключено, что очень скоро прокламируемые ими идеи перейдут из случайных статей в серьезные научные издания. Ложь склонна к распространению.

И последнее. Мне бы не хотелось, чтобы эта статья рассматривалась как критика художественных взглядов и идей обоих авторов — у меня к ним претензии сугубо этического порядка.

5 июня 1989 года в Швейцарии создан фонд помощи независимому демократическому издательству «Экспресс-хроника» в Советском Союзе.

Фонд носит название «Фонд помощи Экспресс-хронике» и существует на частные пожертвования.

Средства Фонда будут использованы в целях:

- а) приобретения необходимых средств и материалов для печатания и издания;**
- б) оплаты помещений, снимаемых редакцией;**
- в) оплаты расходов по пересылке и связи;**
- г) оплаты поездок сотрудников издательства за границу;**
- д) помощи сотрудникам и их семьям, страдающим от репрессий властей.**

Распорядителем Фонда назначен русский психиатр, борец за права человека Анатолий Корягин, проживающий в Швейцарии.

Номер банковского счета Фонда:

**Crédit Suisse, CH-6002 Lucerne, 259850-90-1
Hilfsfonds Express-Chronika**

ПАМЯТИ НАТАНА ЭЙДЕЛЬМАНА

В это просто трудно поверить. Совсем недавно, еще этим летом, мы встречались за «круглым столом» Кельнского клуба, спорили, расходились и снова спорили. Натан, как всегда, даже в своей неправоте был блестящ и непредсказуем. Слушать его, следить за виртуозным полетом его мысли составляло для всех присутствующих, как согласных, так и несогласных с ним, подлинное интеллектуальное наслаждение.

Таким он оставался и в своих книгах. По ним — этим книгам — по меньшей мере два-три поколения наших соотечественников заново переосмысливали историю России «золотого» девятнадцатого века.

Через «Лунина», «Пушкина и декабристов», «Тайных корреспондентов „Полярной звезды“», «Герцена против самодержавия», «Твой девятнадцатый век» — через все эти книги мы вместе с их автором возвращались к истокам нашей новейшей истории, и он, этот девятнадцатый век, становился действительно «нашим», так много общего — проблем, идеалов и чувств — оказывалось у нас с нашими именитыми предшественниками.

Натан Эйдельман ярко выделялся среди коллег-современников счастливым даром заинтересованного общения с собеседником. Разговаривать с ним означало не только выслушать, но и быть чутко выслушанным, и поэтому искренних друзей у него всегда было больше, чем серьезных врагов.

К нему как нельзя естественнее относятся прощальные слова, написанные им самим в память одного из ближайших друзей в предисловии к книге «Вьеварум»:

Он «...как с давних пор принято говорить о моряках, ушел в тот последний рейс, из которого нет возврата. Это был самый хороший человек, которого я знал, и его нет на свете».

Прощай, наш добрый и мудрый наставник!

«КОНТИНЕНТ»

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Мария Шнеерсон

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПИСАТЕЛЯ И ПИСАТЕЛЬ В МИРУ

Степень нравственной деградации общества проявляется особенно резко в том, как ведут себя его лучшие представители, его поэты, писатели, пророки. Нет спору, и в самой развращенной среде всегда были, есть и будут праведники. Но к числу их далеко не всегда относятся те, кто воспекает праведников, бичует пороки и ратует за чистоту нравов.

За примерами ходить недалеко. Вспомним хотя бы, как Чингиз Айтматов, автор «Белого парохода» — замечательной повести, рисующей вечный мир красоты и высших духовных ценностей, осуждающей трусость и предательство, — когда «оттепель» сменилась заморозками, подписал письмо, направленное против Александра Исаевича Солженицына. Под аналогичным документом поставил свое имя и другой поборник высокой морали — Василь Быков.

В литературе последних лет тема нравственного одичания стала едва ли не ведущей. От горьких слов Василия Шукшина: «Что с нами происходит?» — тянутся нити к «Пожару» Валентина Распутина, к «Смиренному кладбищу» Сергея Каледина, к «Печальному детективу» Виктора Астафьева — едва ли не ко всем лучшим произведениям, обличающим не вчерашний день, не эпоху «культы личности», а современность. Но писатели, взывающие к нравственному возрождению, обнажающие духовные язвы, нередко в своем гражданском поведении сами бывают поражены этими язвами.

О художественном мире писателя и его поведении в миру — с чувством глубокой горечи и разочарования — мне и хочется поговорить. Речь пойдет лишь о двух безусловно талантливых мастерах — о Викторе Астафьеве и Владимире Солоухине.

ДВЕ ИПОСТАСИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

В 1988 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга В.Астафьева «Падение листа», куда включены его нашедший роман «Печальный детектив», опубликованный в январе 1986 года, и миниатюры «Затеси» — мелкие рассказы, очерки, стихотворения в прозе, которые автор писал на протяжении четверти века как своеобразный лирический дневник («затеси» — зарубки на деревьях; таежники делают их, чтобы не заблудиться).

Думается, произведения, столь различные по своей тональности, не случайно оказались под одним переплетом. Они как бы дополняют друг друга. Мрачный колорит «Печального детектива» кажется еще более мрачным на светлом фоне «Затесей», а сверкающие поэзией миниатюры, нередко тоже полные скорби, обретают более трагический оттенок. «Падение листа» в целом — книга о жизни в разных ее проявлениях, книга, в которой всесторонне воплощен художественный мир ее создателя.

Само название «Падение листа» выбрано не случайно. Обычно, соединяя в одном сборнике разнородные произведения, писатель в качестве общего заглавия выбирает название ключевой вещи. Такой вещью и является миниатюра «Падение листа». В ней скрещиваются мотивы «Печального детектива» и «Затесей».

Начало перекликается с романом: писатель видит лес — «затоптанный, побитый, обшарпанный», «вроде бы ворыскокари ворвались в чужой дом среди ночи и все в нем вверх дном перевернули». Видит он и самих воров — двух пьяных парней на перевернутом мотоцикле, горожан, которые по случаю выходного дня «рубили, пилили, ломали, поджигали лес». Но вскоре из поля зрения писателя исчезает этот безобразный мир и остаются лишь печальные мысли, неразрешимые вопросы. На главный из них он ищет, но не находит ответа: «Как воссоединить простоту и величие смысла жизни со страшной явью бытия?»

Лирической прозе Астафьева присущ высокий настрой, о чем бы он ни говорил. А говорит он в «Затесах» о самых различных сферах существования человека и природы.

Рисуется порой безрадостная современная жизнь, искалеченные судьбы и души (тут явная перекличка с «Печальным детективом»), спившиеся бедолаги («Бесплатный спек-

такль»), убийцы и убиенные («Будни» — одно название чего стоит!). Автор скорбит о падении нравов: «Все дикое сделалось привычным, все привычное — диким» («Хреновина»).

Астафьев вспоминает критиков, которые не раз упрекали его в «ущербности видения действительности». Он же, выражая «общую беду и боль», убежден, что писателю «самой природой и мучительной профессией назначено [...] постоянно чувствовать и переживать в сто крат больше других людей, иначе за перо не стоит браться» («Паруня»).

Цитируя стихи Есенина, автор оплакивает Родину: «„За окошком месяц“... Тьма за окошком, пустые села и пустая земля...»; «„Где ты, моя липа, липа вековая?“ Теплый очаг? Месяц? Родина моя, Русь — где ты?» Заключительные строки звучат как надгробный плач: «...и лежит без конца и края, в лесах и перелесках, среди хлебов и льнов, возле рек и озер, с умолкнувшей церковью посередине, оплаканная русским певцом Россия» («Есенина поют»).

Тема многих миниатюр — человек и природа. Только она, только земля и соприкосновение с нею могут очистить души, отравленные современной цивилизацией. Астафьев рассказывает о простой, естественной и прекрасной жизни рыб, зверей и птиц, в которую безжалостно вторгается человек. Но писателя не оставляет уверенность, что все же сохранилось и нечто нерушимое, вечное. И его тянет туда, где еще жива нетронутая людьми природа. Рождаются прекрасные пейзажи, противопоставленные картинам изуродованной земли. В глухих уголках России Астафьев находит подлинное счастье и успокоение.

Все еще верит писатель в несокрушимую силу добра, сострадания, людского братства. Видя ночью одинокое освещенное окно в темном городе, он мысленно обращается к тому, кто не спит за этим окном: «Что же все-таки у тебя, брат мой, случилось? [...] Успокойся и ты [...] спи и ты. [...] Погаси свет» («Окно»). В рижском соборе он чувствует, как очищается душа. Весь мир, чудится ему, задумался, затаил дыхание и готов вместе с ним «пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра...» («Домский собор»).

Мысль о всечеловеческом братстве, о связи людей, живущих в разных странах, любовь к человеку, независимо от его национальной и религиозной принадлежности, не раз звучат в миниатюрах Астафьева. Живя на юге, он час-

то слышал то ли по турецкому, то ли по арабскому радио печальную песню и каждый раз чувствовал, насколько близки ему чужая боль и чужая тоска. «В такие минуты совсем явственно являлось сознание, что мы, люди, и в самом деле едины в этом поднебесном мире» («Голос из-за моря»).

Художественный мир автора «Затесей» — трагический, но в то же время светлый, человеческий. В нем сливается все: зло современной жизни и неискоренимое вечное добро; скорбь об искалеченной родине и о страданиях всего человечества; осуждение тех, кто безжалостно губит природу, и трепетная надежда сохранить земную красоту; стремление раскрыть людям глаза, очистить их души от всяческой скверны, призыв к единению и братству.

* * *

«Печальный детектив» воплощает лишь одну грань художественного мира писателя, так разносторонне раскрывшегося в его лирической прозе. Жизнь предстает в романе во всей своей чудовищной наготы. И для поэзии тут не остается места. Отсюда — и сумрачный колорит романа, и его языковой строй. Причем трудно установить, где кончается авторская речь и где начинается внутренняя речь героя Леонида Сошнина, по взглядам на жизнь — едва ли не двойника писателя.

Сошнин служил в Угрозыске на оперативной работе, но после ранения ушел со своего поста, успев познать жизнь в ее самых мерзких проявлениях. Рано увлекся Леонид чтением книг, читал взахлеб все, что попадалось под руку, вплоть до Екклезиаста и Ницше. Понемногу Сошнин стал пописывать, печататься. Теперь в местном издательстве (он живет в городе Ейске — «в гнилом углу России») должен выйти сборник его рассказов. Служа в милиции, Леонид видел перед собой одну цель — истребление зла. Видимо, ту же цель ставит он и в литературе.

Но зло всесильно и неистребимо. Оно окружает Сошнина со всех сторон, и он не может найти ответа на вопрос: «Как жить дальше?» Семейная жизнь с Леркой не ладится, друзей нет, а всюду, куда ни глянь, лишь какие-то страшные хари. И Сошнин начинает ненавидеть себя, «свет белый и все на этом свете». «Скоро злом изойдешь, касатик», — иронизирует он, обращаясь к себе.

Вот почему в романе нет места поэзии, и тоска, которая слышится во многих «Затесях», переходит здесь в какое-

то мутное чувство озлобления, ненависти, омерзения ко всему окружающему. Это чувство определяет и языковой строй романа. Он лишен той поэтической одухотворенности, которая освещает даже самые безрадостные миниатюры, нарочито снижен, насыщен ультрасовременной лексикой, пропитан ядом сарказма, а местами кажется подчеркнуто ерническим (даже там, где речь идет о любимом герое Астафьева или о Лерке — жене Сошнина). Такие выражения, как «житуха», «хрясь мужа по морде», «ходила на тырлах», «блатники», встречаются постоянно.

Для общей тональности романа характерен рассказ о любовной связи Лерки с Леонидом до замужества: «И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова».

Столь же иронически говорится о том, что для Сошнина составляло главное содержание и смысл его жизни, — о его литературных увлечениях: «...его пищебумажными штучками-дрычками не проймешь...». Молодого писателя автор не без ехидства называет «мыслителем из железнодорожного поселка». Едва ли не обо всем и обо всех говорится в таком же тоне. Исключение составляет добродетельная, чуть ли не святая, простая женщина тетя Граня и другой добродетельный персонаж — старик Тихон Маркелыч.

Общий настрой «Печального детектива» особенно явно ощущаем в пейзаже, который резко отличается от пейзажей «Затесей». Там тоже встречаются сумрачные картины, но в них всегда чувствуется своеобразная прелесть. А в «Печальном детективе» с первых же страниц мы видим лишь «серый унылый свет», «мелкий дождь, размывший снег в кашу». И на этом фоне сразу же появляется главная «достопримечательность» Ейска — пьяная проститутка Урна, омерзительное человекоподобное существо. Она как бы составляет часть городского пейзажа, сливается с ним. И после ее появления мир кажется еще мрачнее: «Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске». Колорит романа не меняется и тогда, когда воспоминания переносят Сошнина в деревню: «...прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, разбросанные комбайнерами гнили кучи соло-

мы...». Эти картины созвучны преобладающему настроению героя романа — «чувству усталой, безнадежной тоски», «глубокой и уже постоянной печали».

Думается, мы не найдем второго такого произведения, где бы советское общество в целом (не отдельные люди или социальные группы, а именно в с е общество) рисовалось столь мрачными красками. Гибель России, о которой с поэтической грустью и так неопределенно говорится в лирических миниатюрах, здесь изображена вполне конкретно, беспощадно, даже жестоко, с точностью милицейского протокола.

История главного героя намечается лишь пунктиром. В основном же роман состоит из вставных эпизодов, рисующих преступления и мерзости, творимые советскими людьми (людьми ли?!). Рассказывается, что пьяные парни изнасиловали старуху тетю Граню. Какие-то «химики» пытались изнасиловать и Лерку, но Сошнину удалось спасти ее. Ужасно безразличие окружающих: «Люди на остановке! советские, наши, здешние — и никто, никто не заступается!.. Подлые!.. Подлые!.. Все подлые!» — в истерике кричит Лерка.

Пьяный, захватив самосвал, давит прохожих, которые падаются на пути. Выпускник ПТУ убивает первую встречную — молодую беременную женщину, убивает просто так, со зла. Родители, желая избавиться от нелюбимого ребенка, запирают его одного в пустой квартире, и он умирает от голода. Другие делают то же по пьянке. Матери бросают детей в родильных домах, а какая-то женщина оставила новорожденного в камере для хранения ручного багажа. Как тут не прийти в черное отчаяние?!

Однако ни автор, ни его герой не задумываются над причинами столь страшного, неслыханного озверения людей. Сошнин размышляет: «...все — все это жизнь [...] все-все это было до них и будет после них, — все это жизнь, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее, поднимись до понимания правды жизни...». В осмыслении вечной «правды жизни» видит он задачу писателя (очевидно, как и автор «Печального детектива»). Но ни тот, ни другой не поднялись до понимания жизни, которая их окружает. Им видится лишь одно известное зло (так было, так будет)¹, а причины, удесятерившие зло в их стране, превратившие его в повседневное бытовое явление, от них скрыты (или оба писателя — реальный и

вымышленный — просто не решаются о них думать и говорить?). Традиционные для великой русской литературы вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» — не встают со страниц «Печального детектива».

Советские критики упрекали Астафьева в том, что он не анализирует психологии преступников, даже не пытается заглянуть в недра их растленной, опаскуженной души, а только бичует преступный мир². Однако в романе отсутствует не только психологический, но и исторический анализ. Партийная диктатура, на протяжении семи десятилетий доведшая общество до страшной нравственной деградации, не принимается в расчет. Фактически в романе нет советской власти, за исключением вставной сцены проводов «сиятельного» начальника, весьма отдаленно связанной с общей проблематикой произведения.

Истинный анализ причин всеобщего озверения в «Печальном детективе» подменен рассуждениями глобального характера: о «природе человеческого зла», о «гнилой утробе человечки», где таится «самый жуткий, сам себя пожирающий зверь».

Много места уделено размышлениям о русском национальном характере. Сошнин видит в постижении загадочной русской души одну из главных задач своей писательской работы. Он считает, что в русском человеке добро и зло соединились в их крайних проявлениях. Его возмущает жалостливость русских к преступникам — «костоломам», «кровопускателям». Леонид вспоминает, как некий «добрый молодец», напившись, заколол трех человек лишь потому, что ему «хари не понравились». Когда же милиционер, чтобы взять преступника, оглушил его ударом по голове, граждане возмутились: «Такой мальчик! Кудрявый! А он его, зверюга, головой об стену...».

Размышляя о русском человеке, писатель и его герой не склонны к идеализации, напротив: «...на Руси великий зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, а звериной, и рождается чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных [...] жить лучше, сытей ближних своих». Но все эти рассуждения (правильны они или нет) носят абстрактный, внеисторический характер, словно «русская душа» есть некая неизменная субстанция, неподвластная влиянию времени, окружающей обстановки, исторических условий.

Рассуждения в «Печальном детективе» о непостижимой, загадочной русской душе представляются лишь перепевом того, что не раз уже звучало начиная с XIX века. Стремление же объяснить язвы подсоветской России исконными свойствами русского национального характера (стремление, нередко граничащее с русофобией, в которой Астафьева, конечно же, не упрекнешь) крайне вредно, ибо оно снимает всякую ответственность с большевизма: мол, не социалистическая идеология и не советская власть — источник зла, а особенности русской души и русской истории. Сила «Печального детектива» не в этих размышлениях, а в бескомпромиссно правдивом изображении современной жизни.

Однако острая ненависть автора направлена не только на преступный мир, но и на мыслящую часть общества. Истинные интеллигенты вообще отсутствуют в «Печальном детективе». Те же, кого автор изображает как местных «интеллектуалов», рисуются сатирически. И, право же, трудно понять, за что писатель вкупе со своим героем их столь яростно ненавидит.

На первых же страницах гнев обоих обрушивается на ейское «культурное светило» — редактора городского издательства Сыроквасову. Мы узнаём, что она — «мать трех вундеркиндов от разных творческих производителей», что она груба, прямолинейна, много курит, все вокруг засыпая пеплом. Но эта женщина в романе никаких поступков не совершает — ни плохих, ни хороших. И причина столь лютой ненависти к ней — непонятна. Бегло упоминаются и другие враждебные автору персонажи, также не совершающие в романе никаких дурных поступков: внештатные рецензенты — «бойкие здешние пьяницы-мыслители»; «заезжий поэт, повесившийся по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодивший в почти святые ряды преставившихся личностей»; «мадам Пестарева», читающая курс русской литературы. Особую неприязнь вызывает у автора ее дом, где собирается местная интеллигенция. Там звучат по вечерам записи «из оттудова» (о ужас!), «ну и наши, необходимые в модном салоне модные поэты: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева». Вот и весь криминал!

Слово «интеллигент» употребляется чуть ли не как бранное. И любимый автором Сошнин — самоучка, книгочей,

начинающий писатель — Боже сохрани, интеллигентом себя не считает. Остриг же он по поводу этой ненавидимой им касты в таком духе: «Их должно резать или стричь» (сам-то, небось, образованный, Пушкина цитирует!). А Лерка — тоже не какая-нибудь доярка, а фармацевт, вторит мужу. Он говорит: «Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал». А она в ответ: «Ты становишься интеллигентом! Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить...».

Не спорю, и в изображении ейской интеллигенции (точнее — «образованщины») многое справедливо, как справедливо все в изображении гнусной советской действительности. Но почему особую ненависть вызывает именно этот слой общества? Текст романа не дает ответа на этот вопрос.

Так или иначе, черной краски на палитре художника — хоть отбавляй. И тут не нам его судить. «Печальный детектив» — произведение обличительное, и в этом, повторяю, его сила. Однако роман не назовешь художественным и следовани-ем действительности. Это лишь крик отчаяния и ненависти. Даже попытки исследовать причины зла мы не найдем. Подлинного врага своей родины автор или не видит, или не называет из осторожности. А вместо подлинного врага мерещатся ему какие-то призраки, фантомы. И это — не только интеллигенция.

Здесь мы подходим к тому, что составляет резкое отличие «Печального детектива» от «Затесей», да и вообще выходит за пределы художественного мира Астафьева.

На страницах романа промелькнула тень врага, ненависть к которому, быть может, уже давно таится в темных закоулках авторского сознания. Само представление об этом враге родилось за много веков до Астафьева и существует поныне. С прискорбием приходится признать, что и в «Печальном детективе» — создании незаурядного писателя — прорвалась глухая ненависть к этому традиционно «врагу». Всего лишь две фразы, брошенные словно бы ненароком, не могут не оскорбить слуха.

Рассказывается, что Сошнин «затесался на заочное отделение филфака местного пединститута, с уклоном в немецкую литературу, и маялся вместе с десятком еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками. [...] Михаил Юрьевич, по мнению ейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру». Больше эти

злосчастные «еврейчата» в романе не встретятся, но для чего-то они здесь понадобились?! В отдельном издании «Печального детектива» вместо «еврейчат» появились «ейчата». Но в сборнике «Падение листа» восстановлен первоначальный журнальный текст, видимо, важный, с точки зрения Астафьева. Мне же, право, невдомек, какую роль в общем контексте романа играет сарказм по адресу «безродных космополитов», преклоняющихся перед Западом и презирающих русскую культуру. От всего этого веет ностальгией по незабываемому сорок девятому...

В художественном мире, воплощенном в сборнике «Падение листа», этот пассаж выглядит особенно чужеродным. Но из песни слова не выкинешь, как бы ни хотелось поверить, что автор здесь лишь случайно обмолвился, неудачно выразился. С кем не бывает... Однако ответ Астафьева на письмо известного исследователя русской истории и литературы Натана Эйдельмана не оставляет места для иллюзий³.

Эйдельман во многом был неправ, и слова его не могли не вызвать отрицательной реакции. Неприятен был и общий тон его письма, и плохо скрытое высокомерное отношение к адресату, а выпады по поводу рассказа «Ловля пескарей в Грузии» попросту несправедливы⁴.

...Ох, уж этот испытанный прием вырванных из контекста цитат! Вместо того, чтобы рассматривать произведение в целом, критик выдергивает нужную ему цитату, как жердь из изгороди, и начинает этой жердью избивать противника. Именно так поступил и Эйдельман. Доказывая, что Астафьев в своем рассказе оскорбил грузинский народ, изобразив отталкивающий тип грузина-торгаша, Эйдельман привел длинную цитату. Но не заметил или не хотел заметить весьма существенную оговорку Астафьева: торгоша, о котором идет речь, «и грузином-то не поворачивается язык назвать». Значит, не о нации в целом, не о грузинском народе, а лишь о каких-то хапугах и спекулянтах идет речь.

Если мы обратимся к тексту рассказа, то увидим в нем совсем не то, что увидел Эйдельман. Кое-что кажется мелким, выпадающим из темы (например, начало, где автор возмущается, что в домах творчества ему всегда дают худшие комнаты и не проявляют должного уважения, на которое он претендует как известный русский писатель). Но в це-

лом рассказ по своему внутреннему пафосу созвучен другим произведениям Астафьева. Как и в сборнике «Падение листа», с болью и гневом говорит здесь автор о загубленной природе, о духовной деградации людей.

Поражает контраст между прошлой и современной жизнью Грузии. Вот дорожные впечатления автора: «Все чаще и чаще встречаю нам с ошарашивающим ахом пролетали машины, волоча за собою хвосты дыма и пыли, [...] меж ними [...] еще гуще, выше подняв тучу пыли, хрипели и рвались куда-то дикие мотоциклы с дикими молодцами за рулем». А на другой дороге — старая, уходящая Грузия: на повозке, запряженной осликом, дремлет седоусый «генацвале, пробуждающийся, однако, на мгновение для того, чтобы поприветствовать встречных путников»; плетутся с богомолья «печальные женщины, словно искупая вину за всех нахрапистых, невежливых людей», кланяются путникам до самой земли.

Противопоставление древней культуры, утраченных моральных ценностей и изуродованной современной жизни проходит через весь рассказ. Если прежде воздвигались величественные храмы, если повсеместно принято было дарить молодым на свадьбу «Витязя в тигровой шкуре» — создание великого поэта Грузии Шота Руставели, то теперь строятся роскошные безвкусные дома нуворишей, жуликов, спекулянтов, один из которых мечтает подарить дочери на свадьбу не произведение народного поэта, а миллион рублей и шикарный особняк.

Однако на грузинской земле сохранились не только древние храмы, но и истинные грузины. Таков, например, старый шахтер, отличающийся гостеприимством, любовью к людям, душевной широтой. Рассказом о нем и завершается «Ловля пескарей в Грузии». Автор восклицает: «Ах, как это замечательно, когда в жизни встречаются такие добросердечные дома и люди. [...] Как чудесно быть гостем, значить и другом [...] у людей, умеющих без задней мысли жить, говорить, радоваться простым земным радостям». Вот этого грузина и других подобных ему людей Астафьев и считает истинными представителями нации. Что касается народа в целом, то душа его искалечена в той же степени, что и душа персонажей «Печального детектива». Скажите, читатель, где тут национальная ненависть? В этом черном чувстве упрекали Астафьева и грузинские делегаты на писа-

тельском съезде. Но не потому ли, что узнали свой портрет в облике нуворишей-миллионеров?

Столь же необоснован упрек в расистской ненависти, которую якобы проявляет Астафьев по отношению к казахам, бурятам, калмыкам, вспоминая в том же рассказе о надругательстве диких монгольских орд над храмами древней Грузии. Астафьев говорит о монголах не как о расе, а как о завоевателях: «И думал я, внимая истории и глядя на поруганный, но не убитый храм: если бы на головы современных осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов низвергся вселенский свинцовый дождь — последний карающий дождь — на всех человеко-ненавистников, на гонителей чистой морали, культуры». Вот кого ненавидит писатель, а вовсе не грузин или монголов.

Читая письмо Эйдельмана, я думала: не проявился ли в нем накал национальных страстей, которые в Советской империи выплеснулись наружу, как только стало возможным говорить и выступать более открыто. Но, увы, еще в большей мере эти страсти кипят в письме самого Астафьева. Эйдельман, безусловно, прав, упрекая автора «Печального детектива» в антисемитизме. Все сомнения на сей счет рассеял сам Астафьев в своем чудовищном ответном письме. Как же оно не вяжется с его общим творческим обликом!

«Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, задумался, этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра» («Домский собор»).

«Мы, люди, и в самом деле едины в этом поднебесном мире...» («Голос из-за моря»).

«На Ваше черное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже „трунения“) не отвечу злом»; «ссученный атеист»; «падалью питается»; «жрет со стола лжи»; «махровый сионист»... (из письма Астафьева Эйдельману).

И все это писала одна рука?! Писал человек, жаждущий единения с человечеством, уязвленный злом, поборник добра, глубоко мыслящий и чувствующий автор поэтических «Затесей»? И это он, обращаясь уже не только к сво-

му корреспонденту, но и ко всем евреям, говорит: «...в лагерях вы находились за преступления Юрковского и иже с ним, маялись по велению „Высшего судии“, а не по развязности одного Ежова»?! По логике вещей, следует, что все миллионы репрессированных тоже отвечали за чьи-то преступления. Ведь не может быть, чтобы «Высший судия» воздал по заслугам только каким-то там Мандельштамам, а гибель русских, украинцев, татар, калмыков и людей других национальностей допустил просто так, нивесть за что. А если большевистский террор в целом — возмездие свыше, то тем самым он оправдан. Так, что ли?

Не стану спорить с Астафьевым по всем пунктам. Да и о чем тут спорить? Можно лишь поражаться примитивному представлению писателя о национальном возрождении, которое якобы сводится к тому, что русский народ станет «петь свои песни, танцевать свои танцы», заменит «еврейчат»-лермонтоведов русскими и «приберет к рукам» «всякого рода редакции, театр, кино». Было все это, было! Ансамбли исполняли русские народные песни и танцы, евреев отовсюду повыгоняли. Но изменилось ли что-нибудь? Почему много лет спустя после разгрома «космополитов» появился «Печальный», а не «Веселый детектив» — роман, где показана безотрадная правда?!

* * *

«Вот так-так! — скажет читатель, перевернув последнюю страницу, — начато за здравие, а кончено за упокой». Что делать! В разительном несоответствии между художественным миром писателя и его поступками (а письмо к Эйдельману — именно п о с т у п о к) наиболее глубоко обнажается, как уже говорилось, нравственный уровень советского общества. Двоемыслие, взаимная ненависть, национальная рознь десятилетиями укоренялись в коммунистической державе и вошли в плоть и кровь едва ли не большинства ее граждан. Не миновала нравственная порча и тех, кто по своему назначению и по долгу призван идти впереди и делать затеси, чтобы не заблудились люди в непроглядном мраке современного мира.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Интересно отметить, что зло — как надвременная категория — предстает перед нами также и в романе В.Дудинцева «Белые одежды». И там

писатель говорит не о советском тоталитаризме, а об исконной природе человека и извечно присущих ему пороках.

² Вл. Новиков. Ощущение жанра. — «Новый мир», 1987, №3, стр. 252.

³ Переписка Н.Я.Эйдельмана с В.П.Астафьевым, широко распространявшаяся в Самиздате, опубликована в журнале «Страна и мир», 1986, №12.

⁴ Рассказ «Ловля пескарей в Грузии» напечатан в журнале «Наш современник», 1986, №5.

«В ПЛЕНУ У ДЬЯВОЛА»

В произведении Владимира Солоухина, которое в пору хрущевской «оттепели» впервые привлекло к нему внимание и симпатии многочисленных читателей, — в лирическом дневнике «Владимирские проселки» (1957) — есть такая фраза: «...село Алепино, его люди и окрестности могут составить для меня предмет отдельной книги, которую я когда-нибудь обязательно напишу».

Прошло более тридцати лет, и автор осуществил свое намерение, рассказав о селе, где он родился, о своей семье, о своем детстве. Но, несмотря на то, что написана эта вещь в пору «гласности» (или, как иногда говорят, «второй оттепели»), автобиографическая повесть Солоухина «Смех за левым плечом» вышла не на родине, а за рубежом¹ (в дальнейшем читатель поймет, почему иначе и быть не могло).

«Смех за левым плечом» — бесспорно, г л а в н а я к н и г а Солоухина. По мастерству, по глубине, по искренности и душевной открытости, по силе эмоционального накала она превосходит все написанное им ранее. И, мне кажется, для самого автора его новое детище должно быть дороже других.

Эта небольшая книжка (189 страниц) вмещает такой огромный жизненный материал, ей присуща такая философская глубина, что просто диву даешься. Здесь сочетаются и тонкое проникновение в душу ребенка, и исповедь взрослого человека — самого автора, и великолепные картины родной природы, и изображение быта доколхозной деревни, и точное исследование болезни, которая сокрушила Россию. Как могло все это вписаться в столь ограниченное пространство, да еще при том, что предельный лаконизм сочетается с характерной для Солоухина страстью к живописанию мельчайших, незаметных простому глазу деталей внешнего мира?

В своей автобиографической повести Солоухин сосредоточен на истории детской души. Но в какой-то степени это и «отражение истории в человеке» (Герцен), и исповедь сына века. В повести воплощен трагический опыт шестидесятилетнего писателя, погружившегося в воспоминания о своем детстве. Он любит беловолосым голубоглазым мальчонкой, его чистой, незапятнанной душой и скорбит о жизни, прожитой не так, как надо.

«Смех за левым плечом» — произведение многоплановое. На поверхности — картина доколхозной деревни, быта и нравов солоухинской семьи и ее окружения, первые жизненные впечатления ребенка². Но за верхним слоем обнажаются всё новые и новые пласты, и именно в них, в глубинных пластах, скрывается затаенная внутренняя тема повести. Это — плач по России и одновременно плач по загубленной злом детской душе.

Во вступлении рассказывается поэтическая легенда, которая легла в основу повести: душа, приговоренная Высшей Волей к земной жизни, отключенная от потустороннего мира, послана на землю, чтобы научиться там распознавать добро и зло и сделать выбор между ними. В воображении простой крестьянки — матери автора Степаниды Ивановны — возникает сходная, но несколько иная притча о земном бытии. В ее интерпретации зло воплощено в образе дьявола (лукавого), который стоит за левым плечом человека и, толкая его на плохие поступки, смеется, когда тот их совершает. Добро воплощено в образе ангела, стоящего за правым плечом, который в таких случаях плачет. Смеется же он, если человек, движимый любовью, состраданием, чувством справедливости, вершит добрые дела.

Через всю повесть проходит контрастное противопоставление Добра и Зла, многообразно проявляющихся в земной жизни. Эта поляризация дана уже в экспозиции, рисующей полет души из неведомых, запредельных миров на Землю, где ей — душе — суждено поселиться.

Картина полета вызывает в памяти лермонтовское стихотворение «По небу полуночи ангел летел», хотя Лермонтов говорит совсем о другом: о печальном земном бытии и о тоске души по утраченной небесной родине. В повести Солоухина земля не противопоставлена потустороннему миру. Земля прекрасна сама по себе.

Но она является «одновременно и раем и адом», хоть от новорожденного это и скрыто. «Я не мог тотчас же видеть, как в тишине июньской ночи под пологом прохладного леса цветут и благоухают чистые, белые, ночные фиалки и как ночные бабочки прилетают к ним, то зеленовато светясь, вспыхивая в лунных пятнах, то погасая, залетев в теневые места. [...] Точно так же я не мог ни видеть, ни слышать, как в эту июньскую ночь в тюрьмах и лагерях умирают или мучатся в ожидании смерти невинные люди, как их стреляют в затылок в подвалах разных ОГПУ...». (Шел июнь 1924 года.)

Начальная пора детской жизни проходит вдали от зла, в мире добра и красоты. О.Максимова несправедливо упрекает Солоухина в идеализации старой деревни, противопоставляя его повести чеховских «Мужиков» (произведение совершенно иного характера) и доказывая, что автор «Смеха за левым плечом» родился в богатой семье и поэтому деревенская жизнь кажется ему раем³. Если в повести и есть элемент идеализации, он оправдан замыслом. Перед нами — поэма в прозе о чистой жизни простых тружеников. Жизнь их протекает в непосредственной связи с природой, с землей и посвящена плодотворному созиданию, дому, семье. В контексте повести важно не кто богат и кто беден, а нечто совсем другое: в мирную жизнь крестьянина врываются черные силы зла и разрушают ее до основания.

Вот почему в изображении деревенского быта все видится сквозь призму поэзии, все кажется прекрасным не только ребенку, но и пожилому писателю, вспоминающему свое детство и Россию до того, как на нее обрушилась «мужицкая чума».

В первые, «досемилетние, дорубежные» годы («а тут сразу два рубежа — школа и коллективизация») главным, говорит Солоухин, было «ощущение благополучия, тепла, света, семьи, счастья, Бога...».

Итак, вначале добро окружает ребенка. Все просто, естественно в его мире. Автор любовно описывает предметы домашнего обихода, каждую пчелку в саду, каждый цветок. И все кажется исполненным красоты и поэзии.

Словно стихотворение в прозе, звучит рассказ о старой кадке для меда — прекрасной, тонкостенной, выдолбленной из цельного ствола липы. Так и видишь, как из этой кадки

в лохань льется густая и вязкая, солнечная струя меда. Опоэтизировано всё — даже процесс изготовления воска или кирпича на маленьких «заводиках», принадлежавших семье.

Автор создает яркую цветовую гамму, его мир окрашен в радужные тона. Вот, например, описание кирпичного заводика: «...зеленая трава с позолотой одуванчиков, яркая краснота глины и кирпичей и темное серебро деревянных строений...».

А как красочен мир за пределами отчего дома! Любовью к этому миру и горьким чувством ностальгии проникнуты его описания: «...синие холмы, беленькие колоколенки там и сям, темные острова перелесков, желтые полосы опустевших уже полей и горизонт, горизонт со всех сторон — круглая, немного вогнутая чаша земного приволья. Плыви, плыви, родное приволье, плыви через глаза четырехлетнего белоголового мальчика, наполняй и насыщай душу так, чтобы хватило потом на всю остальную жизнь».

Душа, ниспосланная на землю, жадно впитывает первые впечатления. Это не только красота окружающего мира, но и нравственная атмосфера дома. Отец и дед приобщают ребенка к созиданию, к труду. Мать приобщает к вечным духовным ценностям. Притча об ангеле и дьяволе за правым и левым плечом — это компас, который, по замыслу матери, должен определить жизненный путь ее сына. Она и старшая сестра читают мальчику стихи — так получает он «первые уроки сострадания, добра».

И добро легко усваивается ребенком. Мать говорит ему: «Не приведи Господи, неправду скажешь, обманешь»... — «А я не буду плохих дел делать...», — заверяет ее мальчик.

Горькое раскаяние звучит в подтексте этих воспоминаний, ибо не сдержал сын обетов, данных матери. И драматическая коллизия всей повести — борьба ангела и дьявола за чистую душу — не может (мы чувствуем это с самого начала) завершиться победой того, кто стоит за правым плечом.

Автор скорбит, вспоминая: «И вот, наряду с золотым одуванчиком [...], лампадой перед иконами, светлой водой, льющейся в речке (и желтой кувшинкой на этой светлой воде, и синей стрекозой, сидящей на этой кувшинке), наряду с добрым миром матери и прекрасным лицом сестры, вдруг в мире — чудовищная, безобразная, необъяснимая жестокость других людей...».

Солоухин рассказывает о своих первых встречах со злом: о травле и бессмысленном убийстве белки, о забитом до смерти беленьком котенке. «Господи, зачем Ты это мне показал?» — восклицает писатель, завершив рассказ о мелких жестокостях, быть может, и ничтожных «на фоне того, чего я тогда не мог ни видеть, ни знать, но что творилось по всей стране».

Это всесильное тотальное зло не могло не бросить черной тени на жизнь ребенка, семьи, дома. Их коснулось раскулачивание. Решено было «имущество описать и распродать, а самих выслать, увезти на мучение и гибель». Спас Солоухины один добрый человек, и семью не выслали. Однако ужас, испытанный мальчиком, когда он ждал вместе со взрослыми решения своей участи, запомнился навсегда. «Кто-нибудь хочет, чтобы я это забыл и простил?» — негодует писатель. Нет, он не забыл и не простил... Но...

Но в последующей жизни все обернулось по-другому. Разлитое кругом зло, как змея, незаметно вползало в детскую душу. Вот он, еще совсем маленький, играет в гражданскую войну и из воображаемого пулемета косит ряды беляков. «Кто-то уже успел (но когда и каким путем) привнести в душу мальчика жажду кровопролития и убийства, и не просто убийства, а убийства массового, из пулемета. [...] За каким плечом у меня тогда хихикали и ликовали, а за каким страдали и плакали?»

Книга кончается, когда ее герой находится на пороге школы. Но о предстоящем растлении детской души, которое школа совершит, сказано достаточно ясно. «Обработка детских мозгов и детских душ» — часть того общего процесса, который совершался в стране. Солоухин вспоминает о своем старшем брате: «...мозги его были уже частью замусорены, анестезированы, стерилизованы, а частью забиты грубой, дешевой, но, увы, действенной и повсеместной тогда пропагандой». Родители же, как все кругом, были настолько запуганы, что боялись и не смели противостоять воздействию школы.

Нечто подобное случится и с Володей: «...когда, движимый почти религиозным по силе и яркости чувством, я дома начал устраивать „Ленинский уголок“, наклеивая на стену множество фотографий Ленина [...], никто из домашних уже не препятствовал мне, а то, что в это время за левым плечом потирали руки и злорадно хихикали, а за

правым плечом печалились, если и не плакали, то ведь этого не было ни слышно, ни видно...».

Такими словами завершается повесть. Смысл концовки очевиден: зло, воплощенное в бесовской власти, загубившей Россию, не может не искалечить и душу, посланную в мир, чтобы сделать свой выбор между ангелом и дьяволом.

О том, насколько глубоко будет искалечена эта душа, свидетельствуют покаянные строки (подобных строк в повести мало, но в подтексте ее ощутимо покаянное настроение автора): Солоухин рассказывает, как он возненавидел одного из уполномоченных, приехавших «с железным заданием организовать колхозы». Однажды мальчик бросился на него с криком: «Убью, все равно убью!» «А я теперь с грустью вспоминаю, — кается автор, — не были ли эти секунды в моей жизни теми секундами, когда я единственный раз был искренен полностью и до конца? А потом потянулись годы и десятилетия соглашательства, лояльности, а более мудрено выражаясь, коллаборационизма и конформизма...».

Как бы иллюстрацией к этим признаниям служат слова о последующих прегрешениях писателя. Солоухин замечает, что об уполномоченных и о раскулачивании его семьи он уже рассказывал в «Капле росы», «но в том описании тоже получалась, естественно, доля лояльности и конформизма. Все там было обложено ватой (в другом месте сказано еще сильнее: «все обложив ватой, в ласково-розовых тонах». — М.Ш.), чтобы годилось для публикации в журнале „Знамя“, а потом и отдельной книгой». Не правда ли, здесь слышится и скрытая боль, и стыд? Или желание оправдаться?

Но, как бы ни изменилась детская душа, одно чувство сохранилось нетронутым, священным — любовь к отчужденному дому, «к родному пепелищу», к родине. И это чувство определяет самую основу художественного мира Солоухина. По сути, вся его повесть — плач по России, загубленной злыми силами.

В отличие от Астафьева или Дудинцева⁴, автор «Смеха за левым плечом» не считает, что зло извечно, безлико, и видит его конкретных носителей.

Жизнь героя повести рисуется на фоне жизни страны, и в разных местах рассыпаны замечания и наблюдения, которые свидетельствуют о ясной позиции писателя в оцен-

ке исторических явлений. Это дает основания назвать повесть Солоухина художественным исследованием истории его родины за годы советской власти.

Писатель касается и чисто экономических проблем (эксплуатация крестьян государством, обнищание страны), и духовной жизни народа, загубленной антинародной властью. Причем истоки всех бед он отнюдь не связывает со сталинизмом, а относит ко времени ленинской диктатуры. Вот, например, как объясняются истинные цели продразверстки: «В первые послереволюционные годы большевики, захватив власть в стране и дабы удержать эту власть, отняли у крестьян весь хлеб. Это называлось продовольственной политикой. Смысл ее заключался в том, чтобы весь хлеб сосредоточить в своих руках и, распределяя по своему усмотрению, тем самым держать население в покорности. По всей стране начался голод».

В отличие от «перестроечной» литературы, все сваливающей на Сталина⁵, Солоухин точно указывает, кто повинен в коллективизации и с какой целью — не только экономической, но и политической — она проводилась: «Те, кто где-то там, наверху (а планы эти вызрели еще в 1921 году на X съезде РКП(б), при Троцком и Ленине), хорошо знали, что они собираются делать и зачем они собираются это делать. Нужно было свободных, инициативных российских крестьян превратить в безликую армию безземельных, послушных, а главное, практически бесплатных рабов. Задача была — вычерпывать из России, из ее земли ресурсы ради мифической мировой революции (а возможно — проще — ради того, чтобы самим при помощи государственно-го и военного могущества держаться у власти)».

О государстве-хищнике писатель говорит на языке социолога и экономиста: «Разве государство не присваивает себе в огромнейших масштабах всю так называемую прибавочную стоимость? Для того государство и боролось с мелкими „эксплуататорами“, чтобы стать единственным огромным эксплуататором». Для достижения этой цели и понадобилось «загнать российское крестьянство, включая все народы, населяющие страну, в колхозы, то есть в эти бесплатные трудовые армии», предварительно уничтожив физически миллионы семейств. Но, коснувшись одного из величайших злодеяний советской власти, писатель меняет деловой тон, и голос его становится скорбным, гневным:

«Увозили их в лютые и метельные зимние холода...». И далее звучит пронзающий душу плач «над могилами крестьян, великомучеников и великомучениц».

Уничтожение, по словам Солоухина, в первую очередь коснулось не только наиболее крепких инициативных создателей, но и мыслящей части деревенского люда. Писатель отмечает, что к моменту «сокрушения России» «верхний слой крестьянства начал активно [...] прорастать побегами в вышенаходящийся слой российской интеллигенции»⁶. И именно этот верхний слой «был сознательно срезан в 1929 году, срезан и выброшен в безлюдные тундры на мучения и гибель».

Рассказав, как сгинул в лагерях «мягчайший, добрейший русский интеллигент» дядя Саша, автор размышляет, почему таких безобидных людей «боялась, ненавидела и истребляла, охраняя себя, установившаяся власть» (обратите внимание, что Солоухин и здесь говорит не о Сталине, а о советской власти, о большевиках). Впрочем, писатель сам же себе и отвечает: «...логика здесь была. Ведь ей, установившейся антинародной, антироссийской власти, важно было истребить, по возможности, всех лучших, всех хороших людей». Как не вспомнить тут дьявола из притчи Степаниды Ивановны?! В советской системе воплотилось зло в крайнем его проявлении, и антинародная власть целенаправленно, всеми доступными ей средствами стремилась уничтожить добро.

Душу народа убивали разными способами. Писатель подробно рассказывает о конфискации церковных колоколов⁷. Колокольный звон испокон веку был символом духовности, был сроднен с народной душой. Он сопровождал человека на протяжении всей его жизни, от рождения до могилы. Большевики же «беззастенчиво и нагло обманывали народ», приказав снять колокола под предлогом: стране нужен цветной металл. На самом же деле, утверждает Солоухин, «важно было унижить народ», важно было сломать его еще раз, еще и на этом, на колоколах. «Первый раз сломали на коллективизации, на колхозах [...], на отнятии инициативы и ощущения хозяина на земле. „Год великого перелома“⁸. Перелома хребта российского крестьянства, народа⁸. [...] Для того, чтобы закрепить первый слом — коллективизацию — и решено было еще раз унижить народ и сломать его еще раз. [...] Обеззвучить страну и народ, обез-

язычить их, ввергнуть в глухую немоту. Если он, народ, и на это никак не ответит, ну тогда, действительно, делай потом с ним, что хочешь, вей из него любые веревки...». И власть добилась своей цели. Долгие годы народ безмолвствовал. Способен ли заговорить теперь? И — как?

Однако духовная деградация крестьян обернулась неожиданной стороной для поработителей. Покорные рабы утратили вкус к работе, к созиданию. Это «была уже инерция жизни, а не сама жизнь. [...] Постепенно все запускалось, рушилось, истончалось, никакого интереса к жизни уже не было. [...] Кое-как в полусонной, безынтересной, безвкусной жизни по инерции доживали российские крестьяне [...] свой век». Неизбежным следствием содеянного преступления стало разорение страны.

Солоухин рисует страшную картину этого разорения. От «мирного и доброго, но уже тронутого всеобщей гибелью рая», в который попала посланная на землю душа, осталась мерзость запустения; крапива, гнилушки, ямы на месте домов, заброшенные дичающие сады. «Захирело, распалось, расточилось, перевелось» — вот слова, которые характеризуют то, что сделала советская власть с народной жизнью.

Название повести имеет расширительный смысл. Оно в равной степени относится и к ее герою, и к стране, жизнь которой искалечили поистине дьявольские силы. Но при всем своем могуществе силы эти не могли окончательно поработить залетную душу. Художественный мир писателя, страдающего от сознания своих грехов, помнящего уроки матери, оплакивающего судьбы родной страны, — остался миром добра, поэзии, Бога. Да, дитя своего гнусного века, он много грешил, но исповедь и покаяние звучат в его горестной книге. В этом он верен традициям великой русской литературы. Мотив исповеди и покаяния издавна был для нее характерен. И сейчас кажутся особенно созвучными нашей эпохе слова Гоголя: «Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее»⁹.

Покаяние, как уже говорилось выше, звучит и в автобиографической повести Солоухина. Но ее внутреннему строю не соответствует жизненная позиция писателя.

Не стану вспоминать случаи из биографии Солоухина, члена КПСС с 1952 (!) года, когда смех раздавался у него за левым плечом. «В наш гнусный век» (куда более гнусный,

чем век Пушкина, которому принадлежат эти слова) кто без греха? Единицы. Но дело, мне кажется, не только в том, кто, как и сколько грешил, а и в том, как теперь, к тому же на склоне лет, человек расценивает свой путь. И вот тут-то обнаруживается разительный контраст между художественным миром автора «Смеха за левым плечом» и его поведением в миру.

В наши дни завелась такая мода: когда доносчикам, палачам, гонителям талантов в пору бы покаяться, вместо покаяния звучит лишь «жалкий лепет оправдания»: иначе я не мог; все так поступали; по возможности я делал и добрые дела... спасал, помогал; но когда партия велела...

Среди утраченных нравственных ценностей выявилась одна из наиболее тяжких утрат — люди потеряли способность осознать свои преступления, исповедаться и покаяться в содеянном зле. Прощая себе все, Иван кивает на Петра, а Петр — на соседа. Мы научились каяться и обливать себя грязью на собраниях. Путь в Каноссу превратился в столбовую дорогу, по которой прошли тысячи советских людей. Но все это так же далеко от истинного раскаяния, как далека коммунистическая «мораль» от общечеловеческой.

К великому сожалению, и автор чистой, светлой книги «Смех за левым плечом» в своем жизненном поведении тоже стал на путь воинствующего самооправдания, основанного на принципе: все вы не лучше меня!

Речь идет о письме Владимира Солоухина в редакцию газеты «Советская культура», озаглавленном «Пора объясниться»¹⁰. Оно вызвано было тем, что писателю напомнили, как он среди других своих коллег выступал на собрании, где клеймили позором Бориса Пастернака. Солоухин называл автора «Доктора Живаго» «отщепенцем, внутренним эмигрантом», предлагал изгнать его за границу, чтобы обречь на казнь «за предательство, которое он совершил»¹¹.

И вот, через тридцать лет, в пору, когда все же открылась возможность сказать правду о своем прошлом, писатель во гневе обрушивается на тех, кто напоминает ему о былом проступке. Если бы подобное письмо в защиту Солоухина написал не он, а кто-то другой, не участвовавший в избиении Пастернака, многие оправдания могли бы показаться убедительными. Все в ту пору говорили по указке не то, что думали, страх искалечил людей. Но Солоухин говорит о себе — и без тени раскаяния. Как мог он не под-

чиниться «строгому указанию» партии? Его поведение лишь соответствовало «духу времени: предложили — выступил». «Это, конечно, чудовищно, но такие уж были времена». «Такие уж были времена...» — снова и снова повторяет Солоухин.

И хуже того. От оправданий он переходит к обвинениям: «Почему все, как один, промолчали? Почему — ни звука, ни шороха?..» Весьма неудачна ссылка на В.Каверина, который вспоминает в своих мемуарах, что не пошел на собрание, сказавшись больным. Но тут же добавляет: «...я „храбро“ спрятался. Теперь, когда я думаю об этом, я испытываю чувство стыда...» А Солоухин бросает упрек: почему-де Каверин не послал в секретариат СП СССР письменный протест? Как легко кивать на другого! И как трудно публично признать свою вину! Нет, уж лучше было просто промолчать.

«Всегда так, все так», — утешал себя толстовский Нехлюдов после того, как соблазнил Катюшу Маслову. А Толстой именно за эту ссылку на других особенно страстно обвиняет своего героя. Ибо каждый человек прежде всего отвечает за самого себя. Солоухин же утверждает: «...отмыться нам надо не от поступков [...], а от времени».

Стоит ли останавливаться на том, как откликнулся на письмо Солоухина Евг. Евтушенко?¹² Не он меня интересует, а автор одной из самых талантливых, честных книг нашего времени — Владимир Солоухин. Между «художественным» миром Евтушенко (кавычки здесь необходимы) и его поведением в миру я не вижу ни малейшей разницы. Хочется лишь спросить: «А судьи кто?» Поведение же Солоухина поразило. И бросило тень на его прекрасную повесть.

Заподозрить в неискренности писателя, сумевшего в своей главной книге «передать одну чистую правду души» (Гоголь)? Невозможно! Неискренность неизбежно разрушила бы мир повести. А в ней так явственно звучит голос мыслящего, глубоко страдающего человека, сердце которого отдано России! Невозможно поверить, что автор такого произведения мог опубликовать письмо, читая которое так и слышишь смех лукавого за левым плечом писателя и слова чёрта из песни Галича:

В наш атомный век, в наш каменный век
На совесть цена пятак!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Владимир Солоухин. Смех за левым плечом. «Посев», 1988.

² Не могу согласиться с трактовкой повести Солоухина в статье Ольги Максимовой «Плач за правым плечом» («Новое русское слово», 25 января 1989). Критик игнорирует философский, нравственный и исторический пласты, которые составляют основу этого произведения.

³ Там же.

⁴ См. первую часть настоящей статьи («Две ипостаси Виктора Астафьева»).

⁵ О позиции писателя в этом вопросе свидетельствует его отрицательное отношение к «Мемориалу», основанное на том, что Солоухин считает нужным поставить памятник не только жертвам сталинизма, но и всем жертвам советской власти начиная с семнадцатого года (см. «Новое русское слово», 17 ноября и 29 декабря 1988).

⁶ Как видим, Солоухин относится к интеллигенции совсем не так, как Астафьев (см. первую часть настоящей статьи).

⁷ Сильная сцена снятия колоколов изображена в романе Бориса Можаева «Мужики и бабы».

⁸ Здесь — скрытая цитата из «Архипелага ГУЛАГ» А.Солженицына, назвавшего «год великого перелома» — «переломом хребта русского крестьянства».

⁹ Н.В.Гоголь. О «Современнике» (письмо к П.А.Плетневу). — Собр. соч. в 6 тт. Москва, 1953, т. 6, стр. 196.

¹⁰ «Советская культура», 6 октября 1988. Письмо перепечатано в «Новом русском слове», 1 ноября 1988.

¹¹ Цит. по перепечатке в «Новом русском слове», 1 ноября 1988.

¹² Письмо Евтушенко перепечатано там же.

28 ноября 1989 года в Свердловске
к трем годам лагеря приговорен
независимый журналист
Сергей Кузнецов

Расправа над Сергеем Кузнецовым — очередное преступление агонизирующего тоталитарного режима. Это возможно сегодня в нашей стране только потому, что монополия на власть по-прежнему находится в руках КПСС, а обеспечение этой монополии осуществляет КГБ.

Сергей Кузнецов совершенно прав: КГБ — преступная организация. Любой справедливый суд не мог бы иначе квалифицировать ее деятельность не только в сталинский, но и в горбачевский период. Мы верим, что такой суд еще свершится и наши потомки запомнят его так же, как Нюрнбергский процесс.

Одна из форм поддержки государственного террора, предусмотренная КГБ для своих современников, — молчаливое соучастие. Они рассчитывают на это и сейчас, когда официальная «неделя совести» в стране уже окончена.

Мы призываем всех порядочных людей отказаться от этого соучастия, ощутить личную ответственность за судьбу Сергея Кузнецова и добиться его освобождения.

*Владимир Буковский
Игорь Геращенко
Ирина Ратушинская*

Редакция и редколлегия «Континента» полностью присоединяются к многочисленным голосам протеста, раздавшимся в нашей стране и за ее пределами после несправедливого приговора.

СВОБОДУ СЕРГЕЮ КУЗНЕЦОВУ!

Софья Марголина

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ

*(Стихотворение Осипа Мандельштама
«За гремучую доблесть грядущих веков...»)*

Существование вариантов и разночтений — нормальное явление поэтической работы. Считается, что в окончательном варианте поэт как бы дает последнюю, наилучшую версию текста, отбрасывая остальные. У Мандельштама, как известно, многие стихи шли «гроздьями» («двойчатки», «тройчатки»). В этих случаях поэт не стремился дать окончательный вариант разработки темы, а демонстрировал возможность сосуществования близких по замыслу, но различных решений одной лирической темы.

Анализ стихотворных «гроздьев» и вариантов позволяет полнее очертить круг значений, с помощью которых он стремился выразить свое отношение к миру и, что в случае Мандельштама особенно важно, отношение мира к нему самому.

Стихотворение — всегда квинтэссенция острого переживания какого-то события или мысли. Но одновременно оно есть способ ориентации в окружающей обстановке, попытка задать свою судьбу, если угодно, заковать ее. Только в этом смысле и можно говорить о пророчествах, понятии из словаря других культур, применением которого к современной поэзии явно злоупотребляют.

*

Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» (№227)* датировано 17-28 марта 1931 года. Оно известно как в беловом варианте, так и в различных редакциях.

* Номера стихотворений приводятся по: Осип Мандельштам. Собрание сочинений. В 3-х т. Под ред. проф. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Т.1. Стихотворения. Международное литературное содружество, 1967.

- 1 За гремучую доблесть грядущих веков
2 За высокое племя людей
3 Я лишился и чаши на пире отцов,
4 И веселья, и чести своей.
- 5 Мне на плечи кидается век-волкодав,
6 Но не волк я по крови своей,
7 Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
8 Жаркой шубы сибирских степей.
- 9 Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
10 Ни кровавых костей в колесе,
11 Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
12 Мне в своей первобытной красе.
- 13 Уведи меня в ночь, где течет Енисей
14 И сосна до звезды достает,
15 Потому что не волк я по крови своей
16 И меня только равный убьет.

Варианты заключительной строфы*:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Обними за гордыню и труд —
Потому что не волк я по крови своей
И за мною другие придут.

*

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
К шестипалой неправде в избу —
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу.

*

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И слеза на ресницах как лед,
Потому что не волк я по крови своей
И во мне человек не умрет.

* Цит. по комментариям Н.Харджиева в кн.: О.Мандельштам. Стихотворения. М.-Л., 1972, с.288.

В третьем варианте строфы заключительная строка:

И неправдой искривлен мой рот.

И.Семенко провела обстоятельный анализ ранних редакций этого стихотворения и восстановила последовательность размещения отдельных строф*. Целый ряд строф был исключен автором из белого варианта стихотворения, задуманного первоначально как «романс», и оказался среди «Отрывков из уничтоженных стихов». Но прежде, чем вернуться к выпавшим из текста отрывкам, необходимо уточнить его смысл.

Итак, в первой строфе поэт характеризует себя как наследника гуманистической традиции. За приверженность к вечным ценностям, противоречащим современному миропорядку, он лишается своих «основных прав» поэта: места в русской поэтической традиции («чаши на пире отцов»), возможности свободного творчества («веселья») и — весьма существенный момент — «честь». То, что в словаре Мандельштама одним из основных значений «веселья» является творчество, хорошо известно. Еще в статье «Пушкин и Скрябин» (1915), основной пафос которой — подтверждение незыблемости христианской культуры, он писал:

«Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства, есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу» (Собр. соч., т.2, с.315).

Лишиться «духовного веселья» значит лишиться и внутренней свободы — и наоборот. Утрата, как можно видеть, ощутимая.

Но поэта лишили и чести. В этом слове явно слышны отголоски оскорбительной травли, которой он подвергся в результате конфликта с Горнфельдом по поводу перевода «Тили Уленшпигеля». Его публично высекли, назвав литературным вором. Реакцией на это событие стала «Четвертая проза», построенная по принципу литературного скандала. Один из основных мотивов «Четвертой прозы» — защита своей чести. В сущности, Мандельштам делает то же самое, что и Пушкин в «Моей родословной»: пытается уни-

* Ирина Семенко. Поэтика позднего Мандельштама. (От черновых редакций к окончательному тексту). Рим, 1986.

зить литературную братию (булгариных) напоминанием о своих аристократических корнях. «Мой предок Рача» оказывается иудеем-патриархом:

«Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени» («Четвертая проза». Собр.соч, т.2, с.189).

Известно, что мотив чести был одним из основных импульсов в поведении Пушкина и сыграл в его судьбе роковую роль. По-видимому, для Мандельштама в ситуации, когда честь могла быть задета в любую минуту и большинство даже забыло это слово, защита «чести» воспринималась как гарантия связи с пушкинско-лермонтовской (в том числе и дуэльной) традицией и поэтому становилась условием принадлежности к Цеху (права присутствовать «на пире отцов»).

Вторая строфа начинается ставшей уже почти хрестоматийной строкой: «Мне на плечи кидается век-волкодав». Волкодав — собака, которой травят волка. У Даля приводится пословица: «Волкодав — прав; а людоед — нет». Век-волкодав хочет загнать волка, но поэт себя волком не считает.

На этом он настаивает и в последней строфе. Значит, век-волкодав, который — по Далю — «прав», ошибочно принял его за волка. Ведь волк — как ни крути, хищный зверь. И если поэт не признаёт себя свободным, одиноким и хищным волком, то кто же он?

Любопытно, что М.Булгаков, имевший весьма мало точек соприкосновения с Мандельштамом, в «Авторской исповеди» использует мандельштамовский мотив волка:

«На широком поле словесности российской в СССР я был единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня по всем правилам литературной садки в огороженном дворе»*.

Разве не сказал о себе то же самое Мандельштам в «Четвертой прозе»? Гонимыми зверями, загнанными волками

* М.Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с. 462.

чувствуют себя оба столь несхожих писателя. Травля Булгакова продолжалась несколько лет. Конфликт поэта с литературной «общественностью» разгорелся в 1929 году.

Но в конце 1930 — начале 1931 гг. внутриполитическая ситуация настолько накалилась, что сам факт литературной травли начинает осознаваться как непосредственная угроза свободе и жизни писателя.

На протяжении осени 1930-го прошел процесс Промпартии, сопровождавшийся митингами с требованиями расстрелов обвиняемых и статьями Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». Готовился процесс «Трудовой крестьянской партии» и «Союзного бюро меньшевиков». В разлив массовой истерии старая интеллигенция чувствовала себя затравленной и загнанной, а исходом представлялись два варианта: либо перестроиться («перекрасить шкуру»), либо погибнуть (творчески или в прямом смысле слова).

«С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой неврасцени с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен», — писал врач М.Булгаков (М.Чудакова, цит. соч., с.462).

По-видимому, в тех же терминах мог диагностировать свое состояние и Мандельштам. Отзвуки этого диагноза явно слышатся в его стихах конца 1930 — начала 1931 годов.

Депрессия, начавшаяся у поэта после возвращения из Армении и вызванная описанными выше обстоятельствами, была творчески плодотворной. Он создает ряд выдающихся стихотворений, выражающих его состояние (и состояние многих и многих интеллигентов) и отношение к происходящему.

Первое — «Ленинград», где преобладает тема встречи с любимым городом и ожидание скорой разлуки с ним.

Стремление заковать смерть:

Петербург! Я еще не хочу умирать —

— завершается утверждением своей связи с обреченным городом:

...у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса,

— и неизбежности собственной гибели:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

«С миром державным я был лишь ребячески связан» (№222, янв. 1931) развивает ностальгическую тему петербургской юности поэта и прощания с ней.

Тексты №№223, 224, написанные в январе 1931 года, — сублимация страха: «Помоги, Господь, эту ночь прожить» и «Мы с тобой на кухне посидим».

Наконец, мартом датируется еще одно стихотворение о страхе (№225) — «После полуночи сердце ворует». В нем описывается состояние «предсердечной тоски». Бессонную ночь поэт проводит в гадании «на ромашке» о жизни и смерти:

Любишь — не любишь, поймешь — не поймашь...
Так почему ж как подкидыв дрожишь?
После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь.

К стихотворениям «о страхе» примыкают почти все тексты до июня 1931 года, в которых выражены различные душевные состояния поэта. Так, «Я скажу тебе с последней прямой» и «Жил Александр Герцович» разыгрывают тему бессмысленности жизни, невозможности противостоять року. «Ангел Мэри» — отсылка к пушкинскому «Пиру во время чумы». В этом стихотворении уже утрачено ощущение «упоения... бездны на краю», а сиюминутные утехи жизни вызывают лишь жест усталости и равнодушия. В «Александре Герцовиче» готовность к смерти и покорность року выражены еще сильнее:

Нам с музыкой-голубою
Нестрашно умереть...

.....

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно.

Тему страха варьируют также и другие тексты: «Я с дымящей лучиной вхожу» (№231, 4 апр. 1931), «Нет, не спрячется мне от великой муры» (№232, апр. 1931) и «Фазтонщик» (№248, июнь 1931). Первые два, как показала И.Семенко (ук. соч., с.65), выросли из первоначального варианта «За гремучую доблесть грядущих веков», где, стало быть, имплицитно присутствует тема страха.

Считается, что «шестипалая неправда» — это намек на Сталина, у которого якобы на одной руке было шесть пальцев.

Стихотворение напоминает кошмарный сон, где поэт как бы осмеливается, преодолев страх, пробраться в адскую кухню.

А она (неправда. — С.М.) из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

Любопытна последняя строфа:

Тишь да глушь у нее, вошь да мша,
Полуспаленка-полутюрьма.
— Ничего, хороша, хороша!
Я и с а м ведь такой же, кума.

Как понимать последнее утверждение? Значит ли оно, что поэт отождествляет себя с неправдой? К этому мы еще вернемся.

«Фазетонщик» — тоже «сон наяву» о смерти.

Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Написанное размером пушкинских «Бесов» и перекликающееся с ними, стихотворение еще раз на протяжении обсуждаемого цикла отсылает к «Пиру во время чумы»:

Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

.....

А под ними неба реет
Темносиняя чума.

«Заразное» небо — потрясающая метафора антипоэтической, смертоносной действительности. Причем метафора карающего неба наделена жестокими, мусульманскими чертами.

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Словом, большую часть текстов, датированных концом 1930 — июнем 1931 гг., представляют собой стихи о страхе, смерти и бессилии перед роком. Они суть поэтическая суб-

лимация болезни, диагноз которой поставил Булгаков и которая, несомненно, поразила тогда же Мандельштама: страха смерти в ситуации тотальной травли старой интеллигенции и ее физического истребления.

Вероятно, есть своя логика в том, что, несмотря на остроту депрессии, поэзия этого периода не сводится к варьированию темы ожидания смерти. Точнее, само ожидание вызывает у поэта потребность в подведении некоторых итогов и подготовке к скорой и неизбежной гибели. В 1932 году, как известно, Мандельштам признаётся Ахматовой: «Я к смерти готов». Но что означает эта готовность?

Человек готов к смерти, когда отдает последние долги и составляет завещание.

Именно в 1931 году Мандельштам составляет свое поэтическое завещание — «Сохрани мою речь навсегда» (№235, май 1931).

Попытка анализа этого, во многих отношениях темного, текста сделана мной в другом месте*. Поэтому здесь имеет смысл остановиться на главном. Поэт обращается к некоему адресату: «...отец мой, мой друг и помощник мой грубый» — с просьбой сохранить его речь за ее выдающиеся качества: «привкус несчастья и дыма», «смолу кругового терпенья», «совестный деготь труда».

Есть все основания полагать, что адресатом завещания является довольно фамильярно характеризуемый Господь Бог. Любопытно, что из Святой Троицы Мандельштам оставляет нетронутой лишь одну, «иудейскую» ипостась — «отец», две другие модернизируются в соответствии с представлениями современного поэта о характере поэтического труда. «Друг» — Мандельштам предполагает себя в синклите небожителей. «Грубый помощник» — признание бесцеремонности, с которой адресат вторгается в творческий процесс, знак спасительной несвободы от высшего начала.

Вспомним, однако, стихотворение «За гремучую доблесть». В первой строфе говорится о том, что поэт лишился возможности свободного творчества и права стоять в ряду великих предшественников. Его ошибочно приняли за волка («отщепенца в народной семье», врага, хищника).

* Софья Марголина. Мировоззрение Осипа Мандельштама. Марбург, изд. Шольц, 1989.

А он не хищник, он устал от мерзости и страданий человеческих, ему разрывает сердце пыточный хруст костей.

Отзвуком этого мотива станут строки в стихотворении «О, как мы любим лицемерить»:

И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

Единственное место, где это все уже позади, — Сибирь (1-й вариант):

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Обними за гордыню и труд.

Последняя строчка явно перекликается с одним из перечисленных в «Сохрани мою речь навсегда» качеств его поэзии: «совестный деготь труда».

Природа дикого края — суровая и первобытная — эстетизируется, наделяется чертами лермонтовского космоса («И сосна до звезды достаёт») и противопоставляется жестокости и лжи мира; «шестипалой неправде» (в одном из вариантов: «Уведи меня в ночь... / К шестипалой неправде в избу») не должно быть места в Сибири.

Примечателен также вариант последней строки: «И неправдой искривлен мой рот», — замененный в окончательном тексте строкой совсем иного накала: «И меня только равный убьет».

«Искривленный рот» дважды встречается в ранних редакциях стихотворения, включенных потом в «Отрывки из уничтоженных стихов» (№№237-246, июнь 1931):

VII

Не табачною кровью заката пишу,
Не костяшками дева стучит —
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует и «нет» говорит...

В одной из редакций этого отрывка было: «Не табачною кровью газета плюет». Изменение существенное: именно поэт отказывается писать газетными чернилами, говорит «нет» смертоносной машинописи: «Не костяшками дева стучит». Последняя строчка звучит более чем двусмысленно: «костяшками стучит» сама смерть, исполняя свой *danse macabre*.

Искривленный мукой человеческий рот протестует против лжи чудовищных приговоров, против кровавых расправ.

В отрывке X выражена растерянность поэта перед кровавой истерией, сомнение в своих собственных чувствах, потребность подчиниться мнению толпы:

Замолчи! Я не верю уже ничему —
Я такой же, как ты, пешеход,
Но меня возвращает к стыду моему
Твой грозящий искривленный рот.

Видимо, в полемике с оппонентом (возможно, с Надеждой Яковлевной) он устыдился своей попытки отказаться от здравого смысла, принять грандиозный кровавый спектакль за правду, последовав за обезумевшей толпой.

Варианты стихотворения свидетельствуют о метаниях поэта, о поисках им точки опоры в бушующей вокруг вакханалии.

«Буддийская Москва», «московские законы», опущенная строка «Из раковин кухонных хлещет кровь», «И казнями там имениты дни» — эти строчки из «уничтоженных» отрывков однозначно, казалось бы, характеризуют действительность начала 30-х годов как азиатскую, внеисторическую*. И в то же время, перебивая эти убийственные оценки, звучит голос, пытающийся нащупать какую-то свою правду времени («Там, в пожарище, время поет»), услышать «властный голос» и «пойти за него в топоры». Невнятные мотивы VIII отрывка перекликаются с «Сохрани мою речь...»: «И для казни петровской в лесу топорище найду».

В обсуждаемом контексте позднейшая замена последней строки в «За гремучую доблесть» представляет самостоятельный интерес.

Мандельштам отказывается открыть, кем же он себя считает: «не волк» — кто он? Варианты «И во мне человек не умрет», «И за мною другие придут» явно не устроили поэта своей лапидарностью: они сразу отвергнуты. Вместо них загадочное утверждение: «И меня только равный убьет».

* Софья Марголина, ук. соч.

Выше уже отмечались некоторые соответствия между поэтическим завещанием — «Сохрани мою речь навсегда» — и мотивами разных редакций «За гремучую доблесть». Еще один немаловажный момент сходства: адресность обоих текстов и одновременно неясность адресатов. Реконструируя смысл «Сохрани мою речь навсегда», я показала, как связь с христианской символикой, а также уникальность словаря поэтического завещания (большинство слов вообще употреблено однократно и не встречается в других текстах Мандельштама) позволяют идентифицировать божественную ипостась адресата.

Гораздо труднее сделать это в случае «За гремучую доблесть». Две первые строфы «Сохрани мою речь навсегда» состоят, в сущности, из одного сложно-сочиненного предложения: «Сохрани... и за это... обещаю...». В «За гремучую доблесть» первые шесть строк автономны и посвящены характеристике положения поэта в современном обществе, его «отщепенства». И только 7-я строка начинается с обращения: «Запихай...» (Зачем? — «чтобы...») — и 13-я: «Уведи...» (потому что...).

Причем в «Сохрани мою речь» адресат назван, как бы его ни интерпетировать: «...отец мой, мой друг и помощник мой грубый». К кому обращается Мандельштам в «За гремучую доблесть»? — загадка. К веку? Но ведь век — волкодав, у него другая специальность — по Далю, правильная: неправ людоед. Но век не назван людоедом. Упрек веку состоит в том, что поэта ошибочно приняли за волка. Рискую навлечь на себя обвинения в произвольности толкования, продолжу все же линию на сближение обоих текстов — «За гремучую доблесть» и «Сохрани мою речь». По-видимому, перебором вариантов Мадельштам добивался перевода текста из разряда сиюминутной реакции на катастрофическую ситуацию в иной план. Так, например, в 9-й строке он заменяет «Чтоб не видеть ни трусов» на «труса», тем самым совершенно меняя напряжение строфы: трусы — это просто людишки; «трус» (опять-таки единственный раз встречающийся в текстах Мандельштама) приносит иную семантику — лютование стихий (Даль) и евангельскую символику: «Се трус велик бысть в море» (Мф. 8,24).

Несомненно, современнику поэта, читавшему его стихотворение в 30-х годах, «трус» должен был напомнить то мес-

то в Евангелии от Матфея, где Христос, находясь в лодке с учениками, укрощает взбушевавшееся море.

В 10 главе Евангелия от Матфея есть также немаловажные для интерпретации «За гремучую доблесть» поучения Христа своим ученикам.

10,16: «Вот, я посылаю вас, **как овец среди волков**: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

Далее Иисус говорит о судьбах апостолов, когда они пойдут проповедовать слово Христово, о том, что их будут предавать и ненавидеть: «И будете ненавидимы всеми за Имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10,22).

Итак, не хотел ли поэт, дважды повторяющий «не волк я по крови своей», подтолкнуть читателя к евангельскому первоисточнику: я не волк, я овца. Овцами среди волков называет Христос своих апостолов. Но прочтем еще несколько евангельских стихов из 10 главы:

10,24-25: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его...».

Итак, Христос говорит о равенстве учеников и Учителя. Как отмечает И.Семенко, строка «И меня только равный убьет» была вписана в окончательный вариант рукой Надежды Яковлевны в 1935 году.

По-видимому, в тот период оба текста: и «За гремучую доблесть», и «Сохрани мою речь» — Мандельштам воспринимал уже как «двойчатку», где в разной степени разрабатывается одна и та же тема бессмертия слова художника, его причастность вечности (небожителство), его неподсудность веку. В «За гремучую доблесть» звучит гордое обращение ученика к Учителю и окончательное знание: «И меня только равный убьет».

Но в 1931 году стихотворение еще оканчивалось другой строкой: «И неправдой искривлен мой рот», — придававшей всему тексту иную окраску: именно она была призвана подтвердить ошибочность отнесения поэта к волчьей породе: «Я ведь тоже лгу, значит, я не враг».

Ничем, казалось бы, не обоснованный мотив неправды, говоримой ли поэтом или повторяемой им за другими, не был случайным.

В №231 («Я с дымящей лучиной вхожу») Мандельштам отождествляет себя с «шестипалой неправдой», а через год, в апреле 1932 года, вновь возникает мотив лицемерия («О,

как мы любим лицемерить»). «Мы», конечно, включает «я». Причем, как уже говорилось выше, последняя строфа этого непростого стихотворения перекликается с 3-й строфой «За гремучую доблесть». Противопоставление природного порядка («Линяет зверь, играет рыба / В глубоком обмороке вод») указывает на соотнесенность с ценностным рядом «За гремучую доблесть»:

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

И все же почему весной 1931 года поэт упорно возвращается к теме неправды и лицемерия — в то время как им еще не было написано ни одной лживой строчки?

По-видимому, мучительный психологический кризис, необходимость выбрать наконец между жизнью и смертью, по крайней мере творческой жизнью и смертью, подготавливали приход Мандельштама к серьезной переоценке ситуации и своей мировоззренческой позиции. Да, он еще не сказал неправды, но был внутренне готов по-иному взглянуть на действительность. Ведь он «не волк», не враг; ведь он «и сам такой же», ведь он готов заплатить высокую цену за сохранение своей речи «навсегда»:

Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Он хотел пойти за «труда чернецами» и устал быть не таким, как все, «пешеходом».

В письме к отцу, датированном апрелем 1931 года, Мандельштам пишет:

«Ты моложе нас: пишешь стихи о пятилетке, а я не умею. Для меня большая отрада, что хоть для отца моего такие слова, как коллектив, революция и прочее — не пустые звуки. Ты умеешь вычитывать человеческий смысл в своей Вечерней Газете, а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших книгах мировой литературы...

Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь. Да в твоих устах она для меня сильнее, чем от кого-либо... Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой»*.

* «Новый мир», 1987, №10, с.203. Публикация Е.П.Зенкевич и П.М.Нерпера.

В июне 1931 года за «Фазтонщиком», который заканчивается чудовищным образом зачумленного неба, следуют два текста с совершенно противоположной тональностью: «Как народная громада» (№249) и «Какое лето! Молодых рабочих» (№250).

В свете рассмотренного выше внутреннего конфликта первый текст выглядит почти пародийно:

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленную армадой
Ровно в голову плывет.
Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними — кораблями —
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

Мотивы народа уже назойливо варьируются в стихах 1931 года: «самопишущий черный народ», «труда чернецы», «пешеход». Но в приведенном тексте народу уподобляется стадо коров, причем пафос сравнения совершенно не соответствует смыслу — однозначному приведению человеческой массы к стаду скотов, что ведет к пародийной и гротескной контаминации с известным пушкинским «Паситеся, мирные народы».

Второе стихотворение («Какое лето!») утверждает правоту современности, демонстрирует попытку нового взгляда на действительность:

Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два.

Так и хочется добавить: «Да, скифы мы, да, азиаты мы», заодно вспомнив «мусульманскую сторону» из «Фазтонщика».

В июне-июле 1931 года намечается поворот поэта от конфликта с действительностью к попытке стать современником. 6 июня Москва еще названа буддийской и кровавой, а 7-го настроение поэта круто, как в маниакале, меняется: «страшный 31-й год» становится «прекрасным» («Довольно кукусься! Бумаги в стол засунем»), а поэт готов к новым

поэтическим подвигам. Стихотворение «Довольно кукситься» замечательно тем, как ощущение собственной поэтической мощи влияет на восприятие реальности, как неисполнимая потребность в творчестве вступает в компромисс с совестью, требующей замолчать, отказаться от речи.

В этом конфликте, психологически объяснимом и творчески плодотворном, поэт создает свой Московский цикл 1931-1932 гг.^{*}, в котором прославит «буддийскую» Москву и сделает попытку самому приобщиться к сегодняшнему дню, успеть за временем:

Пора вам знать, я тоже современник.

Отброшенная строка «И неправдой искривлен мой рот» не была случайной. Она отражала размышления поэта над вариантами собственной судьбы. Но так же закономерна и замена ее на другую: «И меня только равный убьет». В окончательном варианте стихотворение как бы возвращено к своему началу: отверженного поэта, лишённого чести, может убить лишь «равный». Вероятно, тот, кому он завещает свою речь в «Сохрани мою речь навсегда». И тот, кого он просит о милости: «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей».

*

Поэт оставил завещание, готовясь к смерти, но был настроен на жизнь: На этих русских качелях он и будет раскачивать свою судьбу, пока за ним не придут.

^{*} См. Софья Марголина, ук. соч.

23 ноября 1989 г.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Журнал «Иностранная литература» предполагает провести «круглый стол» редакторов русскоязычных литературных журналов, выходящих за рубежом. Тема встречи — «Журналы русского зарубежья в контексте мировой культуры конца XIX столетия». На наш взгляд, такая постановка вопроса позволит участникам свободно обмениваться мнениями по достаточно широкому кругу гуманитарных проблем.

Беседа в редакции продлится два дня — 5 и 6 февраля 1990 года. В первый день участники «круглого стола» сделают сообщения в рамках темы, затем — дискуссия. Материалы беседы предполагается опубликовать на страницах «Иностранной литературы».

Если сам замысел, а также тема представляются Вам интересными, были бы рады видеть Вас, уважаемый Владимир Емельянович, у себя в редакции. Оплату Вашего пребывания в Москве редакция берет на себя.

Просим известить о Вашем решении не позднее 30 декабря сего года по адресу редакции или по телефону 233-51-47.

С уважением

*Н.Анастасьев,
первый зам. главного редактора*

Уважаемый Николай Аркадьевич!

К сожалению, я вынужден отказаться от Вашего любезного приглашения участвовать в «Круглом столе» «Иностранной литературы». Я, простите за нескромность, считаю себя главным образом писателем. И поэтому хотел бы обсуждать со своими коллегами прежде всего проблемы отечественной литературы. Но среди нынешних редакторов русскоязычных журналов нашего Зарубежья (за исключением разве лишь Н.Струве из «Вестника РХД») я не вижу для себя собеседников. Один из них — несостоявшийся астрофизик, другой — бывший газетчик средней руки, третий (кстати, моя родная сестра) — неудачливый математик, четвертый — школьный учитель, пятый — писательская жена, домашняя хозяйка, на досуге пробавляющаяся околиторатурными скандалами, шестой — вчерашний дантист. Участвовать в этой непотребной коммунальной кухне у меня нет никакого желания. Вольно вашей пропаганде использовать в своих целях эту околиторатурную и околполитическую публику, но меня от этой сомнительной чести увольте.

Тем не менее, для отдельного диалога с вашим журналом я всегда открыт.

Прилагаю к этому письму небольшое досье, из которого, надеюсь, Вы сможете уяснить себе, что стоит за журналом «Континент» и кто есть кто в зарубежной русской периодике.

С уважением

В.Максимов

ПРОЩАНИЕ С НАДЕЖДОЙ

В смерть близкого человека всегда трудно поверить, в эту — в особенности: нет больше с нами Андрея Дмитриевича Сахарова. Его уход — потеря не только для нас — его друзей и единомышленников, не только для нашей страны и ее восточноевропейских соседей, но для всего современного мира вообще, ибо в Сахарове воплощалась Надежда всех гонимых и угнетенных на земле на лучшее и более достойное будущее.

Андрей Дмитриевич являлся для человечества критерием и мерой взыскующей совести. Вольно или невольно, но каждый из нас, включая и тех, от кого зависит сегодня судьба народов Востока и Запада, должны были сверять свою жизнь и деятельность с тем моральным императивом, который он исповедовал. Само его присутствие в нашей жизни нравственно обязывало нас.

В тех бурных и труднопредсказуемых событиях, которые происходят сейчас в России и Восточной Европе, Сахаров служил надежным ориентиром для тех, кто боролся и борется за духовное и социальное возрождение своей родины. Трудно представить себе сегодня появление в нашей стране в обозримом будущем равной ему по влиянию и масштабу личности. Нам остается только уповать на это, иначе ситуация в мире может выйти из-под общественного контроля.

Нам еще трудно по-настоящему осознать всю невосполнимость этой потери, слишком неожиданно для нас это случилось, но с течением времени понесенная утрата скажется в полной мере во всех без исключения сферах нашего бытия: духовной, культурной, политической, даже обычной, почти не замечаемой нами — повседневной. В иные пределы отлетела душа, щедро наделявшая нас самым бесценным для человека даром — Надеждой.

Без него, без его слова, без его сопричастности с нами в нашем бесприютном мире стало еще трагичнее и горше.

Прощайте, дорогой Андрей Дмитриевич! Пусть память о Вас облегчает людям их тяжкий путь к Свободе!

Редколлегия и редакция «КОНТИНЕНТА»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Сначала цитата из статьи С.Рассади́на «Гордость па-че унижения», опубликованной в №43 «Огонька» за этот год:

«Поверим ли, что гигантские тиражи равновелики читательской культуре? И здесь — загордились и догордились. „Самая читающая страна...“ Что — читающая? Вспоминаю чей-то хороший каламбур: „Самая читающая Пикуля страна“».

Ничего не скажешь: как всегда, у этого критика лихо сказано. И, как часто случается, красное словцо заменяет у него элементарную добросовестность.

Тиражи западных «пикулей» могут присниться их советским собратьям только в самых радужных снах. К примеру, хотя бы тиражи той же Агаты Кристи. И таких, как эта покойная старушка, на Западе — десятки.

А вот опять же, к примеру, Сол Беллоу или Курт Воннегут сто-сто пятьдесят тысяч проданных экземпляров новой книги считают для себя большой удачей. Артур Миллер (один из лучших, на мой взгляд, современных драматургов), по его собственному признанию, в последние годы вообще не может поставить пьесы у себя на родине. Театральные воротилы считают — дорого. Величайший эссеист нашего времени Чоран живет практически на иждивении своей жены-учительницы. Тиражи его книг — 500 экземпляров или около того.

О «толстых» журналах и говорить не приходится. Десятитысячный «Комментари» считается гигантом.

Разумеется, читающая наша публика не доросла до культуры Рассадина. Только мне хотелось бы спросить у него: «А кто же все-таки покупает многие сотни тысяч книг Булгакова, Платонова (совсем непростой для чтения автор), Мандельштама, Ахматовой, Бабеля, Битова,

Искандера или миллионы — дорогого сердцу самого Рассадина Рыбакова? Наши советские алкаши, что ли?» О классике я уже и не говорю.

Любителей поэзии на Западе можно пересчитать по пальцам. Даже нобелевцы И.Бродский и Ч.Милош живут не стихами, а преподаванием и статьями. А купите-ка в магазине в Москве того же О.Чухонцева! Или вспомните двухсоттысячные тиражи поэтических книг А.Вознесенского и Е.Евтушенко. А кто ломится на поэтические вечера Б.Окуджавы, Д.Самойлова или Н.Матвеевой? Если судить по Рассадину, то, наверное, инопланетяне.

Кто так же раскупает сотни и сотни тысяч экземпляров «Нового мира», «Знамени», «Юности», «Октября»? Неужели самому «Огоньку» невдомек, что подобного рода болтовней он унижает и миллионы собственных читателей? Ведь даже знаменитому «Тайму» не снился тираж этого журнала.

Ко всему прочему можно добавить, что, наверное, и литературоведческие опусы самого Рассадина не залеживаются на полках магазинов, а ведь книги подобного рода если и издаются на Западе, то в академическом порядке, расходятся мизерными тиражами и, разумеется, дохода автору не приносят.

В заключение хотел бы привести один любопытный факт из текущей жизни. Как сообщил недавно московский корреспондент парижской газеты «Либерасьон» Пьер Бриансон, Донецкий стачком просил редакцию «Нового мира» прислать хотя бы по одному экземпляру журнала с «Архипелагом ГУЛАГ» на каждую шахту. Выходит, не одного лишь Пикуля жаждет читать наш народ.

Национальная самокритика — полезная вещь, если она не превращается в довольно пошловатый мазохизм на уровне уездных гимназистов: за границей все лучше.

И еще: не плюй в колодезь. Или вернее — в зеркало.

НАША ПОЧТА

ИЗ АРХИВА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«Континенту» исполнилось пятнадцать лет. Мне представляется, что в связи с этой датой читателям будет не безынтересно познакомиться с частью редакторской почты, воссоздающей фон, на котором происходили становление и деятельность нашего журнала. Кроме предлагаемых ниже, в моем архиве сохранились письма Василия Аксенова, Елены Боннэр, Иосифа Бродского, Георгия Владимова, Владимира Войновича, Владимира Корнилова, Инны Лиснянской, Булата Окуджавы, Мстислава Ростроповича, Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Андрея Седых, Юзефа Чапского и многих других деятелей русской (а также западной) культуры по обе стороны границы. Но для их публикации требуется разрешение моих корреспондентов. Будем надеяться, что большинство из них со временем дадут мне свое «добро» на такую публикацию.

Владимир Максимов

*

Stuttgart, 27/VII 1974

Дорогой Владимир Емельянович,

сестра сообщает, что Вы с журналом своим в полном динамизме... Если по части религиозно-философской (полагаю, что эту тему вы не собираетесь обходить) что желательно, я — кое-что — смогу послать, когда, через несколько дней, придет из переписки. Конечно, не вполне мне еще ясно лицо журнала.

А сейчас шлю цикл поэтический Вам — о состоянии между вечностью и временем. Вся беда материалистов, что они себя закупоривают во времени и тамдохнут, — это не относится только к теоретическим материалистам. Но выход в этот этаж высший надо производить без сухости рациональной.

Это как раз дело поэзии (как в стихах, так и в прозе). Обнимаю и призываю Божью милость на труды.

Ваш

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский

*

1 авг. 74 г.

Дорогой Владимир Емельянович,
благодарю за отклик.

Очень оценил и все Ваши возражения.

Между прочим, я совсем не поклонник диалектизмов, которых так много у Солженицына, хотя и преклоняюсь перед ним, писателем-борцом, совестным судьей России. Не восхищаюсь и «густой» орнаментальной прозой Ремизова или Серапионовых братьев. То, что гениально у Гоголя, — зачастую нудно у многочисленных гогольков или гоголят. Имею в виду прозу, потому что в поэзии я допускаю и метафорику и некоторые «темноты». Поэты быстрее думают и могут перескакивать с одного предмета на другой. Такие «перескоки» любил еще Державин (и это его выражение).

Пушкин писал просто, но обтачивая каждую фразу,веряя ее как формулу. Может быть, даже и он долго искал такие определения: Для горцев убийство одно телодвижение (Путешествие в Арзрум). Незаметно-простую нейтральную прозу создал Лермонтов. После него: Чехов. Их искусство неяркое, и это — большое искусство. А вот у Горького искусства не нахожу — ни в ранних романтических босяцких рассказах, ни в позднейших утомительных романах вроде Клима Самгина.

В общем, можно писать по-разному — и густо, и жидко, но ощущая **вес каждого слова**.

Меня потрясли ваши СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ как живое верное свидетельство о новой нарождающейся России. Захватил и замысел в КАРАНТИНЕ. Очень многого от Вас жду и жалею, если сказал что-то раздражившее Вас.

Мне лично кажется, все замечательные новейшие эмигранты (включая Вас) напишут свои лучшие книги в ближайшем будущем, на Западе. По-моему, между дурдомом и концлагерем нельзя хорошо писать. Или я ошибаюсь? Без опыта каторги не было бы Достоевского, но и МЕРТВЫЙ

ДОМ и все лучшие свои романы он писал позднее — иногда в нужде, но уже не в каторжном аду, а на свободе.

Вы первый писатель уже послеоктябрьского поколения, так хорошо, свободно показавший чуть ли не всю Россию. Увидели Вы и свет во тьме — Божий свет Христа.

Сказал бы больше, но это только письмо.

В конце августа проведу несколько дней в Париже и очень хотел бы с Вами встретиться.

Посылаю Вам мой сборник ЗОЛУШКА, и эта моя книжка как-то естественно должна Вам не понравиться.

С уважением и приветом

Юрий Иваск

*

Labelle, 4 августа 1974

Дорогой Владимир Емельянович,

Мне очень жаль, что наша встреча с Вами была столь краткой и столь — на людях... Пишу Вам, чтобы сказать, во-первых, как я рад был познакомиться с Вами и Вашей женой, и, во-вторых, чтобы спросить Вас — как дела с Вашим журналом и не могу ли чем-либо помочь Вам?

Буду рад получить от Вас весточку.

Пока же желаю Вам всего самого хорошего и шлю привет Вашей милой жене.

Искренне Вам преданный

о. Александр Шмеман

*

11 августа 1974 года

Дорогой Владимир Емельянович,

Был очень рад получить Ваше письмо. Я не в Нью-Йорке, мне его переслали сюда. Сразу же отвечаю по всем «пунктам». Во-первых, пьесой Вашей я **очень** заинтересован. Не знаю ее размера. Но, если он велик для одного номера (что я предполагаю), то можно дать в двух номерах. «Самоубийцу» Эрдмана я дал даже в **трех** книгах. Я был бы Вам очень обязан, если б вы мне пьесу выслали **поскорее**, ибо м.б. я успел бы дать ее уже в сентябрьской книге Н.Ж. 116-й.

Далее. Я давно уж страдаю, что в Н.Ж. не было о Вас большой статьи. Объясняется это тем, что у меня самого не доходят руки. Я ведь в журнале — один-одинешенек, как кустарь с мотором. Но мотор уж сдает, и я многого просто не успеваю сделать. Для статей о Солженицыне выкроил время только будучи на отдыхе, да и то с превеликим трудом. На мне лежит буквально все: и переписка с авторами, и правка рукописей (Вы же знаете, что многие рукописи нужно доводить до какого-то «литературного уровня», и это самая проклятая работа), и вся возня с типографией, и корректура, и возня с бухгалтером и пр. Это издавека так импозантно кажется — выходит толстый журнал — регулярно, четыре раза в год. А вблизи только я знаю, чего это мне стоит. И, забегая вперед, скажу, что я бесповоротно решил довести журнал до конца года. А там пусть кто-нибудь другой возьмет в свои руки его редакцию. И тут я, естественно, думаю о совсем недавно приехавших на Запад. Например, о Вас. Вы в редакции журнала работали в СССР, знаете это дело. Уверен, что если б вы пошли на это, то Вам создали бы и хорошие условия работы, т.е. нашелся бы секретарь, машинистка и пр. С американцами, помогающими Новому Журналу (Томас Витни, переводчик книг Солженицына, у меня с ним самые дружеские отношения) — (Джордж Кеннан, тоже большой друг журнала) — я уже давно говорил на эту тему, чтоб взял редакцию кто-нибудь из самых новейших «диссидентов», и они это очень приветствовали. Вернувшись в Нью-Йорк (1 сентября), я опять подниму эту тему. Во-первых, устал. Во-вторых — довольно, я в Н.Ж. с 1952 года. В-третьих, под занавес хочу еще написать некие «замогильные записки» (Мемуар д-утр томб), а НЖ мне этого не дает вот уже сколько лет.

Вот это я рассказал Вам для того, чтоб вы увидели всю мою духовную затормошенность, которая мне лично и не давала возможности написать о Вас. Других я просил: обещали, обещали и не выполнили. Один Крыжицкий написал, но этого совершенно недостаточно. Я хочу статью не об отдельных Ваших книгах, а — **О ВАС**. И тут статья Ев. Шифферса была бы как раз на месте. Поэтому бросьте все эти реверансы, что Вам неудобно и пр. Мне-то это очень удобно. И потому вместе с пьесой пришлите статью Шифферса, пожалуйста. Боюсь только, не появится ли она одновременно или даже **ДО** появления в НЖ где-нибудь —

в «Гранях», «Вестнике» и др. Это было бы не очень приятно. И второе — русские (жившие в СССР) пишут очень длинно, это — давняя черта русской литературы: растекаться по древу. Нас на Западе выучили писать много короче. И это слава Богу. Вот я и боюсь, что Шифферс написал страниц 100 или даже 50, тогда что же я буду с такой статьей делать. Конечно, мне приходится (частенько) и такие статьи доводить до «желанного размера» — 20-25 стр. И опыт у меня тут большой, не пораню. Но, конечно, было бы желательно, если б мой карандаш («Гуля жирный карандаш»!) к этой статье не прикасался.

Одним словом, курц унд гут, как говорят немцы. Шлите, пожалуйста, и пьесу и статью. И я надеюсь дать и то и другое в сентябрьской книге, если это не будет «сверх моих сил».

Теперь. Сейчас мы с женой живем на таком милом океанском курорте, но не каком-нибудь «буржуазном», а на курорте для «молчаливого большинства», это бывшая рыбацкая деревня, сейчас ставшая местом океанского отдыха (главным образом — семьи с детьми и молодежь). Причем тут все очень консервативно: национальные американские флаги у домов иль на домах, по пляжу прогуливается полиция, очень вежливая и симпатичная, все оборудовано прекрасно. Отдыхает тут «средний класс» и т.н. «пролетариат», которого в США нет. По коренной национальности жители тут — итальянцы, поляки, латыши. Но только древние старики говорят на своем родном языке. А уже люди среднего возраста — только по-английски. Вот отдыхаем мы на этом пляже (чудесный океан! океанище!), и я думаю: показать бы это все — советскому пролетарию, и он бы увидел воочию, что такое жизнь американского рабочего люда. Познакомились мы на пляже с семьей — он неквалифицированный рабочий (итальянец), она работница (итальянка), у них четверо детей, старший кончает колледж (высшее учебное заведение), у них три автомобиля: у мужа, у жены, у сына. Отдыхать приезжают каждый год сюда, в Лаваллет. Ненадолго — на две недели отпуска. Католики. Церковь тут католическая человек на 2 тыс. Я пошел на службу в воскресенье — все полно, яблоку упасть негде, сидячие места все заняты, и люди стоят около стен. Кто? Стариков и старух кот наплакал. Всё люди средних лет с детьми и молодежь. Все люди удивительно любезные, услужливые,

добродушные. Это не черный уголовный Нью-Йорк, который я все-таки очень люблю. Знаете, Владимир Емельянович, я знаю Европу хорошо: 14 лет в Германии, 17 во Франции, жил в Англии, Италии, Швейцарии, Греции, забегал даже в Испанию ненадолго. И когда друзья после войны стали тащить меня в Америку, я, как все русские, чувствовал к ней какое-то предубеждение (глупое, ни на чем не основанное, разве на дурацком «Желтом дьяволе») и не хотел ехать. А приехал — и так счастлив, что под конец жизни попал в эту чудеснейшую из стран: самую добрую (в смысле отзывчивости людей), самую свободную — сошел с парохода — и делай что хочешь, ни в какой комиссариат тебе идти не нужно, самую прекрасную в смысле природы — чего тут только нет, горы, реки (да какие!), океаны, города чудесные, степи, пустыни, леса, ну, что твоей душе хочется. И есть — **ПРОСТОР** — что нам, русским, так нужно, к чему мы привыкли с детства. А в Европе — тесно, душно, люди друг на друге сидят, ну ее к Богу старушку Европу, по ней никак не грущу. И считаю ошибкой теперешних советских эмигрантов, что они ориентируются на Европу, а не на Америку, впрочем, большинство евреев (кто не едет в Израиль) правильный берут курс — на Америку. Я встречал многих тут. Живут пока что с разинутым ртом и выпученными глазами: привыкают. Правильно поступила и Светлана; и довольна, что она именно тут. Мы с ней в дружеских отношениях и видимся. Вот и Вы, бросайте всех этих своих мздам и мэсье и переваливайтесь за океан. Свет увидите! Ну, ладно, обрываю, это я так к слову, а то подумаете, что я Вас «агитирую». А это не моя специальность.

Итак, жду от Вас пьесу и статью Шифферса. Но вот как надо посылать. Мы тут в Лаваллетт до 30 августа только. Потом возвращаемся к себе в Нью-Йорк (адрес на бланке, причем улица 113-я, а не 118-я, иногда на бланке эта цифра бывает не ясна). Если вы сможете выслать мне еще сюда — шлите **воздухом и заказным**. Тут старозаветная аккуратная почта, почтарь — поляк. Адрес такой: [...].

А если сюда вы не успеете так послать, чтоб пришло **ДО** 30-го, даже, скажем, **ДО 28** что ли, то шлите на Нью-Йорк по адресу «Нового Журнала», но **не заказным**, ибо секретарша, заведующая экспедицией и пр. будет в отпуску и пакет, полежав на почте, уйдет назад. **Шлите просто воздушной почтой, не заказным**. Секретарша раз в неделю

будет заходить и разбирать почту, которую будут бросать в отверстие в двери. Но, конечно, было бы очень хорошо, если бы вы **молниеносно** выслали бы мне заказным и по воздуху сюда в Лаваллетт, в курорт «молчаливого большинства». Тут я бы успел все прочесть и решить, как и что мне давать в сентябрьской книге Н.Ж. Адрес Н.Ж. такой (как на книге): [...].

Простите за длинное письмо и с всякими «зайтеншпрунгами». Это я тут отдохнул и бабахнул.

Искренне Ваш:

Роман Гуль

*

23.8.1974

Дорогой Владимир Емельянович,

с радостью получил Ваше письмо и также с радостью пришлю Вам статью, над темой которой не успел еще подумать, но которую (предварительно) мыслю как некое «письмо» — о судьбах христианства в современном мире, на Востоке и на Западе, о причинах его трагического кризиса и своеобразного бессилия. Подходит ли? Если найдется минутка, напишите всего лишь строку о сроках, в которые надлежит ее Вам послать, а также о размерах.

Обрадован известием о Вашем возможном посещении США и спешу сообщить Вам мой адрес и телефон, чтобы в этот раз можно было наладить подлинную встречу : [...].

Оглавление первого номера — весьма внушительное, и Вас можно от всей души поздравить с настоящим успехом, столь, увы, редким в нашей богоспасаемой эмиграции. Как хорошо, что Вы сразу же, по замыслу, вышли за ее пределы, преодолели ее неисправимый «нарциссизм».

Итак, крепко жму Вам руку и желаю бодрости и душевных сил. Кланяюсь Вашей жене и с радостью жду встречи.

Ваш

Александр Шмеман

Я в Нью-Йорке, дома, т.е. по вышеуказанному адресу, с 1 сентября.

3 октября, 1974

Многоуважаемый и дорогой
Владимир Емельянович,

Как хотелось бы мне повидаться и поговорить с Вами. Меня ужасно волнует та колоссальная перемена, которая произошла в нашем русском народе. Приезжающие с Родины современные советские люди для нас, старых эмигрантов, выехавших во время или в конце первой мировой войны или в начале революции, и та, которая годами переживала и переживает революцию, — чужие. Я не говорю про группу исключительных людей — писателей, поэтов. Я говорю про молодежь и людей среднего возраста, не знавших ничего другого, кроме коммунистической власти. У них нет ни религии, ни традиций, ни простого воспитания. Правда, есть исключения. И, как часто говорят, если эти люди хорошие, то они **очень, очень хорошие**, и мы с моим другом, Татианой Алексеевной Шауфус, с которой работаем чуть не сорок лет в деле Толстовского Фонда, сразу же находим с этими людьми общий язык.

В конце концов, воспитание десятилетиями под влиянием атеистической коммунистической власти, угнетение людей холодом, голодом, настойчивой упорной пропагандой делает свое дело.

В наше время нигде не легко жить. Много греха, всегда было его много. Но сейчас люди находят ему оправдание, оправдываясь тем, что стало так трудно жить: недостаток продовольствия, одежды, дороговизна и т.п. Слишком много, волей-неволей, придается значения материальным благам, ошибочно думая, что поднимется мораль, когда поднимется уровень материального благополучия, а с другой стороны, в большинстве случаев слишком хорошие благополучные условия, роскошь жизни и богатство не поднимают, а наоборот, заглушают моральную сторону существования.

Хочется верить в лучшее будущее, что человечество, удивившись в непробудной тьме о глубокое дно грязи, аморали, может от толчка начать подниматься вверх — на светлый простор.

С глубокой надеждой и часто с большой радостью читаю Ваши книги и современных советских поэтов и писа-

телей и только жалею, что эти книги недоступны массам русского народа.

Надеюсь, что Вы не обидитесь, что я — писатель-дилетант решилась послать Вам свою книгу «Проблески во тьме».

Проблески — это те чудесные люди, которые в этой тьме советской действительности поддерживали меня, украшали жизнь.

Жаль, что не всё можно доставать, что было написано в неволе коммунистической России и у нас.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам привыкнуть и обжиться в чужой стране.

Скучно без Родины!

С искренним, сердечным приветом

Ваша

Александра Толстая

*

29 октября 1974

Дорогой Владимир Емельянович,

Спасибо огромное за **Континент**! Поздравляю Вас с большим и подлинным успехом и от души радуюсь за Вас и за читателей. Активно пишу статью, которую надеюсь скоро выслать. Если чем могу помочь Вашему делу здесь — пишите, и я приложу все усилия. Еще раз спасибо. Может быть, когда несколько спадет суматоха, в которой вечно приходится жить, напишу подробнее о своих «рефлексиях» на номер.

Ваш

Александр Шмеман

*

16 Декабря 1974

Дорогой Владимир Максимов,

Смысл этого ежегодного послания поздравить с Рождеством и с Новым годом и обратиться к большому кругу знакомых и друзей со своевременным словом напоминания и сознания. А это — как вы наверное знаете — в этом нашем сегодняшнем мире не всегда легко.

Этот год, однако, составляет исключение в том, что встреча с Вами принесла мне долгожданное слово: цитата из

Вашей незабвенной речи 12-ого Мая в Берлине. Оно мне кажется самым подходящим лозунгом к наступающему году.

За это и многое другое, что Вы с Вашими друзьями нам дали, благодарю Вас и желаю Вашей супруге и Вам счастливого Рождества Христова и счастья в Новом Году.

С уважением Ваш

Аксель Шпрингер

(Письмо получено в русском переводе)

*

2 - II - 75

Милая Госпожа Максимова,

В.В. просит меня поблагодарить Вас и Вашего мужа за 20й номер «Континента». Очень хотел бы написать Вам сам, но сейчас совершенно не может прервать работу даже на час. Над ним висит то, что у нас в Америке называется «*deadline*», т.е. срок, к которому необходимо поспеть. Он очень был рад узнать, что Ваш муж пишет новую книгу, и желает ему блестящего успеха.

У нас осталось очень приятное воспоминание от Вашего посещения.

С сердечным приветом.

Вера Набокова

*

3го Ноября, 1975 г.

Дорогой, глубокоуважаемый
г. Максимов!

После того как я просмотрел мой архивный материал в связи с моей картой ГУЛАГ, история которой Вас заинтересовала, я решил выслать Вам избранные письма и печатные вещи, рисующие мое участие в борьбе, которую Сахаров и Солженицын так блестяще ведут полвека спустя. Прилагаемые 14 «*exhibits*», и карта, которую Вы сняли, дадут Вам возможность составить очерк, как Вы предполагаете.

Я жалею, что мне не удалось познакомиться ближе с Вами, но надеюсь, что Вы и Ваша очаровательная супруга прибудете в США в 1976 г. Мы живем на ферме, но дом у нас большой, и мы будем счастливы, если вы воспользуетесь нашим горячим гостеприимством.

С сердечным приветом,

*Исаак Донович Левин**

*

3-го декабря 1975 г.

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Чувствую потребность выразить Вам мое глубокое удовлетворение — удовольствие было бы тут неподходящим словом — от Вашей статьи «Осторожно — Евтушенко!», которую я прочел и в «Русской Мысли», и в «Новом Русском Слове». Как хорошо, что вы всё это сказали, даже если увлечение Евтушенко среди зарубежных русских и среди иностранцев сейчас и на спаде. Несколько лет тому назад оно приняло прямо колоссальные размеры. Меня особенно огорчил в этом отношении Владыка Иоанн, архиепископ Сан-Францисский, которого я знаю больше 50 лет, люблю и уважаю. Не знаю, изменил ли он свое отношение к Евтушенко теперь, но лет пять тому назад у меня было с ним даже столкновение на этой почве: он очень положительно отзывался об Евтушенко, защищал его передо мной, принимал его у себя на Подворье, возил по Калифорнии, увлекался его выступлениями. Я же всегда своих знакомых и друзей предостерегал против Евтушенко.

В Вашей статье, может быть, только не совсем правильно употребление слова «провокация» в начале. То, о чем Вы пишете, едва ли можно назвать «провокацией», хотя возможности провокации тут и заложены, и с этим, конечно, надо считаться.

* Исаак Дон-Левин — известный американский советолог и политический деятель. Составитель первой на Западе (впоследствии подтвержденной свидетельствами очевидцев) карты ГУЛАГа. Основатель радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа». — В.М.

Позволю себе послать вам одну свою давнюю статью, написанную под впечатлением от тех выступлений Евтушенко, которые мне довелось слышать (на одном из них был и Владыка Иоанн). Статья эта была напечатана в парижской «Русской Мысли» и перепечатана в выходящей в Сан-Франциско газете «Русская Жизнь».

Очень жалею, что нам не удалось по-настоящему познакомиться, когда я был в мае на короткое время в Париже. Нас тогда представили друг другу на ходу в антракте на вечере Галича, но я был в ту минуту занят деловым разговором с Мишелем Окутюрье, Вы прошли, и потом я Вас уже не видел. Надеялся еще раз увидеться с Вами на одном собрании, на котором Вы должны были выступать, но Вы не выступили там. А потом Вы уехали в Германию, а я через некоторое время должен был возвращаться через Англию в Америку. Надеюсь все же, что наши пути еще скрестятся где-нибудь, хотя я сейчас уж не очень-то разъезжаю.

Я читал большую часть Ваших произведений и некоторые из них очень ценю.

Искренне уважающий Вас

Глеб Струве

*

Warszawa, dnia 14.12 1975 r.

Дорогой Владимир Емельянович!

Извините, что я обращаюсь к Вам на русском языке, хотя я уже совсем забыл говорить по-русски с детских моих лет в училище маленькой родимой деревни.

Но я думаю, что это будет для Вас выражением моего глубокого почтения к народу, который теперь находится на дороге Христа Спасителя.

Я всегда считал, что есть разница между народом и его начальством. Народ живет, но люди должны возвращаться туда, откуда они и пришли на землю.

Вот для народа надежда, что мы все будем одно с Отцом всех народов и людей.

Эта надежда обозначает много для всех живущих во время труда и Креста.

«Придет и не опоздает Тот, Кто всё объединит».

«Поднимите головы, ибо приблизилось ваше Спасение».
(из предрождественской литургии).

К Рождеству Христову Вам, дорогой Владимир Емельянович, и всем Вашим друзьям желаю передать: Аллилуя, мир с Вами, аллилуя!

Стефан Кардинал Вышинский

*

Слава Иисусу Христу!

Ватикан, 3 ноября 1977

Глубокоуважаемая редакция!

Спасибо Вам превеликое за память про «каторжника» и поздравления по случаю юбилеев. Объединенные общим желанием работать на благо наших народов, будем же идти дальше вперед с Богом и упованием, что наш труд и усилия несут благословенные плоды свободы и справедливости.

Во Христе

*Иосиф Слипый,
Патриарх и Кардинал*

(Оригинал по-украински)

ГЛАВНАЯ ВДОВА РУССКОЙ ПРОЗЫ

Уважаемый Владимир Емельянович!

О записках В.Коньковского «Последняя встреча» уже много писали. Я, наверное, и не взялась бы за письмо, если бы не прочитала в 59-м номере «Континента» у И.Муравьевой: «Бедный Виктор Платонович, как ему защититься с того света!»

Так случилось, что среди многих писем В.Некрасова, которые мы храним, есть письмо, написанное им вскоре после этой «последней встречи» с В.Коньковским. Посылаю Вам фотокопию этого письма. (Исключены несколько строк, которые представляют интерес только для нашей семьи.)

Сразу после смерти В.Некрасова — Конецкий стремится «заработать» на Некрасове, и заработать вдвойне: с одной стороны, успеть одним из первых написать о нем в советской прессе и — с другой стороны — никак не уронить звание «старого коммуниста». Вроде бы и невинность соблюсти, и благонадежность показать. С благонадежностью все в порядке. Никаких сомнений в благонадежности В.Конечкого не может возникнуть ни по эту, ни по ту сторону границы. В первых же строчках В.Конецкий создает свой образ — старый коммунист, гроза и левых, и правых в Париже...

Последнюю встречу с В.Некрасовым Конецкий описывает как «последнюю встречу Вики с Викой»: встретились двое давних, близких друзей, оба Вики, и, конечно, беседуют на равных... Впрочем, нет — никак не на равных: куда там бедному Вике-эмигранту до Вики из метрополии. Тот, из метрополии, натурально, дальновиднее, удачливее, «правильнее» эмигранта.

Конецкий допрашивает, экзаменует, оценивает Некрасова, подозрительно вглядывается («Не знаю, насколько он замазан !!! Это знает КГБ»). У него возникает даже «страшное» опасение — «может, Некрасов уже начитался здесь Набокова...». Конецкий дает Некрасову советы, дает задания, с которыми бедному Виктору Платоновичу никак не справиться... Строго обрывает зарвавшегося эмигранта, осмелившегося заговорить о будущем России: «Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат». Вот это да! Похоже, что у Конечкого просто выпало из памяти, кто же из них двоих написал «В окопах Сталинграда»...

С трудом веришь своим глазам, когда Конецкий выстраивает систему плоских противопоставлений — «ты здесь... а я там...»:

— У Некрасова маленькая квартирка, даже слышно в телефонную трубку, как льется вода в ванной. Конецкий подозревает, что Некрасов не хотел ему показывать свое «скромненькое жилье». А у Конечкого — большая квартира с балконом.

— У Некрасова здесь не выходит собрание сочинений, а у Конечкого там выходит четырехтомник.

— Ты здесь на метро, а я там на такси.

— Ты здесь без шарфа, а я там с запонками...

Это настолько примитивно, что поначалу кажется розыгрышем.

К сожалению, это не розыгрыш.

Пожалуй, нет ни одного русского писателя, который с таким удовольствием писал бы о своем материальном благополучии. 25-рублевки так и порхают по страницам. Да и с инвалютой у Конецкого тоже, оказывается, все в порядке. Особенно нелепо все это звучит в приложении к Некрасову, у которого была совершенно другая шкала ценностей.

То, что «последняя встреча» проходила без свидетелей, а самого Некрасова уже нет, — развязывает мемуаристу руки. И появляются эти чудовищные «якобы-цитаты» из Некрасова, которые никакого отношения к Некрасову не имеют.

— Нет тут никаких писателей — все засранцы.

— Максимов? — Я с ним в разрыве... но прохиндей он идейный... хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку...

— Владимов? — Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.

— Аксенов? — А ну их всех в ...

— Солженицын? — Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики.

Ни при какой погоде Некрасов не мог произнести: «в дерьме на тротуаре кукует». Крепкое словечко — другое дело. Но не этот боцманский лексикон, ерничанье, злорадное брюзжание — до последних дней ему были свойственны радостный интерес к людям, сверхснисходительность, редкое благородство.

Вкладывать в уста уже ушедшему писателю оценки, противоположные его сути, его характеру, его человеческим пристрастиям, — это оскорбительно, неприлично и просто чудовищно. Пройдут годы — и бойкие филологи начнут закавычивать эти недобросовестно приписанные писателю высказывания. Осторожно! Не верьте! Прочтите самого Некрасова.

Дорогая Светлана!

Что-то в вашей жизни произошло кардинальное — начисто забыт я, далекий и когда-то любимый. А я, вот, помню и посылаю даже нечто о вашем Алеше Германе... Добрый все же я.

...Был здесь недавно Витя Конецкий... Два вечера мы посидели с ним в моем «Монпарнасе», пили пиво и, как ни странно, без особого азарта.

Парень он, кажется, хороший (до сих пор «ходит» на кораблях), но как-то он меня не очень обаял. Какой-то категоричностью и активной нелюбовью к Васе Аксенову и Толе Гладилину.

Горбачева похваливает — говорит, что ему, Вите, при нем стало просто хорошо — издают, переиздают. Не могу сказать, чтобы об этом, последнем, он говорил мало. Приехал с какой-то делегацией из мудака и мучачки — руководителем...

...Из ярких, радостных впечатлений — концерт С.Юрско-го. От его шукшинских «Сапожек» я просто рыдал...

Вот так-то... Целую, несмотря ни на что.

В.

Не было, как видите, трогательного единения двух Вик. Не было этих слов об Аксенове и других писателях, которые Конецкий приписывает Некрасову.

А что было? Было — подробное и многословное описание Конецким своих успехов. Была — активная нелюбовь Конецкого к Аксенову и Гладилину. Была — категоричность Конецкого, оттолкнувшая Некрасова.

Жалко и недостойно выглядит желание В.Конецкого примазаться к славе В.Некрасова, изобразить себя близким другом, чуть ли не душеприкащиком В.Некрасова.

Собственно, это в какой-то мере повторяет то, что Конецкий уже проделал однажды — по отношению к Юрию Казакову. Но — как прекрасно сказал по этому поводу В.Аксенов («Континент» №50, с.352), «...все его попытки создать на фоне Казакова свой образ, равный его покойному другу и корреспонденту, образ писателя Земли Русской, рыцаря пера без страха и упрека, рушатся в бытовой соцреалистической банальности. Ничего не получается... и, как видно, уже не получится. Не старайся!»

То Конецкий — ближайший друг Ю.Казакова, то — один из последних советских писателей, который видел В.П.Некрасова и которому Некрасов чуть ли не исповедался... Эдакая вдова русской прозы...

Должна сказать, что никакой радости от «уличения» Конецкого в недобросовестности я не испытываю: я всегда считала его честным человеком, порядочным и не суетливым.

Ну что ж, мне так же, как и Конечкому, приходят на память слова соседа В.П.Некрасова по кладбищу, сказанные о таких прилежных исполнителях социального заказа:

Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни в никуда, а другие — в князья...
Им право — не право, им совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Светлана Гельман

Монтерей, 27 сентября 89

Дорогой Континент!

Господа, прошу простить меня за то, что пишу в советском стиле написания писем, но, увы, я серый и другому стилю на русском языке не был обучен.

Я русский, меня зовут Женя Сухарников, мне 19 лет. Я приехал уже больше (июнь 88) года тому назад в Австрию по приглашению моих хороших австрийских друзей; и я не вернусь назад в Совдепию. Скоро я еду в Америку for permanent resident — (на Рождество, т.е. на Рождество у меня «отлет» в Новый Свет). Добрые Штаты приняли меня по National Refugees' Program, так что всё ОК. Последние три месяца я доживаю в Европе и думаю, что у меня будет ностальгия как по моему Питеру, так и по чудной и дружественной Австрии, где я провел наилучшие 1,5 года в моей жизни. Конечно, можно и остаться в Австрии, но не особенно хочу иметь вместо хоть какого-нибудь паспорта австрийский Ausweis из Bundesministerium für Innere и носить с собой липкое слово Fluechtling. Ну ладно, «хочешь кататься, умей и саночки возить»; простите меня за то, что пишу весь этот бред.

Но — я уже больше года без русских (почти) книжек. Недавно нашел чуть ли не в помойке журнал «Континент» №21, год 1979. Прочитан он уже 1000 раз от корки (буквально) до корки. У меня есть только он, Евангелие и сборник стихов о Питере, который прислала мама. Я живу не в Вене, а в деревне. Русских знакомых нет; правда, у меня есть настоящий друг (чего не было в Союзе), но он поляк. Все при-

ятели и подружки поляки (слава Богу, что на Земле есть этот народ) и австрияки. Купить русские книги у меня в селе — невозможно! Я читаю «Playboy», «US-News and World report», «USA-Today», «Newsweek», американские и английские романы, насколько позволяет мой немецкий — еще «Quick», «Stern» и «Spiegel» (единственные три немецкие журнала, которые можно читать, от всего другого, что тут продается по-немецки, только умственно и морально деградируешь).

Радио Свобода слушать регулярно не могу, т.к. тошнит, они, по-моему, получают у вас в Мюнхене две зарплаты: от Конгресса США и вторую от Совета Министров СССР — половина их передач стала (а может, была, я этого только не замечал) бесплатным радиоприложением к «радиостанции Родина», «Юность», «Маяк» и «Радио Москва», а другая половина программ может носить имя (очень неактуально): «слабый голос из злобного подполья».

Простите меня, я уже начал истекать ядом. Каждый день приползаешь домой с работы из пекарни, бутылка виски, бутылка Bitter Lemon, и начинаем тройкой я, Иренка, Ярослав пить и проклинать: коммунистов (на их голову, я думаю, больше всего падает проклятий — и всё по заслугам), погоду, Враницкого (за что — не знаю, хороший и симпатичный человек у австрийцев их Враницкий).

Ну ладно, опять говорю Вам, что я сам не хорошо понимаю, зачем все это Вам пишу! Но меня беспокоит одна «мысль» — живете ли Вы еще, существуете ли? Есть ли такой журнал «КОНТИНЕНТ». Если есть — то слава Богу (и слава Вам), так как (без лести) судя по номеру 21 за год 1979 — Вы — это здорово, это космос. Просто хороший — ЗАПАДНЫЙ — уровень, надеюсь, что не только был. All right!

Пожалуйста, спасите меня, я не знаю, сколько стоит Ваш журнал. Написано было DM 12, сейчас, думаю, 20-25. Знал бы точно, вложил бы в конверт перевод. Пришлите мне, пожалуйста, 2 номера (наложенным платежом) — один я pošлю маме, а может, куплю и третий для отца и его семьи (если дойдет по почте в Совдепию). Я куплю у Вас так номер за сентябрь, октябрь до Нового Года, а на Новый Год буду в Америке и подпишусь на Ваш журнал. Пожалуйста, пришлите мне условия подписки в США! Пожалуйста, также, если это можно, может быть, у Вас есть на складе не-

купленные старые «Континенты» — сколько они стоят за номер? Дешевле новых?

Есть ли у Вас другие русские книжки? Могли бы прислать каталог? Можно ли будет (если есть) покупать русские книжки у Вас, если буду жить в США.

Где можно купить кассеты с русскими бардами — Окуджава, Высоцкий, Розенбаум (еврейский, правда) и разное другое.

Надеюсь и верю на Ваш скорый ответ.

Благослови Вас Бог

Всего самого хорошего.

Евгений Сухарников

Лунц-ам-Зее, Австрия

Здравствуйте, дорогие члены редакции журнала «Континент».

Разрешите сказать вам большое спасибо за правду, которую вы несете к нам своим журналом. По счастливой случайности мне в руки попал журнал «Континент». Нужно сказать, что он произвел на меня огромное, неизгладимое воздействие. Ничего подобного я никогда не читал (естественно, не из-за того, что не хотел). Я впервые услышал слова правды, сказанные в адрес страны Советов. Да что я, вся наша группа (я учусь на филологическом факультете Томского университета) была потрясена тем, что ей рассказывает ваше издание. Это было подобно яркой искре, на мгновение озарившей наши зачерствевшие души.

Важно сказать, что с вашим журналом, под его воздействием начало меняться отношение наше к человеку капиталистического общества. Оказывается, они совсем не те, за кого их у нас выдают, больше того, они обеспокоены нашей судьбой даже больше, чем мы сами.

Именно такой взгляд начал формироваться в нашем сознании.

И, заканчивая письмо, я прошу снабдить нас литературой. Если это посильно для вас, то, пожалуйста, выполните эту просьбу.

Студент Сотников Андрей

25.XI.89

ТРЕБОВАНИЯ

городского стачечного комитета г. Воркуты

1. Действительно передать власть Советам, землю — крестьянам, фабрики — рабочим.

2. Отменить выборы в Верховный Совет СССР от общественных организаций.

3. Отменить статью в Конституции СССР о руководящей и направляющей роли партии.

4. Проводить прямые и тайные выборы Председателя Верховного Совета СССР, председателей местных Советов, начальников городских, районных отделов Министерства внутренних дел на альтернативной основе.

5. Отменить практику лишения слова депутатов на сессиях и съездах Верховного Совета СССР путем голосования. Каждый депутат имеет право голоса, независимо от мнения большинства.

6. Отменить антидемократические законы о митингах, демонстрациях, полномочиях [внутренних] войск.

7. Полностью прекратить финансовую и экономическую помощь братским тоталитарным режимам. Высвобожденные средства направить на нужды народного хозяйства.

8. Немедленно приступить к кардинальной реформе действующих профсоюзов снизу доверху.

9. Утвердить право всех категорий трудящихся объединяться в профессиональные независимые организации по своему выбору.

10. Предоставить и утвердить право всем гражданам объединяться в политические ассоциации, партии и группы, стоящие на платформе ненасильственных действий.

11. Ввести поэтапный переход к двухпалатному Верховному Совету, избираемому прямым голосованием.

12. Запретить совмещение постов Генерального Секретаря ЦК КПСС и Председателя Верховного Совета СССР.

13. Вывести средства массовой информации из-под контроля КПСС, в законе о печати обеспечить право каждого гражданина на свободное высказывание своих взглядов, право издательской деятельности.

14. Отменить Закон о порядке разрешения трудовых споров, при разработке нового учитывать мнения и альтернативы трудящихся.

Рабочее движение утверждает, что политическая и экономическая свобода является естественным правом человека, данным ему от рождения.

Перечисленные вопросы включить в повестку дня и решить на II съезде народных депутатов.

Воркутинский городской рабочий стачечный комитет

1 ноября 1989

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КЕНТАВР В КАЧЕСТВЕ ИДЕАЛА

Интерес советских историков и политологов к личности и трудам Никколо Макьявелли* столь же несомненен, сколь и понятен. Прибегая к помощи этого писателя и политического деятеля, жившего в совершенно другую эпоху и в ином государстве, они, совершенно очевидно, хотели бы истолковать наиболее разительный феномен российской действительности нашего столетия — феномен сталинщины.

Историк итальянского Возрождения Леонид Баткин в примечаниях к своей книге «Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности» перечисляет чуть ли не десяток работ советских исследователей последних лет (в том числе известного политолога Ф.Бурлацкого), посвященных «загадке и урокам» Макьявелли. Сам он уделил примечательному итальянцу и его знаменитому трактату «Государь» треть объемистого, 270-страничного труда, посвятив ему главу 5-ю книги, озаглавленную: «Кризис ренессансного сознания. „Государь“ Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности».

Надо сказать, что Л.М.Баткин, именующий себя учеником и последователем М.М.Бахтина, пишет так же вяло и многословно, как его учитель. И в этом многословии пропадают, теряются как верные, так и заведомо неверные концепции автора; проследживать их — занятие малоблагодарное. Хотя Академия наук СССР и поставила на книге гриф «Научно-популярная литература», читателю приходится продираться через длиннющие фразы, повторы, пережевывание «уже пройденного».

При всем том сам подход Л.М.Баткина к «Государю» Макьявелли (честь и хвала ему за это!) — подход ученого, исследователя, не считающего возможным затемнять восприятие трактата знаменитого итальянца теми или иными обывательскими эмоциями. Такой подход к книге, пользующейся одиозной известностью, обосновывается и разъясняется по-баткински пространно. Исследователь исходит из того, что «существует и такая сердцевина макьявеллиевской проблематики, которая до сих пор не распознана, не на-

Л.М.Баткин. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., «Наука», 1989. (Из истории мировой культуры).

* Такой транскрипции этого имени придерживается автор рассматриваемой книги, что заставляет и нас употреблять данное, несколько нетрадиционное написание.

звана своим настоящим именем. Макьявелли — впервые! — столкнулся с некой существенной трудностью, с одной из исходных коллизий Нового времени, которую мы попытаемся рассмотреть не с ее эмпирической, непосредственно социальной, политической или моральной, словом, идеологической стороны, но — в логико-культурном и, следовательно, всеобщем значении... Его интересует: в какой степени, вникая в каждую политическую ситуацию, предвидя, в каком направлении она должна сдвигаться, опираясь на опыт и принимая в расчет свойства человеческой природы, — в какой степени и на каких условиях может склонить исход борьбы за власть в свою пользу проницательный и деятельный индивид.

На страницах „Государя“ или „Рассуждения“ сразу видно, ради чего эти книги написаны.

Нас же будет занимать другое.

Что происходит — в недрах макьявеллиевой логики — с самой индивидуальностью доблестного государя как таковой? (И в последнем счете в историко-культурной ретроспекции — с идеей личности, как мы теперь это называли бы)» (выделено автором книги).

Если отвлечься от этого многословия, вопрос, который ставит перед собой советский исследователь, сводится вот к чему: насколько закономерно появление трудов Макьявелли и мыслей, формулируемых в них, именно в эпоху Возрождения? и насколько они отвечали духу и устремлениям эпохи?

Л.М.Баткин справедливо видит в рецепте успешливого и — в идеале — неуязвимого «государя», данном Макьявелли, выражение антропоцентризма Возрождения, его «человекобожия». Этот торжествующий антропоцентризм — идея, провозглашенная или пусть только подразумеваемая, так сказать, носящаяся в воздухе, вызвала, с одной стороны, «взрыв творческой энергии, который мы называем Возрождением». А с другой — и об этом тоже надо бы говорить в полный голос, — осватила и тем самым раскрепостила все стороны человеческой личности. Широкий человек, как с тревогой отмечал Достоевский. Западноевропейский философ нашего времени еще более отчетливо поставил точки над *i*, печально констатируя, что творческие способности и патология человеческой личности — «две стороны медали, отекающей на монетном дворе эволюции».

Раскрепощение — по сути атеистическое — человеческой личности в эпоху Возрождения соблазняло закрепить и, так сказать, легализовать принцип «цель оправдывает средства», то есть идею вседозволенности, всепонимания и всепрощения, не нуждающегося в церковной индульгенции. Закрепить и легализовать в форме как бы отвлеченного, философского даже, и вместе с тем прагматического трактата. Столь же естественно было избрать предметом этого трактата предельный случай земного могущества смертной личности: положение «над обществом», трон, над кото-

рым не властны человеческие законы, который сам себе — закон и судья.

Человек — не только «творец самого себя», но и достигший предела возможного, — вот герой макьявеллиевского трактата. Божеские законы, заповеди, судьба, рок игнорировались Макьявелли при этом как потусторонние, а следовательно, иррациональные факторы, способные разве что нарушить чистоту эксперимента.

При всем том Никколо Макьявелли осторожен. Поучая и желая быть правильно и до конца понятым, он в то же время прибегает к многочисленным отступлениям, зигзагам, которые считает нужным обильно цитировать Баткин. Признавая, что «речь Макьявелли порой несколько даже неуклюжа, назойлива в своих поворотах, словно он старается ухватить бьющуюся в сознании мысль», советский исследователь, тем не менее, вольно или невольно, внушает читателю представление, будто вводит его в некую «творческую лабораторию», «кухню мысли» итальянского политика, жившего за полтысячелетия до нас. Однако такое представление было бы ошибочным. Многословие Макьявелли и то обстоятельство, что временами он как бы не решается отдать предпочтение однозначной стратегии правителя, одобряя в одном владыке и в одних обстоятельствах — осторожность, в другом — склонность к риску, в этом — терпение, в том — нетерпеливость, — лишь вуалируют все ту же прямолинейность стержневой мысли: средства оценивают по достигнутой цели, победителей не судят. «Ибо чернь прельщается видимостью и успехом, а в мире только чернь и есть, и немногим доблестным в нем находится место, только когда им удастся обзавестись крепкой опорой».

«Какие бы то ни было моральные ограничения сделали бы государя менее гибким и ловким правителем, менее „мудрым“ и „доблестным“, короче, менее универсальным — независимо от того, состояли бы ограничения в неспособности быть великодушным, милостивым, щедрым, справедливым или в неспособности быть свирепым и коварным», — резюмирует Л.Баткин. Однако конечные выводы исследователя противоречат этому проявленному им пониманию концепций Макьявелли.

Так, Л.Баткин пишет, что мысль Макьявелли «обращена на д е с а к р а л и з о в а н н о г о индивида». Совсем напротив: Макьявелли, в духе своего времени, сакрализует именно индивида, человеческую личность, ее универсальность, ее, по Достоевскому, широту — что очень характерно как раз для эпохи Возрождения. В этом смысле, подчеркнем еще раз, Макьявелли был сыном своего времени, ярким выразителем его е р е т и ч е с к и х моральных и социальных «установок». В другом месте своего исследования Л.Баткин, прямо ставя тот же вопрос, отвечает на него подчеркнуто однозначно, однако опять в противоречии с действительным смыслом писаний Макьявелли:

«Государь — извращенец ренессансной идеи человека? Да».

О нет! государь Макьявелли — законченное воплощение ренессансной идеи человека, творца самого себя, повелителя своей судьбы, «кузнеца своего счастья».

В то же время макьявеллиев «Государь» — не что иное, как камень, легший в фундамент грядущих утопий*. Более того: это один из краеугольных камней будущих утопических замков — если угодно, замок свода. В этой связи очень характерна и знаменательна оговорка Макьявелли насчет «черни», из которой будто бы «только и состоит» мир. Эту «чернь», по убеждению утопистов всех времен и народов, надлежит вести к светлому будущему, не останавливаясь и перед насилием, вернее, практикуя почти исключительно насилие, необходимое уже хотя бы потому, что сама чернь неспособна разобратся, в чем ее конечное и истинное благо.

Парадоксальным образом воспевание человеческой личности в эпоху Ренессанса сочеталось с презрением к человеку — не потому ли, что в нем переставали видеть Божье создание, начинали трактовать его материалистически?**. Что же удивительного в том, что Ренессанс «создал интеллектуальные предпосылки утопии»?

Л.Баткин считает макьявеллиевского «Государя» «великой книгой». Это его дело и его право. Только зачем же протягивать нити от Макьявелли, скажем, к финалу гётевского «Фауста» или того пуще — к Ницше? Как можно было усмотреть в Фаусте персонаж, «преуспевший в широком и практическом социальном действии»? Фауст — пример классического социального — и личного, кстати, — бездействия: «Я философию постиг... увы, с усердьем и трудом и в богословье я проник», — «проник» в науки для себя, и только; когда же, по видимости, доходит до дела — можно ли считать лихорадочную и вместе с тем иллюзорную работу зловещих лемуров в финале «Фауста», так тешащую этого «постигшего», за «широкое практическое, социальное действие»?

* Сам же Л.Баткин полагает справедливым замечание современного итальянского исследователя А.Тененти: Ренессанс создал «интеллектуальные предпосылки утопии». Но тут же советский автор объясняет, что утопия — это нечто противоположное «ренессансному идеалу социальности». Отчего же?

** Отсюда — поучения Макьявелли: «Государю необходимо уметь превосходно пускать в ход то, что свойственно и человеку и животному. Именно этому иносказанию учили древние (заметим: языческие. — И.К.) авторы, рассказывавшие о том, как Ахилла и многих других государей в древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, чтобы он их взрастил и выучил. Что это значит иметь наставником полуживотное, получеловека, как не то, что государь должен уметь совместить в себе обе эти природы, потому что одна без другой сделала бы его власть недолгой».

Итак, социальные действия и теоретические труды вроде макъ-явеллиевского «Государя» пролагали утопии путь к власти. Но государство, сконструированное по подобным рационалистическим рецептам, приемлемо разве что для полуживотных, для «кентавров», какими в идеале видели эти мыслители и государя, и его подданных. Человеку в нем жить невозможно.

Иосиф Косинский

Нью-Йорк

КАМЕРА ХРАНИТ

Итак, разрешено некое подобие издательской деятельности. Тем самым как бы признано (кем?), что в некоторых своих проявлениях литературный процесс может быть свободен от коммерции (по-советски, что, в общем-то, сильно отличается от обыкновенного представления об оной). Кажется, однако, что разрешающие хотели что-то продемонстрировать непредубежденному читателю и даже доказать. Может быть, что все, достойное именоваться литературой, может выйти только обычным путем, то есть влезанием в темплены, унижениями перед властью имущими, кулуарным мельканием и — как следствие — гарантированным гонораром. На долю же изданий за негосударственный счет, дескать, и придется тот графоманский поток, от которого столь успешно (или столь безуспешно) не одно десятилетие отбиваются издательства. Демонстрация, как сообщают газеты, проходит хорошо и доказывает, что грамотой овладели многие. Происходит это потому, что обижены были все, вне зависимости от Божьего дара, пола, возраста и национальности, и все обиженные надеются на чудо.

Естественно, в нашу задачу не входит скрупулезное определение: за государственный или чей еще счет больше издается того, что к литературе имеет отношение лишь постольку, поскольку использован алфавит. Не трудно представить, что в обоих случаях процент нелитературы примерно одинаков и преобладающ.

Целью, повторяем, не является анализ. Целью... Но все же речь о литературе. И коли не преследует целей она (цель — не заяц, смысл важнее цели), то что же нам?.. Речь о книге.

Выпущенная независимым образом, в отличие от других (в этом подобных ей) изданий, «Камера хранения» только так (независи-

Камера хранения. Четыре книги стихов: Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе; Ольга Мартынова. Поступь январских садов; Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз; Валерий Шубинский. Балтийский сон. М., «Прометей», 1989. Издание осуществлено за счет ленинградского театра «ДАНЕТ».

мо) и могла выйти в пределах отечества. Потому что она независима по природе своей, не считая себя обязанной кому-то что-то доказывать. Потому что авторы ее не принадлежат к числу «обиженных». Возросшие в чудесные, спокойные, духовно-сосредоточенные «годы застоя», они, авторы, даже не пытались навязаться не только что совлитпроцессу, но и его карикатурному братцу-карлику — т.н. литпроцессу «второй культуры», выработавшей в своих котельных и клубах-81 карикатурные ритуалы-карлики, репутации-карлики и потешную систему «второкультурных» чинов.

«Камера хранения» входит, проникает в культуру, в ту культуру, для которой отношения «первой и второй» — не более чем копошение муравьев, делящих шкуру убитой (не ими) мухи. И, видимо, не случайно, что авторы (их годы рождения совпадают с концом пятидесятых — началом шестидесятых) принадлежат к поколению, идущему вслед культурному провалу. (Иосиф Бродский и Елена Шварц кажутся в нем одинокими альпинистами.) Не случайно, потому что это поколение осознаёт, что литература прекрасно может обходиться без «the message», который для «обеих» культур — и вообще для советского сознания — основной элемент. Для авторов книги важнее мир и человек в нем — в своем развитии, а не мир и человек в нем — сосредоточенный на коммунальной кухне, в котельной, в сгустке тумана над рекой или в зарослях малинника, чахнувших от промышленных грязей. Духовная реальность, а не реальная нереальность концептуализма или нереальная реальность московского «густого письма», чтобы не пользоваться глупыми терминами вроде «метареализма», под которые подходят все без исключения художественные явления.

Стихи суть загадка. Они же суть разгадка. Загадка — время, а разгадка — пространство. Понимание его — как первый и довольно поверхностный способ восприятия стихов — дает представление о границах пространства, лишь потом уже позволяет проникнуть в него, понять принципы его устройства, почувствовать его стихию — отождествить (или как-то сопоставить) его с собственным миром.

Четыре поэта — авторы «Камеры хранения», четыре мира, четыре поэтических манеры.

Я человек... Я вижу мир
(Там птица ходит неустанно)
Из спутанных мохнатых лир,
Стоящих с краю Океана;
Я человек. Я — с краю ночи,
И руки смутные короче,
Чем мир, хоть он и невелик;
Я — блик, — скользнув по небосводу,
Сам засветив себе природу, —
Я слезкой лег на материк.

(Олег Юрьев. «Молитва о мире»)

Человек изначально альтернативен. То есть он сам определяет себя в мире. Альтернативность же зависит от его точки зрения — угла, округлости обзора, — которая и есть точка отсчета. Ее существование и дает видение мира: «Я человек... Я вижу мир...» — видение же, в сущности, — ощущение мира, но не как стороннего объекта, а как заключающего самого человека; ощущение себя как его части.

Человек наедине с миром. И мир наедине с человеком.

В окне огонь стоял. О стены
Косые бились паруса;
Из форточки, из блёсткой тени
Ужасный голубь поднялся.

А мы, обнявшиеся, спали
В соленой раковинке тел...
Помилуй Бог, мы знать не знали,
Влетел он или пролетел?

(«В окне огонь стоял. О стены...»)

Кажется, что они — человек и мир — равноправны. Но мир поэта вбирает в себя как мир географический — множество общих и общекультурных мотивов, — так и внеположный ему мир как конфликтную среду. Среда эта, питающая и прочих грешных, лишь поэту открывает материал, позволяющий структурировать мир, создать модель его — такую, что она становится реальной и для читателя. Герметичные, насыщенные поэтической энергией стихи Олега Юрьева, выстраивая эту модель, наделяют ее своими, присущими только ей, законами. И для понимания этих законов требуется внутреннее зрение.

Мир скуднее и скуднее,
Всё невзрачнее с лица,
Но во всех вещах яснее
Звёзды сизые — сердца.

Там, в аорте, в рудной пене,
Розою расцвел зрачок...

(«Стихи к уходящему зрению»)

Стихи как замок, они направлены ввысь. Стихи Олега Юрьева обретают землю, как бы отрываясь от нее. Они исходят от земли, но в то же время они распространяются по ней, включая сопредельный мир, мир духа и мир знания. В стихах «Вечер и ночь», кажется, заданы границы пространства, но они лишь подчеркивают его бесконечность и множественность.

У неба — еврейские вены.
У моря — цыганские серьги.
А русские круглые стены
Вселенной — почти уже смеркли.

У неба — цыганские блестки.
У моря — еврейские шапки.
Но русские круглые стены
Скользнули в крайные шахты.

Где каждый изогнутый лепест —
В безвидном своем коридоре.

Остались лишь небо и море —
Их гул, их звон, их треск, их лепет...

Естественно, мир искусства подвергается натиску сопредельного мира, который вторгается в него, пытаюсь навязать свои законы, и для которого мир искусства изначально враждебен и чужд.

Я привел тебя в мир, побелевший от зла,
Где и сам я живу, как слепая пчела —
Поздней кровью продрогших растений.

(«Д.Ю.»)

Лишь подобный конфликт и может быть предметом искусства. Иные же конфликты, в которых стороны не поднимаются выше отстаивания своих интересов, — они для публицистики. Человек предназначен для высоких целей и высоких смыслов. Бремя забот давит и подминает, и тогда происходит снижение уровня ценностей. И начинает казаться, что разрушение культуры можно остановить, не дав разрушить несколько старых домов. Нужно лишь удерживать зарвавшийся бульдозер, и культура словно воспрянет ото сна. Как будто бульдозер не разравнивает голую уже поверхность, а еще только покушается на прекрасные строения. Строения же суть обломки. И вот на знамени борцов за сохранение культурного наследия рисуется старое прогнившее здание — одна из ленинградских гостиниц. Но что властям и механизмам знамя. И вот результат, как он показан в «Оде на падение Англетера» Ольги Мартыновой.

Пал Англетер. Теперь сияет,
Дымясь, бесцветная дыра.
А человек не понимает,
Что это не его игра.
Он наблюдал борьбу бисквита
С фольгой сецессии. Разбита
Колонна мармеладных плит.

А человек смущен и грозен.
В дыру он смотрит — грандиозен
В дыре Шырявец висит!

Стихи, естественно, не просто констатируют результат — падение Англетера, но как бы обобщают ситуацию, в которой оказывается человек и в которой Англетер для него — своего рода вариатив шинели.

Обобщение — следствие понимания. Понимания, доходящего до самых мелких, то есть начальных, элементов мира — поэтического, его же — реального. Это понимание и делает мир для Ольги Мартыновой событием личностным. И оттого в отношении к этому миру есть нежность, есть и доверие.

...И какому-то саду милы очертания троп,
По которым в полуденной еле заметной тени
Забубнишь, забредешь в очертания места пустынного,
Нет которого, не было даже в те давние дни,
Когда здесь проводила короткое лето Мартынова.

(«Бедный, прибранный дом, голубиная нежность двора...»)

Есть и ощущение трагического. Но оно не безысходно, а как бы обращено к свету, который означает выход.

И жизнь, кроша мои сады,
Все кажется ясней и кротче.
Но жизнь из этой черноты
Глядится проще и короче.

(«Катится колесо дождя...»)

Свет же в искусстве — не обязательно с Востока, и направлен он может быть к источнику — к поэту, владеющему им.

Стихи Дмитрия Закса кажутся близкими лирике XIX века. Они и в самом деле близки ей. Как легкостью, тщательной выписанностью — что есть тонкость, так и насыщенностью. Но связь — не во внешних каких-то проявлениях, как, например, поэтическая манера, но и во внутренних ходах стихотворения, что связано уже больше с поэтикой и с принципами жизни внутри стиха.

Я шел средь берега, сойдя с кругов зимы,
Оставив дом, без света и отдушин,
Сошедшей полночи заботам восковым —
Не мной построенный — он без меня разрушен,
Стояньем северным гордившийся своим.

(«Северная элегия»)

Близость к XIX веку, соотносимость с ним представляется чем-то странным, от непривычности подобного соотнесения. И в то же время — чудесным и новым. В «Северной элегии» лирический герой выглядит остранным, по-зимнему прохладным. Но он участвует в действии, с которым взаимозависим, и его состояние — состояние напряженности, поиска, ожидания.

Сочетание слов дает образ. Мастерство поэта — в проявлении слов. Они сцепляются, появляется образная ткань, и вдруг — неожиданный ракурс — еще одно слово для определения какого-то устойчивого понятия, и это приводит к тому, что расширяется семантика образа.

Строенье воздуха — пчела,
Строенье музыки — орбита
Пчелы, неслышного челна,
Ее невидимая битва
В зеркальной яме лепестков,
В цветке, где сковано движение
Прозрачных крыльев и витков,
И звук венчает поражение.

(«После поэтики»)

Валерий Шубинский — пожалуй, наиболее «географичный», «вещный» и, стало быть, наиболее традиционный автор «Камеры хранения». В его стихах часто можно обнаружить привязку к каким-то конкретным реалиям ближайшего мира: города ли, балтийских ли всплесков.

Этот город тебе не родной,
Но подсуден тебе на века.
Здесь купается камень сыпной,
Здесь щербатая плачет река,
И торчит над больною волной
Позолоченный шпиз жестяной.

(«Разговор»)

Однако обозначение этих конкретных реалий в стихах Валерия Шубинского становится символом значительно большего, чем дает соединение этих реалий. Символом внутри себя конфликтного мира, который зыбок и неустойчив, над больною волной помещаясь. Но автор, введя в этот мир свой нерв, укрепляет его, дает ему жизнеспособность. Стихи Шубинского могут показаться открытыми, направленными к читателю, передающими ему какую-то информацию о мире, что несколько контрастирует с поэтикой остальных авторов книги, сосредоточенных на строении строения, а не на сообщениях сообщения. Частично так оно и есть. Но, вчитавшись внимательнее в некоторые стихи, понимаешь, что откры-

тость их обманчива, стихи замкнуты и вся поэтическая энергия вобрана внутрь. Возможно, видимость открытости создается за счет простоты, ставшей изыском и красотой.

Рыба мертвая пропорола
Голубое сердце волны
За мгновение до укола
Тишины.

Птица мертвая тихо села
На невидимые цветы,
Обогнув прозрачное тело
Высоты...

(«Рыба мертвая пропорола...»)

Четыре пространства. Разные, они существуют по своим законам. Но общее для них в том, что, преломляя реальность при свете искусства, превращая ее в реальность поэтическую, авторы «Камеры хранения» наполняют пространство новым гармонично устроенным миром, который, расширяясь, расширяет пространство. Общее — как основа общего — и в эстетической позиции авторов книги, и в том, что философская точка зрения для них — крайняя, то есть положенная в центр. Понимание ее позволяет понимать и метафизические свойства поэтического мира, а через них — и мира метафизического. О чисто литературных качествах я не говорю — если бы они не были непривычно высокими, рецензию не имело бы смысла писать.

«Камера хранения» по определению хранит; чуть расширив смысл, заметим, что она и сохраняет. Думается, читатель обнаружит в ней это сохраняемое, как обнаруживает порой ключ от забытого, покинутого, оставленного... Ключ от самой камеры...

Леонид Межибовский

Сентябрь 1989, Ленинград

НАДЕЖДА

Для меня, как, думаю, и для множества моих соотечественников, книга Ирины Ратушинской «Серый — цвет надежды» — пощечина. Хлесткая и увесистая. И, увы, заслуженная. Потому что события, описываемые автором, происходят не в сталинские времена, не полвека назад, а в наши дни. А мы, советские люди, причем не самые темные и отсталые; ровным счетом ничего об этом

Ирина Ратушинская. Серый — цвет надежды. Лондон, OPI, 1989.

не знаем. Потому что не хотим знать. Или, в лучшем случае, благодушно полагаем (охотно принимая желаемое за действительное), что это уже в невозвратимом прошлом. Мы спокойно заканчиваем институты, работаем, развлекаемся, позволяем себе в разговорах разные вольности по адресу партии, правительства и режима, рассказываем анекдоты (правда, по привычке, с некоторой оглядкой) и, по выражению Жванецкого, «тонко хохочем». А в это самое время в соседних квартирах идут обыски, аресты людей, наших ровесников и коллег, для которых ненависть к идиотскому, бесчеловечному строю выражается не в остроумных «политических» анекдотах, а в серьезной, повседневной, кропотливой работе, упорной борьбе за свободу, за правду, за права человека, за главное его право — быть именно человеком, — практически неосуществимое при советской власти. Да, впрочем, одна ли советская власть виновата — вот ведь Гоголь и Щедрин не о большевистской России писали, полтора столетия прошло, а читаешь их — и диву даешься: то ли вчера вечером писано, то ли нынче утром... И единственное спасение наше в том, что все еще находятся люди, которым не все равно, которые органически неспособны выносить ложь и униженность нашего повседневного существования, которые не боятся и готовы пожертвовать свободой, здоровьем, любовью ради того, чтобы что-то изменить, хотя бы изобличить ту ложь, в которой мы захлебываемся...

Сейчас в СССР печатается много «лагерной» литературы. Солженицын и Шаламов получают наконец доступ к своему народу. Или, скорее, народ получает доступ к своим писателям. Однако черед Ирины Ратушинской наступит, вероятно, еще не скоро. И во все не потому, что ее книга не обладает необходимыми достоинствами. Нет смысла сравнивать ее с названными выше классиками, но весьма любопытно все-таки кое-что сопоставить.

Ну, например, нельзя сразу же не отметить, что режим в зоне, куда попала Ратушинская, по сравнению, скажем, с шаламовской Колымой — просто санаторный. Наверное, я не имею права писать это, так как сам через подобный «санаторий» не прошел. Но, видит Бог, цель моя вовсе не в том, чтобы принизить подвиг нынешних узников совести. Просто, читая Ратушинскую, невольно задумываешься: а каково же было тем, прежним... И до чего же мы докатились, во что превратились наши критерии, наша совесть, если может прийти в голову назвать это — санаторием!.. Вот ведь в чем ужас. Мы, ничего не испытывавшие на собственной шкуре, приученные с детства восхищаться стойкостью Зои Космодемьянской и в лучшем для нашей души случае терявшие сон и аппетит при чтении Солженицына (это кому удавалось раздобыть книгу), — сейчас, читая о том, как в наши дни людей морят голодом и холодом, заставляют пожилых, больных женщин таскать неподъемные тяжести, а молодых делают инвалидами, лишая их возможного материнства, о том, как по любому поводу, а чаще без повода, са-

жают в карцер, лишают свиданий с близкими, — думаем: «Ну, это еще куда ни шло...»

...А ведь и в самом деле — почти не бьют, к тому же политические сидят отдельно от уголовников, дабы не развращать социально-невинные души последних, и издевательствам с их стороны, как в прежние времена, не подвергаются, напротив, пользуются у них явным уважением, уголовники даже посильно помогают — например, передавать на волю информацию. Надзиратели с политическими на «вы», политзэчки могут позволить себе такую роскошь, как голодовки, забастовки и даже бойкот начальницы отряда — старшего лейтенанта Лидии Подуст, неутомимого борца за ношение эсками нагрудных бирок...

Мы привыкли не удивляться и не особенно возмущаться, когда людей сажают за то, что они хотят жить в согласии со своей совестью и не желают черное называть белым, а белое — черным. Для нас это в порядке вещей. Чем и пользовалась, порой не без успеха, официальная пропаганда, объясняя пристальное внимание всего мира к диссидентам злобной завистью к нашим выдающимся успехам, а вовсе не искренним возмущением. Действительно, чем тут так уж особенно возмущаться — дело-то житейское. Насчет успехов мы, конечно, пропускали мимо ушей, однако и демонстраций в защиту узников совести не устраивали. Жили себе да поживали. Только мы — дома. А они — в лагере.

Можно сопоставить и другое. В сталинских лагерях люди сидели в основном ни за что. Вернее, за то, чего они не делали. Ратушинская и ее союзницы, напротив, схвачены и посажены именно за то, чем они действительно занимались. Они отбывают срок, так сказать, «справедливо». Если люди Ежова и Берии хватали кого попало, то есть практически всех, то уж Андропов точно знал, кого и за что следует упечь в лагерь. Это весьма существенно, и, поскольку система не демонтирована, я и высказываю предположение, что в СССР книга Ратушинской будет издана не скоро. Дай Бог, чтобы я ошибся. А пока что, как явствует из этой книги, «Архипелаг ГУЛАГ» по-прежнему остается надежным руководством к действию — это называется преемственностью поколений.

Книга Ратушинской написана живо и увлекательно. Некоторые главы ее напоминают «Робинзона Крузо» — описание хозяйства в женской политзоне, с великими трудами возделанного на скудной мордовской земле. История огорода величественна, но непродолжительна: однажды...

«Подуст пришла в зону с предложением неожиданной сделки: если мы наденем нагрудные знаки — администрация смотрит сквозь пальцы на наш огород. Если нет — его сровняют с землей.

— И смотрите сами, женщины, что вам выгоднее, — заключила она свой ультиматум.

Татьяна Михайловна аж со стула привстала от возмущения, а Подуст напирала:

— Ну что, выгодно вам терять огород?

— Да невыгодно! — с сердцем сказала обычно спокойная Татьяна Михайловна. — Вы что, думаете, мы выгоды ищем, когда занимаемся правами человека? Нам ведь и сидеть здесь невыгодно!

— Вот и думали бы меньше о правах, — заявила нам Подуст».

После чего огород был уничтожен и больные лишились даже этой ничтожной доли витаминов, добавляемой к баланде. Все правильно, надо делать выбор: либо огород, либо права. Так уж повелось, что большинству легче прожить без прав, чем без огорода.

Однако чаще, нежели «Робинзон Крузо», вспоминаются рыцарские романы. Сколько же требовалось этим женщинам отваги, благородства, твердости и любви, чтобы так самоотверженно сражаться против лжи, тупости, подлости, равнодушия...

Пожалуй, говоря, что узники совести жертвуют свободой и любовью, следует уточнить: свободу и любовь здесь надо понимать лишь в самом элементарном значении, ибо главную, внутреннюю свою свободу они сохраняют и в лагере и любовь проносят в чистоте и неприкосновенности через все испытания. Тоже как в рыцарских романах. А вот здоровье теряют в самом что ни есть прямом смысле слова.

Ирина Ратушинская очаровывает с первых же страниц. В ее манере писать столько женственности, изящества, озорства, юмора, что читать книгу спокойно невозможно. И оторваться, пока не прочтешь до конца, — тоже. А когда прочтешь, нельзя не восхититься верой автора в людей и в то, что добро должно победить. Должно, конечно, но как? Ратушинская утверждает, что перемены в России станут возможны лишь тогда, когда мужчины перестанут бояться. Должно быть, она права. И потому очень хочется, чтобы ее книгу в России прочитало как можно больше людей. Особенно мужчин. Быть может, прекрасный пример женщин, стойких, как андерсеновский солдатик, вдохновит их на борьбу за более достойный образ жизни.

Ратушинская — поэт. Вероятно, поэтому в ее книге постоянно присутствует — даже в самые страшные моменты — некий «витамин П» — витамин Прекрасного. В полученном автором книги «Серый — цвет надежды» письмо от своей союзницы Татьяны Михайловны Великановой приводятся строки Беллы Ахмадулиной, которые с полным правом можно отнести к Ирине Ратушинской:

Да было ль в самом деле это?
Но мы, когда отражены
В сияющих зрачках поэта,
Равны тому, чем быть должны.

Александр Златкин

Москва

РАССМАТРИВАЯ ФОН, РАССМАТРИВАЯ «ОТТИСК»

Названием поэзии обнимается множество разных последовательностей слов, для которых в наше время единственным знаком родовой принадлежности остается только само это название. Можно писать в строку или столбик, хореем, дольником или акцентным стихом, вне всякого метра или же называть таким именем одно слово, часть чистой бумаги, отрезок хаоса или ровную прозу. Тяжесть старинного права осуществления перешла с текста на автора: благородная ремесленная твердость эвритмического хода, принадлежавшая не автору, а его тексту, где-то на протяжении нынешнего века была незаметно смещена в сторону, и проступила другая цель — подлинность не интонации логоса, но интенции голоса. Слова (или даже не-слова) призываются из земли языка, чтобы окружить, обозначить собой момент горловой спазмы, судорогу своего высказывания, которая для современного искусства важнее внутреннего хода окончательной, чужой и живой формы стиха.

Этот род поэзии часто встречался мне в неподцензурной русской печати 1970-х годов. Некоторое время казалось, что в нем есть качество своего рода низкопробной подлинности, которое получило даже теоретическое обоснование в одной из книг А. Зиновьева, когда он оценивал свои собственные, так сказать, стихи. Подлинность эта странная, малопривлекательная, но справедливая, настоящая подлинность, существо которой доказывается простыми соображениями типа того, что настоящее дерьмо все же лучше поддельного сахара. Я говорю это несколько в стилистике предмета, о котором идет речь, но не хотел бы никого обидеть, поскольку эта эстетика была нужна как единственное средство вырваться из непрошибаемого круга мертвой речи советской русской поэзии, у которой, казалось, весь лингвистический объем был смертельно опошлен, выговорен до последней крайности. В этой ситуации ремесленная, профессиональная слаженность текста воспринималась как каинова печать, как возвращение в проклятый отеческий мир (от качающейся строки Маяковского до симулированного авангарда Вознесенского), в сумасшедшенький домик ежегодных альманахов «День поэзии», от которого если что и возникало, то только горловая, тошнотная судорога. Она как раз и была настоящей, и затем ей осталось только быть выговоренной, что и произошло в новом поколении текстов, для которых неузнаваемость — от словаря до синтаксиса, метра, графики — казалась правом выхода. В действительности, это право было не сплошным и не давалось простым обменом на количественный подсчет наиболее употребительных форм русского стиха из монографии М.Л. Гаспарова «Современный рус-

ский стих». Но дело было все же сделано, и появился новый ряд текстов.

Я не знаю, как оценить его. Смещение в области словаря и метра в 60-е — 70-е годы создало поэзию Бродского, и это одно заставляет нас полагать, что сказанное выше не вполне честно и правильно. Но если двадцать плохих стихов оставляют меньше следа в вашем сознании, чем одно хорошее, то все же они занимают больше места на бумаге; а если верна первая фраза этой статьи, это значит, что они занимают больше места в поэзии. Новая волна стилистического протеста в одном, правда, совпала со своим предметом отрицания: она все дальше нейтрализовала интуицию поэтики, заменяя ее правом открытого голоса; но подлинность акта высказывания не смогла заменить подлинность стихотворной вещи, потому что ведь в конце концов все тексты остаются в одиночестве, одинаково предоставленные независимой белой бумаге, и никто за них уже не может ничего договорить или докричать; остается предметная форма и верховная интонация, которым не передашь, что «это я говорю и говорю по-настоящему», и которые, в результате, страдают едва ли не меньше, чем на кругу отвратительной симуляции, заполняющей собой разделы поэзии от «Юности» до «Нового мира». Школьная грамота, казенная мера, мастерская маленьких литейных форм с пробочкой чужой рифмы на конце, откуда только редко когда выходят трогательные отливки с давних образцов, оказались частью того же ряда, удлинившегося теперь на форму без грамоты и без меры, честность которой стоит слишком далеко за пределами ее телесного бытия; к тому же, новая стилистика, в свою очередь, становится предметом мертвого подражания, темой расширяющегося поля фальши. Только процент технической аккуратности в расчете на одну строку из этого множества несколько упал.

Все это говорится не о чьих-то стихах, не об имени такого-то или другого, не о голосе даже поэзии, но о ее мегафонно-типографском реве, который на протяжении всей этой статьи приравнивается собственно понятию поэзии. На этом фоне мы и хотим рассмотреть «Оттиск» Юрия Кублановского; на фоне хотя бы потому, что по названию он — оттиск. Этому фону он, по видимости, другой; смещение в сторону свободы формы или же незамысловатой открытой речи естественно породило обратное движение к «нормальному классицизму», к тому, чтобы отличаться от описанного фона сдержанностью и речью в двойных кавычках осознанно выбранного сюжетного ряда и некоторой, чуть-чуть даже демонстративной претензии на мастеровитость. Андрей Вознесенский, возвращая в журнале «Огонек» стихи Ю. Кублановского советскому русскому читателю, отмечает традиционность его стиля и ставит вместе с Алексеем Цветковым, Василием Бетаки и Инной Богачинской в некий ряд, который для него, Вознесенского, чем-то соединен, кроме того, что этот ряд — второй после единственного полного имени

русской поэзии. Это имя (заметим в скобках) Вознесенскому не хочется произносить; мне всегда казалось, что он в этом отношении совершенно прав, потому что ему стоит только сказать внятно «Иосиф Бродский», чтобы рассыпаться в ничто, в ворох праха. Странно, наверное, жить в таком состоянии, но это его выбор, и я боюсь, что и вторых поэтов он подбирает, так сказать, под самого себя, поэтому публикация в «Огоньке» из его рук не вызывает особой приязни, хотя ничего, разумеется, не говорит о качестве публикуемых стихов. Стихи, по обыкновению, говорят сами.

«Оттиск» содержит около пятидесяти стихотворений, написанных в основном трехсложными размерами, с незначительным преобладанием амфибрахия. Он открывается вводным стихотворением, которое отделено и семантически, и метрически, представляя собой более не встречающееся чередование пяти- и трехстопных строк хорея, а дальше начинается своей полет быстрый, равномерно вздрагивающий на ударениях анапест — «Ростовщицьи кленовые грабки...», «Королевич в мундирчике синем...», или покачивающийся амфибрахий — «Не русский снежок заглушает горниста / и снегом заносит по грудь...», или ровный, с половинной силой первого ударения дактиль — «...если поежиться, встать да пойти, / станет туман зависать на пути...». Легкий выговор и легкий говор, заемная ничья подлинность родовой интонации русского трехсложника, некрасовское любимое свойство ритма, правду сказать, соответствующее его, ритма, огромной восприимчивой емкости. Эта ритмическая простоватость и безличная узнаваемость размера — надо полагать, осознанный прием Ю.Кублановского для того, чтобы на них строить собственные интонации смысла. Узнаваемость по большей части лишена конкретности, конечно, намеренно: никто не скажет: — Боже, да ведь это пастернаковский трехсложник с пропуском схемного ударения; или: — Это пятистопный анапест из Мандельштама; узнаваемость скрадывается, сжимается до главной цели нового традиционализма, хочет стать опознанием качества, знаком породы, чтобы из читательского желания сказать: «Ведь я уже слышал нечто подобное много раз», — осталось только безличное, но самое для автора важное: «Это — стихи».

Это — стихи?

Ростовщицьи кленовые грабки
зажимают парижскую мглу,
и навряд ли доходны и зябки
сны взлохмаченных астр на углу...
Ночью в лаковом логове чарку
исчерпав на глубоком хлебке,
наконец подношу зажигалку
настоящую — к сонной строке

и сквозь желтое марево вижу,
как ершится неоновый еж.

И люблю и вдвойне ненавижу
неродной европейский грабеж.
И кофейная мгла полотенца
неизменно сливается с той,
с коей вы Робеспьера-младенца
и убийцу везли на убой.

Как не вспомнить родную берлогу,
где давно начала плесневеть
на тиране, закутанном в тогу,
бессловесная русская медь.
Чем глядеть, как убойной десницей
указует он жертву орлам,
лучше б впрямь хитроумной лисицей
обернуться в курятники нам.

Сначала ничего различить нельзя; разве что последние две строки возвращают нас обратно по кругу, чтобы сравнить трехстрочную загадку с ответом на нее — сходится или не сходится? Прежде, чем этот ответ приходит на ум, текст начинает распадаться на смысловые мотивы, то сплошные, то мерцающие; на несколько разных словесных слоев, на немногие аллитерационные связки, на слова. Здесь есть несколько разных интонаций словоупотребления, которые наложены друг на друга с невежественной, нерассуждающей свободой. Обычность размера и недостаточность рифмы, то приблизительной — «чарку-зажигалку», то баснословно избитой «вижу-ненавижу», служит этому словарному запасу слишком внешней облоймой, из которой слагаемые сразу стремятся выпасть.

Первым отделяется национально-патриотический ряд то ли архаизмов, то ли фольклора, то ли местных форм языка — вплоть до словарных сомнительностей вроде «грабок» и «хлебка». Расширительное стремление докопаться чуть ли не до придонных слов Давля или, может быть, более нового, но менее известного словаря русского языка XVIII века хорошо только до тех пор, пока такие слова действительно есть; складывается впечатление, что очень часто этих слов никто даже не ищет в словаре, а просто на слух берется некое отглагольное существительное, незаконно прижатая форма от некоего однокоренного множества. Так без конца поступает А.И.Солженицын в своей зрелой прозе, часто без всякого чувства меры насыщая этими все-таки не существующими в языке формами — аналогиями от каких-то других, живых, — если не речь, то мысли персонажей начала нашего века. Мне кажется, что это выглядит искусственно: язык есть всегда форма общей договоренности, верней — договоренность об общей форме, и механически расширять его за счет насильственного присоединения локального словоупотребления какого-нибудь Шенкурского уезда едва ли правильно, да и отдает наивностью имперской политики. У языка всегда есть другие возможности восполнения — это гро-

мадное количество проговариваемых в нем, но слышимых только подлинному поэту форм или столь же смутный обычному зрению лексикон и синтаксис его письменной традиции XIX века, понимаемой широко — вплоть, скажем, до завораживающих своей непонятно откуда идущей силой языка каких-нибудь военно-топографических описаний русских губерний времени императора Николая I. Поэтому этот речевой уровень у Ю.Кублановского кажется мне безвкусным, к тому же и не своим; меж тем, автор с заботливой аккуратностью ставит подобные слова почти в каждое стихотворение: то это «псковский буерак» рядом с «красным Парижем», то вполне общепотребительное, но здесь тоже как-то декоративно-нароचितное «овчина», семантически зарифмованная с «дубиной», то забавно обогащенное размера ради неожиданным долгим «и» — «похмелие», добавляющим слову чужую торжественность, заимствованную из «веселия», то «прахообразная ржа», а то «любодейка-судьба» (прошу прощения, я случайно заговорил вслед за автором амфибрахием).

Второй уровень — это демонстративно «свои» тропы.

Сначала произнесем, как нам предложено: «Ночью в лаковом логове чарку». Аллитерационная задача крайних слов — на «ч», средних — на «л», средних — на «а/о», опять крайних — на сужение гласной до «у» слишком понятна, и подобные приемы — как, скажем, «листовки, ложась в полукруг» или «найдется угодник — на дне» — обычно содержатся в одной-двух строках каждого стиха как мета искусства поэзии. Но ведь аллитерационный ряд, как К.Бальмонт долго доказывал русской поэзии, поэзии еще не составляет. Его подлинность начинается не с чистой фонетики, но с семантического его достоинства, с той воздушной формы у губ проговариваемого смысла, которая составляет в слове ни с чем другим в этом мире не сравнимую бесплотную соотносительность знака и означаемого. «Дубовый стол, в солонке нож / и вместо хлеба еж брюхатый» — две строки Мандельштама, где тона фонетики медленно поворачиваются от чистого «о» к первому, еще неслышно открытому безударному «а» — хлеба, — чтобы распахнуться на весь отлет на повторе уже бывшего «х» в предпоследнем, ударном слове — «еж брюхатый». Но держится это не на одной фонетике, а на переходе от элементарно-описательного ряда к последнему существительному, с чистой ударной гласной своего эпитета и ударно-открытому в своей сюрреалистической несообразности. Эта несообразность слова, его семантическая тяжесть забирает в свою неправильную, несоотнесенную предметную явность всю материальную силу четверостишия и здесь же начисто снимает эту материальность средствами зазора, несовпадения.

А в цитированной строке Кублановского — «лаковое логово»: элементарность аллитерации накладывается на северянински безвкусный «неожиданный» эпитет, и прилагательное налетает на существительное, дезавуируя его семантический запас, закрывая

ему простор осуществления. Это происходит постоянно, как только автор хочет сделать что-то специально для читателя изысканное: немногим лучше, если вдуматься, «глубокий хлеб», совершенно непристоен своей зоологической двусмысленностью ершащийся еж. Если брать другие стихи: «Как родильные споры, роится / прахообразная ржа...», — здесь две сравниваемые величины, слепые и выпсренное, остаются в положении взаимной неопределенности. Не акварелен «отек аквамарина», оставляющий болезненное впечатление испорченной по цвету и фактуре формы. Удивительно, как человек может произнести «замутненные солнцем луга». Пробегает опять, потеряв фонетическое осмысление, «в лаковых недрах парижских трущоб»; затем снова — «в лаковом мраке»... — но остановимся, больше это повторять невозможно.

Я, может быть, слишком задерживаюсь на простом искусстве составлять слова по два. Но ведь на этом стоит, как сказал бы Мандельштам, кристаллическая решетка; можно сказать и по-другому: здесь ставятся меха восходящему току образа, где должно потом возникнуть его, образа, сплошное, верхнее дыхание. У Юрия Кублановского этого начисто, на удивление, нет.

Последний, главный словесный уровень сборника — язык бытовой или никакой, «наконец подношу зажигалку», «и люблю и вдвойне ненавижу», «давно начала плесневеть» или, уже из других стихов, «как ужасно красно в зеркалах» и прочее, и прочее. Полный общих мест, режущийся только на готовые строчки с внутренне стертыми обертонами слов, с частыми романсно-истовыми длиннотами рифм, этот слой языка — все-таки более настоящий, одновременно безвкусный и подлинный. Он более всего содержит и выражает структуру авторского слога и поэтому требует более аккуратного исследования, чем оба предшествующих. Для начала отведем из него явные заимствования, которых много. Часто трехсложная стопа выводит автора на дорогу, по которой не так давно ехал Н.А. Некрасов: «Наш собственный двор недвижим / с продажей и куплей подушной» — это еще, может быть, полуосознанный диалог с Некрасовым в его же размере и стиле; но случаи типа «что-то родное, родине близкое / в промельке между дерев» или особенно «не кольчугу, а ряску тщедушную / на натруженном теле носи», где даже и тело-то некрасовское, выглядят особенно забавно, поскольку стихи Ю. Кублановского, в общем, едва ли менее гражданственны, чем у Некрасова, но при очень разных знаках этого пафоса. За чужим размером часто проходит тень первоисточника: «над всей котловиною, мощно убогой, / куда поспешали булыжной дорогой» по чистой прямой ведет из своей Псково-Печерской лавры в пастернаковский Вифлеем, где «ругались со всадниками пешеходы, / у выдолбленной водопойной колоды / ревели верблюды, лягались ослы». Более всего таких связей с Бродским, хотя здесь воздействие глубже и не ограничивается, как в предыдущих случаях, лобовыми совпадениями. Впрочем, есть и такие, из которых

самое резкое — вероятно, следующее: «налегке, не пугайся, родная, / не расслышит никто» возникло в тени «как здесь нету тебя, / ты как будто мертва, дорогая». Кстати, как режется это «налегке».

Если теперь оставить и все это в стороне, то предмет разговора сужается, но голос автора все же остается: это беспорядочный городской говорок, нейтральная языковая емкость для всего чего угодно, слепая, сбитая, стертая хуже монеты. Послушаем еще раз: «дурно пахнувший луковым супом» (откуда-то из прозы XIX века, не о семинаристах ли?), «ужасно красно» (интонация восклицания, с оттенком мещанской речи), «слышу, слышу зов губерний» («зов губерний» из пародийного Некрасова, но там, где в оригинале был «ранний лед»), «европейская ночь бесконечная» (Ходасевич, удлиненный до опять-таки некрасовского тона), «аллигаторы тающих льдин» (по непопаданию слова — безусловно свое), «Европа, Европа, ты спишь без подушек, / покорная женской судьбе» (торжественная самопародия — и что за судьба спать без подушек?), «от болотного гнуса зачатая / второпях миродержцем Петром» (опять Некрасов, но, вдобавок, в области пола — кто от кого зачал — есть несколько странное невежество). Один раз только встретился мне оборот «где чужой каток», в котором послышалось что-то живое; еще, может быть, «ветхие барки на вечном приколе» — но и здесь уже пафос, а дальше опять: «лишь украдкой махни камилавкою» — Блок, в которого засунули дико чуждую ему семантику. Мне все время очень хотелось найти слой языка, с которого все можно было бы начать сначала. Не знаю, возможно ли это.

Такое множество языков, явно чуждых друг другу, предполагает, требует достаточно мощных средств соединения. Вероятно, такое средство у автора только одно, но оно имеет как бы три разных проекции и поэтому может быть названо разными именами. Прежде всего, это именно не-средство, не-соединенность, потому что столь разные языковые элементы удерживаются на одной плоскости просто по невнимательности автора. Он не прилагает никаких усилий для этого, не замечает их разнородности и оставляет их на этой плоскости, где им волей-неволей приходится существовать дальше. Язык для автора — пустое множество с интенцией безудержного поглощения и искажения готовых единиц и связей, и, собственно, не нужно при такой концепции никакого соединяющего начала. Как ляжет — так и будет. На деле, конечно, такое начало образуется, и — это уже вторая сторона общей интонации автора — возникает оно прежде всего ценой синтаксиса. На этом следует остановиться.

«Строго Покров пропускает / душу тогда сквозь рядно / и милосердно счищает / всю с нее грязь заодно». Не говоря о смысле, скажем о порядке слов, обращающем на себя внимание: «заодно» стоит на конечном месте, создавая впечатление довольно резкого синтаксического насилия; порядок естественного течения, чтобы стать поэтическим, переламывается. Такое положение ве-

щей обыкновенно, когда хочешь во что бы то ни стало свести концы — то есть рифмы — с концами, то есть рифмами же; но поскольку речь автора состоит из «отрезков готового смысла», как говорил Мандельштам, в два-три — большей частью, чужих — слова, то остается не так много пустых мест. Эти остаточные пустоты заполнены связками, которые насильственно собирают текст воедино, собирают во что бы то ни стало. «И навряд ли доходны и зябки / сны взлохмаченных астр на углу» — второе «и» двусмысленно. «И забываешь родные фистулы / у пристаней вполукруг, / сведшие чуть не чувашские скулы / нам по-черемушьи вдруг», — здесь «родные фистулы» приобрели единственно возможное неправильное ударение и вернулись к пристани, лишившись всякого видимого смысла (а слово, наверное, найдено у Бродского: «не купись на бабах, не сорвись на глухой фистуле»). Но главное, что рифмованная пара «вполукруг-вдруг» просто приставлена к этой строфе, чтобы строфа не упала. Оба слова можно вынуть из стиха, и в нем ничего не изменится, разве что он перестанет быть по форме стихом, но станет лучшей и более ровной речью. Этот невыговариваемый синтаксис Ю.Кублановского составляет одно из главных связующих средств его текста, и вполне естественно: в самом деле, над речью надо совершить некоторое насилие, чтобы вся ее бесформенность полужития, полуповторений приобрела бы строгость остановленной формы. Строгость эта берется силой, заламывающей речь в постоянно одинаково неправильный синтаксический ход, и мне кажется, что равномерность этой неправильности автор и склонен считать своим слогом.

Я думаю, что у целого авторской речи есть еще и третье правило соединения, кроме равнодушия к языку или борьбы против синтаксиса; это правило взято с одного чужого голоса, а не с отдельных голосов. О нем нечего долго говорить: представление о словесной свободе, о возможности совмещать разные речевые пласты, разные интонации воедино, демонстративное столкновение низкого и высокого слога, стремление к семантической многоплановости и даже к тому, чтобы стихотворение чаще строилось на возможно более длинных фразах, — все это пришло в поэтическую речь от Иосифа Бродского. То единственное условие, при котором такая система возможна, а именно: необходимость одной речи, одного голосового строя, одной верховной интонации и — я даже не знаю, как это назвать, — одного, даже более чем своего, языка, — это условие Ю.Кублановскому неизвестно; его язык — менее чем свой. Может быть, оно ему просто не дано — «я думаю, что это от Бога», как сказал о себе Бродский на суде. При желании можно было бы показать, как эта чужая размерность языка старательно поддерживается Ю.Кублановским, как она инкрустируется упомянутыми славянизмами и неологизмами, перепадами старательных восклицаний и контрастов. Но это уже неинтересно. Последнее, о чем сказать необходимо, — это о круге тем и смыслов этой книги.

Европа: Альпы, послевоенный раздел Германии, Париж, революция, Вандея, сухая черепица Баварии; Россия: Печоры, темная сила власти от Петра доныне, насильственный разрыв эмиграции, пейзажи от Волги до Григория Сороки и — Церковь, вера, православие; сам автор, то сторонний свидетель, то восклицающий, то испытывающий на себе всю тяжесть вышеописанной системы мест, названий и событий. Кто осмелится упрекнуть этот ряд образов, который свойственен всем нам по две стороны, как говорил Наум Коржавин, одинаково страшного выбора — уехать или остаться? Единственно только, что он не свой, — да ведь и вся наша жизнь не своя, поставленная в эти пределы, не своя, если у нее нет своей речи; а таковая сборнику не свойственна. Однако некоторые особенно настойчивые смысловые мотивы здесь обращают на себя внимание. Один из них — сопротивление автора, выделяющее его из общего строя: стихотворение о Людовике XVI, который по грустной необходимости размера назван здесь «Людовик Людвейч», кончается напористым: «...ничего, за последним уступом / я еще постою за тебя». Эта интонация может существовать и без прямо указующего себе в грудь «я»: «вижу над ними воочью / ткань из бесприемных льнов, / алую к сосредоточью, / Матери Божьей покров», — здесь первое лицо, единственное число глагола — как невзначай, за счет глагольной формы, причисление себя к сонму праведных визионеров. Это «я» пробегает в повелительных наклонениях: «Греми, Германия...» (кстати, цветаевская Германия), «верни, великая...»; в притяжательных местоимениях: «где чьим-то затылком теперь / примято мое изголовье»; в других формах: «видим и сами, что он недалек, / твой под холодной землей огонек, / и поспешаем без страха». Это — «я», «Я» — «без страха», с безупречной политической ориентацией, с несколько торжественной отлученностью от Отечества и демонстративным православием.

О последнем особенно трудно писать, потому что получается, что перед нами как бы религиозная поэзия. Между тем, я не знаю, что может быть от религиозной поэзии дальше. Когда человек пишет строфу:

Любимый отец Иоанн
раскачивал паникадило,
и ладана теплый туман
вдыхать обязательно было,

— то странно звучит и построение фразы с ударом на смыслово-безударное «было», и «любимый отец Иоанн», предполагающий фон «нелюбимых», и особенно то, что автор не знает, что паникадило — это церковная люстра, а не, например, очень большое кадило, «ПАН-кадило». Когда пишется «полированный четок катыш», странно, что автор не слышит, что «катыш» в русском языке связывается со скатанным, сваланным шариком, а еще больше с устойчивым «катышок», которое чаще всего попадает в значении «катышок

помета». Когда написано «нас тасует, как хочет / Дух, пока Азра-ил / о твердыню не сточит / леонардовых крыл» или «на теле Бо-жества / всю анатомию его холмов и впадин», — кажется, что человек просто не чувствует словесной меры, не знает, о чем на-писаны эти строки. Вспоминается эпиграмма Мандельштама:

Один еврей, должно быть комсомолец,
живописать решил дворянский старый быт:
на закладной под звуки колоколец
помещик в подорожную спешит.

Но кто сказал, что ошибка словом и случайное кощунство ху-же для христианской поэзии, чем фонетические ухабы вроде «ме-тель шелестела б в трубе» — б-в-т-р! — или ужасное «заросль шаров золотых зелена», которую, чтобы прочитать в заказанном дакти-ле, надо говорить очень быстро (с-ль-ш), не впуская обычную для русского «сль» незаконную полугласную. Я не буду говорить сей-час о том, что такое религиозная поэзия нашего века, но, видимо, это не совпадает с поэзией на религиозные темы, почти безупреч-ной с точки зрения внешнего соблюдения благочестия.

Здесь я завершаюсь. Всё; об «Оттиске» всё кончено. Искерпа-ны слова, исчерпаны мотивы; и остается напоследок сознаться, что эта статья не о несчастном «Оттиске» Юрия Кублановского напи-сана и обращена не против него. Оставляя теперь наконец в по-кое эти полсотни стихотворений, нельзя не увидеть, что они просто не предмет для столь подробного и, по видимости, думаю, очень уни-чтожающего разбора. В самом обращении к подобному тексту есть смешная серьезность, как будто автор статьи, точно так же, как ав-тор книги, не умеет улыбнуться. Самой большой искусственностью произведенных нами действий было начало, момент, когда мы от-делили «Оттиск» от фона. Меж тем, он неотделим. Я не знаю, как писать о никакой поэзии: для этого нет никаких особых средств, а может быть, они и не нужны, потому что и без них все ясно. Мож-но потратить немало времени на доказательство того, что вот это и вот это — не стихи именно потому-то и потому-то; а они *просто* не стихи. Но сейчас странное время: никаких качественных границ, никаких пределов для того, чтобы считать текст — стихом, больше нет. Традиционализм и модернизм здесь квиты. И поэтому возни-кает протест, направленный — повторяю еще раз — не против са-мого «Оттиска», но против него вместе с тем фоном, на котором он читается. У меня сначала было желание составить из многих со-временных поэтов по ту и эту сторону границы этакую новую Че-рубину де Габриак, чтобы рассмотреть ее слитное творчество. Но это было бы еще хуже, потому что нельзя брать у пишущего одно стихотворение и по нему судить, даже если суждение очевидно. Не умея найти среднее решение, я обратился к одному, достаточно слу-чайно выбранному автору; и за самый факт выбора я должен при-нести ему свои самые искренние извинения.

Моя заметка начинается с констатации того, что в настоящее время считается поэзией. Но с таким пониманием этого искусства я не согласен. Сравнительно с какими-нибудь благословенными пушкинскими временами, в наше время узкая полоса истинно поэтических текстов оказывается перед легионом неправильно расположенных слов, какого еще никогда не было. Я не надеюсь перекричать его: с репродуктором нельзя бороться на крике. Может быть, легче показать его бессмысленность, если говорить вполголоса.

Василий Тележинский

Москва

Подписка на еженедельную газету «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

217 rue Faubourg-St.Honoré, 75008 Paris, France

(Цены указаны во фр. франках)

Обычной почтой:

	6 мес.	1 год
Франция:	180	300
Все страны мира (включая почтовые расходы):	250	450

Авиапочтой:

(В указанные цены входят почтовые расходы)

Северная и Южная Америка, Южная Африка:	320	600
Европа и Северная Африка:	280	520
Австралия, Китай, Япония:	350	650
Израиль, Иран, Центральная Африка:	300	550

РЕЗОЛЮЦИЯ

посменного собрания трудящихся
шахты «Воргашорская» от 1 декабря

В связи с нежеланием правительства выполнять собственные обязательства, отраженные в постановлении №608 Совета Министров СССР, волокитой и прямым обманом трудящихся, чем оно выразило свою неспособность управлять страной, а также не имея достаточной поддержки трудящимися других шахт Воркуты в борьбе за выполнение наших общих требований, коллектив шахты «Воргашорская» постановляет:

1. В знак протеста против действий правительства, вносящих раскол в рабочее движение, отказаться от пунктов 1, 2, 3 постановления №1036 Совета Министров СССР от 25 ноября 1989 г., дающего нам одностороннее преимущество, до принятия решения по этим вопросам для всех трудящихся предприятий и организаций других отраслей народного хозяйства, проживающих в данных местностях.

2. Считать приемлемой форму самостоятельности шахты «Воргашорская», предусмотренную Уставом предприятия, утвержденным министром угольной промышленности М.И. Щадовым 30 ноября 1989 г.

3. Не производить подсчет голосов тайного голосования и считать его недействительным.

4. Обратиться к президенту США господину Бушу с просьбой на предстоящей встрече его с М.С. Горбачевым поднять вопрос о разрешении делегации АФТ-КПП на въезд в город Воркуту.

5. Передать не выполненные правительством пункты экономических требований, а также наши политические требования на Съезд народных депутатов.

6. Продлить предзабастовочное состояние шахты «Воргашорская» на прежних условиях до полного выполнения всех пунктов наших требований с правом возобновления забастовки в случае их невыполнения.

7. В случае выявления преследований в административном или уголовном порядке участников забастовки или применения к ним санкций коллектив шахты «Воргашорская» обязуется обеспечить их защиту вплоть до объявления забастовки.

Забастовку, объявленную 25 октября 1989 г., приостановить с 0 часов 2 декабря 1989 г.

КОРОТКО О КНИГАХ

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
ИНОЙ МИР

Перевод с польского Н.Горбаневской
Лондон, ОРІ, 1989

Каждое свидетельство бывшего узника концлагеря, а тем более советского, сталинского концлагеря, подобно могильной плите, из-под которой непрерывно сочится кровь. Таких свидетельств очень много, но все-таки не больше, чем выжило среди лагерников людей, владеющих пером, да еще захотевших или заставивших себя вспомнить на бумаге то, что было пережито. Могло бы быть во сто крат больше... Однако законы рынка тут не действуют — огромное количество воспоминаний не снижает ценности опыта каждого в отдельности. Это полностью относится к книге Густава Герлинга-Грудзинского «Иной мир. Советские записки», написанной в 1950 году, изданной сначала в Лондоне на английском языке, затем в оригинале, по-польски, потом переведенной на многие другие языки, а теперь вот ставшей достоянием и русского читателя.

Судьба автора до начала основного действия книги, как можно понять, сложилась следующим образом: после подписания пакта Молотова—Риббентропа, когда Польша, подвергшаяся нападению двух агрессоров, была разгромлена, Густав Герлинг-Грудзинский оказался в восточной части страны, захваченной Советским Союзом (пресловутый «освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию»), и был арестован где-то между осенью 1939 года и весной 1940-го. Известие о падении Парижа застало его уже в Витебской тюрьме, но до нее он побывал под следствием в Гродненской. Взяли его при попытке пересечь новую советско-литовскую границу; на вопрос следователя, зачем он хотел перейти границу, Герлинг отвечает: «Чтобы воевать с Германией». Учитывая нежные в ту пору отношения СССР с гитлеровской Германией, согласимся, что у следователя имелись основания рассматривать будущего автора «Иного мира» как врага и заядлого антисоветчика.

В итоге автор оказался в Каргопольлаге, в зоне близ станции Ерцево (Архангельская область). Описание жизни в зоне и составляет главную часть книги. После неполных двух лет лагеря ему, можно сказать, головокружительно повезло: как и другие поляки, он был освобожден по амнистии (хотя, чтобы добиться освобождения, пришлось провести тяжелейшую голодовку), которую объявили на основании договора, заключенного в Лондоне советским и

польским правительством (т.н. пакт Сикорского—Майского). Должен признаться, что и в этом, и в некоторых других случаях читателю полезно было бы иметь под рукой комментарий, чтобы можно было подробнее узнать об этом договоре и ряде других обстоятельств, которые во время написания книги еще были всем памяты и не требовали толкования. Особенно пригодился бы такой комментарий сегодняшнему советскому читателю, неповинному в своем историческом невежестве.

Густаву Герлингу-Грудзинскому пришлось пройти почти все круги этого ада: голод, холод, каторжный труд, болезни, голодовка. Талантливый писатель, он красочно живописует события, свидетелем которых был, и людей, с которыми встречался. В его записках — не только множество интересных фактов, ярких наблюдений, человеческих судеб, но и художественное осмысление пережитого. Ощущается, однако, в книге некая «странность», особенно останавливающая внимание русского читателя.

Читая «Иной мир», по временам не можешь отделаться от впечатления какой-то отстраненности автора от того, о чем он рассказывает. В одной из самых волнующих глав — «Дом свиданий» — он сам пишет: «Что еще мог бы я добавить о доме свиданий? Разве что одно: иностранец, я никогда никого не ждал, и, может быть, потому эти мои записки о товарищах по заключению, в радостях и горестях которых я участвовал лишь невольно, так деловито описательны и прямо до боли равнодушны». Эти последние слова можно отнести не только к этой главе. Но «деловитая описательность» и «до боли равнодушные», пожалуй, как раз до боли заставляют проникнуться холодным ужасом происходящего.

Поражает сцена в эпилоге книги: в освобожденном Риме героя (автора?) находит бывший товарищ по заключению и исповедуется ему в своем лагерном предательстве, в результате которого погибли четыре ээка. Вот чего он ждет от бывшего сокамерника: «Расскажи я это кому-нибудь из людей, среди которых сейчас живу, — снова заговорил он тихо, — никто не поверит, а поверит — руки не подаст. Но ты, ты же знаешь, до чего нас довели. Скажи одно только слово: понимаю...» Автор молчит. «Может, я и сказал бы одно это слово, только-только выйдя из лагеря. Может... Но теперь за моей спиной были три года свободы, три года на дорогах войны и в боях, три года обычных человеческих чувств: любви, дружбы, доброты... Дни нашей жизни непохожи на дни нашей смерти. Я с таким трудом вернулся к людям, а теперь должен бежать от них? Нет, я не мог произнести это слово».

Герой книги, молодой польский офицер, отказывается бежать от людей обратно в «Мертвый дом» — но туда своей книгой, приняв мучительный труд вспоминания того, что хотелось бы забыть навеки, несколько лет спустя вернулся автор. Важно отметить, что жанр «Иного мира» сознательно ориентирован на «Записки из Мертвого дома» (недаром им посвящена отдельная глава); урок

каторжной книги Достоевского ощутим и в создании образа героя, который, при всей его автобиографичности, не полностью тождествен автору.

Назвав свою книгу «Иной мир», Густав Герлинг-Грудзинский показывает чужой для него мир, к строительству которого никакого отношения не имел. В этом «ином мире» — Советском Союзе, России, лагере — он, несмотря ни на что, гость. Но то, что могло бы стать слабостью книги, — взгляд со стороны — наоборот, придает ей силу: именно он заставляет нас снова с болью и стыдом задуматься, почему же у нас на родине все это пустило такие глубокие корни...

А.З.

Владимир ТАРАСОВ

АЗБУКА

Иерусалим, 1989.

Значит нам — на ветру,
и сочтем за честь
подарок — колеблемый стебель хрупкий...
Я склонился
в жилках листвы прочесть —
иди, ненасытный,
стынут полные кубки.

Поэтическая повадка странствующего рыцаря. Выспренность, подозрительная зачастую, но у Тарасова она естественна. В слогe пульсирует мощь, разливается царственность. «Только текстам покоя покорна свободная воля». Высокопарный поэт явился.

Сей странствующий рыцарь на защитника униженных и оскорбленных не смахивает. Его вызов — небу. Его презрение — стенам. Его песнь — Духу. Это поэзия испуганной молитвы. Кому? Испугу отыщутся идола.

ты вызовешь к жизни
упругий лук
и тетиву натянув тугую.
целя — так что мы?.. —
пустынь
стрелу во мглу!

О эта ярость обреченных на одиночество! Вера? ей не сладить с гордыней. Нарцисс уходит учеником к Заратустре.

...голод голод
есть било воли!

Раскачиваясь в седле — путь далек, — рыцарь предается метафизике (бормочет заклинания?): «свет существенной жизни», «бука... перст мгновеья...», «я не хочу искать иные смыслы». На привалах он «крутит травку», содрогается в дьявольском хохоте. Иной раз, в меланхолии, берет в руки

творенья разума
и извилин —
там проеден текст,
тут края подгнили
страниц
и они
как ветхие души
на ветерок отзываются —
лучше наших признаний
их белый шелест —
я открыл одну из: какая ересь!

Проезжая селения, он щурится и кривит уста, слушая знаменитых стихоплетов-скоморохов на улицах. Пытается сплунуть пересохшим ртом.

Могучий кашель... Нет слюны...

Сегодня такой литературной позы не встретишь. Раритет. Напоминает раннего Маяковского, Цветаеву. Но откуда эти несносные «соития», «идолы», «черепа», «вихри», «льды», «неги», «недра»? Реинкарнация символизма?

Ну да, конечно же — Белый! С его увлечением Ницше («Ницше — жертвенный предтеча новой моральной эпохи», суть которой «мораль творчества, а не мораль послушания», как писал Бердяев), пафосом эксперимента, поисками новой ритмики, новых интонаций, новой музыки. Белый — отец русского футуризма, один из вождей революции в русской поэзии...

«Ценности смертны. Начнем сначала!» Тарасов готов подхватить знамя. Он отказывается верить в «конец прекрасной эпохи». Эстетике предметности — яд сарказма:

Покрась и ты потолок
в цвет ненастья,
изобрази изморозь и троицу пьяненьких
шлепающих под вывеску «Родная цедильня»,
на жестяном подоконнике, за стеклом
пускай попискивает взмокшая синичка —
будни так жизненны,
кому ни поведай —
всяк кивнет со вздохом.

Книга Тарасова символически завершается рисунком Добужинского, изображающим столб пламени. Братание с Геракли-

том, который был предшественником Ницше и поклонялся огню («Этот космос... не создал никакой Бог и никакой человек, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем...»).

Пламень Духа — вот материя, которую Тарасов стремится освоить (покорить?!). Отравления «скорбным неверием», вроде «Я верю не в непобедимость зла, а только в неизбежность поражения», поэт каким-то чудом избежал, его воля упруга, пафос заразителен: мир сей одухотворен, другого — знать не желаем.

Наум Вайман

Александр МИРЧЕВ

15 ИНТЕРВЬЮ

Нью-Йорк, Издательство им. А.Платонова, 1989

Эту книгу можно было бы назвать «Портреты заговорили» (в конце ее помещены пятнадцать портретов тех, у кого автор книги взял интервью). Это люди, известные в двух мирах: и в Советском Союзе, и на Западе. Среди них имена Бродского, Аксенова, Максимова, Неизвестного... Судьбы их совпали в одном: примерно в одну и ту же эпоху они выбрали для себя нелегкий путь эмиграции.

Советская власть всегда была безжалостна к культуре. Всякий художник в России должен был выбирать для себя: или в той либо иной форме сотрудничество с режимом, или конфликт, который для многих кончался эмиграцией (Макарова, М.Шостакович, Любимов...). Родился даже термин — «культуроцид».

Книга А.Мирчева иллюстрирует это явление. Сколько талантов потеряла Россия за эти десятилетия!

Как говорит Владимир Максимов в своем интервью: «Эмиграция — это состояние не социальное и не политическое, а в первую очередь психологическое. Эмиграция — это состояние побежденных, со всеми, как говорится, отсюда последствиями. Отсюда и все ее проблемы — от взаимных ссор до духовной деградации. Выстоять в этих условиях могут только одиночки, и очень сильные одиночки. Я здесь не имею в виду тех, кто приехал сюда социально адаптироваться. Те выстоят в своем подавляющем большинстве».

Именно картину культурной жизни эмиграции и дает эта книга. Здесь портреты и тех, кто приехал «адаптироваться», и тех, кого Максимов называет «сильными одиночками». В этой же книге автор помещает два интервью с американскими писателями — Куртом Воннегутом и Уильямом Стайроном. Вероятно, этой публикацией автор хотел сопоставить положение художника свободного мира с положением художника-эмигранта, вырванного из своей среды.

Казалось бы, зачем было браться за такую книгу? Сколько интервью уже взято у этих людей! Но А.Мирчев находит особый

подход к каждому. Он делает пятнадцать портретов, из которых складывается впечатление встречи. Вопросы схожие: о детстве, о начале творческого пути, о любимых писателях, об отношении к событиям в СССР, о жизни на Западе. Вопросы, казалось бы, самые общие, но интервью строятся таким образом, что от каждого остается ощущение присутствия, словно беседа происходит на глазах читателя, словно до этого мы все время узнавали о них по слухам, от кого-то, а вот теперь узнали их лично и от них — об их жизни, работе, характере и даже о том, как они друг к другу относятся.

Быть может, кто-то увидит в последнем недостаток книги. Порой собеседники А.Мирчева отзываюся один о другом не очень-то доброжелательно. Но из их высказываний складывается картина их взаимоотношений, обид и неприязней. Автор книги сохраняет нейтралитет, не вычеркивает то, что сказано. Он оставляет за нами право судить о том, кто из интервьюируемых более прав, даже если расхождения во мнениях переходят в грубую бестактность (Э.Лимонов).

Особенно интересными представились бы эти интервью советскому читателю, который из уст самих писателей и художников, несомненно, узнал бы больше того, что о них сейчас пишут (когда пишут, потому что на некоторые имена явственно существует «лимит») в советской прессе.

Ольга Миронова

Юрий ЛИННИК

СМЯТЕНЬЕ

Петрозаводск, «Карелия», 1989.

Книга стихов Юрия Линника знакомит нас с поэтом зрелым, имеющим свой голос, свою тематику, свой взгляд на мир — или на миры. Для его стихов характерно постоянное взаимопроникновение этих многих миров, составляющих Вселенную, — целой их лестницы от макро- до микромира — и присутствующего в них, то деятелем, то наблюдателем, человека.

*В цветах ее нету особого шика. И все-таки их с нетерпением жду.
Трава-фантазерка, лесная ожика, в бутоне своем затаила звезду.*

*Таких не найдете в глубинах Вселенной! Сравните: вот Сириус,
вот Альтаир; а ниже — под сенью сосны высоченной — взошел необычный коричневый мир.*

Это начало стихотворения «Распускается ожика». Запуская ожику в звездное небо, поэт тут же находит и вполне земную, почти техническую — не аналогию, а «разгадку» цветка, подсказанную холодной весной и неожиданным теплом «ранней травки»:

Окрестные лужицы остекленели, но темный цветок с нагревателем схож! Его лепестки — тепловые панели: в их фокусе зябкую завязь найдешь.

«Малую Вселенную» видит поэт (он же в этом стихотворении и фотограф) в цветке купальницы («Поднимаются купальницы»). И опять звездное небо:

Болотце...

И на дне его тритоны...

Насквозь прогрета мелкая вода...

А ночью зеркала ее бездонны:

В лиловых глубях плавает звезда.

Да это ж Альфа самого Цефея!

Весь ромб его так четко отражен.

И в нем висит, от стужи цепenea,

Таинственный гребенчатый тритон.

От Альфы Цефея прямой путь открывается в иные глубины — веков:

Срисуй их профиль. Иль на камне выбей.

Потом через проектор увеличь, —

И мы увидим первых тех амфибий,

Что в тишь вселенной бросили свой клич.

Один, казалось бы, и тот же прием в этих трех соседних стихотворениях, аналогия которого особенно заметна при фрагментарном цитировании и может даже показаться однообразной и слегка навязчивой, но в тексте стихов, в их развитии — он работает, и аналогичность воспринимается не как повторение, но как видение. Этот последний раздел сборника — «Пейзаж» — пожалуй, наиболее совершенен, тропы в стихах наиболее точны, «прецизионны»:

Опять безветрие и гладь... На звезды Лебеда уставясь, как бы рефлектором гигантским лесное стало озеро.

Что в фокусе его найду? Да целый мир: кувшинки завязь. Я сквозь весеннюю прозрачность сегодня вижу далеко.

(«Открываются озера»)

«...зеленую иголочку побега вытягивает солнечный магнит» («Цветет гусиный лук»), «Крапивница выпрастывает крылья, на крыльях поднимается душа» («Пылит пушица»), «Задействован ветер. Сверло лучевое в ходу» («Появляются промоины»), «...припасть к иллюминатору протая» («Сходит снег»), осенняя паучья нить «тянется [...] от Соловков до Валаама. И по ее светопроводу сейчас течет благая весть» («Сентябрь»), «Помнишь? — зорю петух окликает

с насеста» («Горсть земли») — вот лишь несколько тропов, зачерпнутых по одному из стихотворения, да еще не из каждого. Главное, что создает их силу, — то, что поэт знает, о чем и зачем говорит. Редкие, забытые за городской жизнью, иногда чисто северные слова: свиязь, скворцы-сеголетки, рдест, заберег, шуга, упомянутые уже пушица и ожика, мшара, всклень, верболоз, ветер-листобой — не выглядят приплетенными для экзотики, тем более что сочетаются как с уже отмеченной «вечной звездной» лексикой, так и со вполне современной научной и технической: линзы, лекало, перспектива и ретроспектива, голограмма, иллюминаторы и т.д. А главное, никогда не являются самоцелью. Всплеск души может включать редкостную (но, вероятно, не для автора) ожикку, а может обойтись и самыми простыми словами:

*Ночь ожидания. Ночь озарения. Уже не сумерки, еще не свет!
Сейчас у дерева три измерения, — вчера мы видели лишь силуэт!*

(«Светлеет ночь»)

Стихи, условно говоря, чисто космические (своего рода science-fiction) и носящие общественный характер (глубоко благородный), производят более неровное впечатление, чем пейзажная лирика. Они более декларативны, в них больше пустых, проходных мест. Не столь наполненные материально, они не позволяют при чтении забыть о том, что в пейзажных будто и не ощущается: здесь выступает на первый план известная ритмическая и строфическая бедность, которую поэт, видимо, сам чувствует, потому-то и пытается уйти от традиционного четверостишия в... то же четверостишие, размещенное в строчку, иногда для разнообразия разбивая его на два «абзаца» или перебивая несколькими стихотворными строками.

При той основе, которая есть в лучших стихах Юрия Линника, можно было бы понадеяться, что развитие ритмико-мелодического аппарата стихов — «дело наживное». Но мы не знаем ни возраста поэта, ни дат его стихов, из издательской справки узнаём лишь, что это «новый сборник известного карельского поэта», значит, не первый, и можем опасаться, что в чем-то он уже достиг своего потолка. Однако и в этом случае не совсем тщетной остается надежда на «второе дыхание», отталкивание от того (даже лучшего), что у всякого поэта постепенно становится рутинной, и новый прорыв.

Н.Г.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

«КОНТРА», или ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ
(«Contra», №1, 1989, Warszawa, wyd. «Niepodległość»)

Появление в Польше первого, сдвоенного номера журнала «Контра» прежде всего имеет важное историческое значение. Выдвигая конкретную интеллектуальную концепцию, «Контра» дополняет собой явление, не замечаемое или замалчиваемое западными наблюдателями: в Польше сформировалась антикоммунистическая оппозиция. Ее инициаторами были политические группировки, возникшие в результате введения военного положения: крупнейшая из них — «Борющаяся Солидарность», хотя хронологически первой была «Независимость», созданная еще до 13 декабря 1981 года. В последние годы к этому прибавились новые организации: Польская партия независимости, Политическая группа «Самоопределение», Политическое движение «Освобождение», Союз демократов «База», Рабочая группа НСПС «Солидарность» (Рабочую группу создали избранные на съезде «Солидарности» в 1981 году члены национального правления профсоюза, активно участвовавшие в подпольной деятельности времен военного положения, но затем устранившиеся Валэнсой из созданных им руководящих органов «Солидарности». — *Пер.*). Несмотря на идейные различия, отражающие естественное деление на правых и левых, все эти группировки объединяет открыто декларируемая антикоммунистическая направленность, т.е. сознательное стремление к лишению ПОРП власти средствами, адекватными существующему положению, — путем политической борьбы.

Логический результат событий последних лет в Польше — тот факт, что начало вырисовываться новое политическое деление: с одной стороны — ПОРП, т.н. союзные партии и «конструктивная» оппозиция, с другой же — оппозиция «неконструктивная», т.е. антикоммунистическая, называемая также освободительной. Подтверждением единства целей вышеназванных группировок стал выпуск в мае 1989 года ряда общих документов: призыв к бойкоту выборов в Сейм и Сенат ПНР, воззвание к народам Центральной и Восточной Европы (явно продолжающее традиции послания, принятого на 1-м съезде НСПС «Солидарность»), призыв к полякам в свободном мире, письмо президенту Бушу с критикой программной линии радио «Свободная Европа».

Возникновение в Польше — после диссидентской фазы и периода легальной деятельности «Солидарности» (1980-1981) — оппозиции, отвергающей всякие соглашения с властью, либерализацию или же «перестройку» коммунизма, — явление новое, притом в мас-

штабах всего советского лагеря. Этот исторически важный факт западные наблюдатели игнорируют, что, по существу, не удивляет, поскольку западная поддержка реформ внутри коммунизма вытекает прежде всего из того, что «гласность» и «перестройка» отвечают сиюминутным политическим интересам западного мира (им не отвечает, например, перспектива вышедшей из-под партийного контроля дестабилизации в любом из государств блока). Поэтому польская антикоммунистическая оппозиция не имеет ни хорошей прессы, ни могущественных союзников на Западе; о том, что это положение вряд ли изменится, свидетельствует хотя бы поездка президента Буша в ПНР. Но сиюминутная политика — это одно дело; совсем другое — взгляд историка на события в Польше; ему следует обращаться не к западным газетам, а к комплектам «Русской мысли» (наиболее полная информация плюс комментарии по существу развития ситуации в Польше). Он также обнаружит, что антикоммунистическая оппозиция появилась прежде всего в Польше; открытые требования независимости в прибалтийских странах или «Демократический союз» в России — более поздние явления (да и «Демократический союз» не получил на Западе надлежащей оценки — здесь куда популярнее Борис Ельцин).

Это затянущееся вступление сделано, чтобы обосновать, почему так важна «Контра». В то время как антикоммунистические оппозиционные группировки сознают свой характер, свои цели и препятствия на пути к их осуществлению, им до сих пор не доставало сформулированного интеллектуального подхода, на который может опираться политический выбор в конкретных обстоятельствах. «Контра» заполняет этот пробел.

Уже само название журнала однозначно указывает на его идейную принадлежность. Объяснение понятия «контра» (термин, которым по-польски называется, в частности, контрудар в фехтовании. — *Пер.*) дал в свое время Юзеф Мацкевич, можно сказать, духовный отец журнала, — знаток ленинизма и выдающийся прозаик, книги которого являются художественным контрударом по коммунистической системе (со смертью Мацкевича в польской словесности кончилась определенная интеллектуальная формация). Писатель объяснял, что слово «контра» в СССР еще до Второй мировой войны применялось к той части общества, которая, вне зависимости от национальности, сопротивлялась власти большевиков. Подзаголовок нового журнала: «Антикоммунистический политический журнал» — насколько я знаю, тоже уникален на целой территории между Камчаткой и Рейном (в Западной Германии когда-то выходил журнал «Антикоммунист», но уже более четверти века как от него не осталось и следа).

Редакторы «Контры», рассматривая нэп как модель тактических уступок партии (причем нынешний «нэп» универсален: он не только экономический, но и духовный, национальный, информационный), знают, что журнал выходит в невыгодных для него обстоятельствах:

любой нэп снижает привлекательность антикоммунистических позиций, в Польше же, вдобавок, «конструктивная оппозиция» нередко критикует «неконструктивную» резче, чем это делает коммунистическая власть (Лех Валэнса однажды пообещал, что «народ повесит» участников антикоммунистических демонстраций, тогда как в 1956 году после рабочих демонстраций в Познани Юзеф Циранкевич именем партии грозил только тем, что им «руки обрубят»). Обстоятельства для «Контры» трудные, но именно поэтому редакция считает необходимой деятельность с целью «создания подлинной антикоммунистической мыслящей оппозиции». Эта формулировка, пожалуй, лучше всего определяет намерения журнала. Нет сомнения, что большинство поляков на вопрос, за коммунистов они или против, ответят, что против, однако это будет главным образом отрицание условий жизни в ПНР. «Контра» же хочет чего-то большего: она хочет пропагандировать интеллектуальный подход, основанный на знании истории системы и ее методов, на хорошем понимании положения во всем мире (влияние «прогрессивных» идеологий, средств массовой информации, Социалистического Интернационала и пацифистских движений), на осознании связи между свободой личности и благополучием общества и, наконец, на излечении от иллюзий относительно политики Запада, который 70 лет экономически поддерживает коммунизм.

Такой угол зрения создает конкретные предпосылки для того, чтобы отвергнуть «перестройку», «круглый стол», «реформы», проводимые партией. Все это, по мнению «Контры», тактика «отступления для нового разбега», что, впрочем, и сами коммунисты открыто заявляют (*glasnost' oblige*). Запад, однако, не хочет слышать этих заявлений. Высказывания Горбачева не оставляют тут ни малейших сомнений — заинтересованных отсылаю к советской печати, а кому нет времени на разыскания — к номерам «Русской мысли». Не скрывают своих целей и «перестройщики» в ПНР: «Контра» напоминает о письме Ежи Урбана (пресловутый представитель коммунистического правительства по делам печати на протяжении всех последних лет) тогдашнему (самое начало 1981 года) первому секретарю Станиславу Кане. В этом письме предсказаны «демонстративные, смелые, опережающие действия, новаторская демократизация, обретение поддержки умеренных католиков». И все это обеспечит «поддержку для власти». «Для нас компромисс, — продолжал Урбан, — означал бы согласие удовлетворить некоторые требования и окончательное уничтожение других требований». А виднейший советник при руководстве «Солидарности», Бронислав Геремек, ныне возглавляющий ее «парламентскую фракцию», выразил надежду, что «антикоммунизм и в Польше исчезнет».

«Контра» не занимается практической политикой или текущими событиями, которые так приковывают внимание Запада, что он не в состоянии произвести глобальную оценку перемен внутри коммунизма и их стратегических целей (которая, впрочем, пришлась

бы ему весьма не по вкусу). Журнал хочет следовать англо-американской формуле «journal of opinion» (в России в былые времена этому соответствовал «толстый журнал»). Выбор сделан, кажется, верно, и не только потому, что журнал, выходящий с большими интервалами, не поспевает за здободневностью; важнее то, что сам интеллектуальный подход, который предлагает «Контра», дает инструмент для анализа политических фактов. К тому же текущими событиями занимаются другие, более часто выходящие журналы антикоммунистических группировок.

«Контра» программно НЕ вступает в полемику с коммунистами и столь же программно критикует тех не-коммунистов, которые — в силу ли идеального генезиса, конформизма либо политической близорукости — участвуют в спектакле, который ставит генерал Кищак, и этим, по мнению редакции, содействуют выходу системы из кризиса (мотивов, конечно, может быть больше: стать сенатором, даже в ПНР, — не мелочь, не говоря уж о всемирной славе Леха Валэнсы и его советников). Поэтому «Контра» публикует полемику с лидерами «конструктивной оппозиции» (Анджей Целинский, Бронислав Геремек, Яцек Куронь, Адам Михник) и два длинных текста с критикой Ежи Сурдыковского и Стефана Братковского, к сожалению, не слишком удачных: их можно упрекнуть и в растянутости, и в не слишком изысканном полемическом стиле.

«Контра» НЕ критикует деятельности тов. Горбачева, зато рекомендует использовать ее. Но она критикует *реакцию* на Горбачева — и это естественно вытекает из нравственно-интеллектуальных позиций, занятых редакцией журнала. Успехи «гласности» и «перестройки» состоят именно в том, что коммунистическая партия присвоила значительную часть диссидентских лозунгов и западных требований (освобождение политзаключенных, открытость по отношению к Западу, ослабление цензуры, большая свобода информационного обмена). Однако западный мир не хочет замечать ни стратегических целей всей операции, ни верности Горбачева ленинским урокам и поэтому не в состоянии выработать такую реакцию, которая, используя либерализацию внутри советского блока, обеспечивала бы долгосрочные интересы Запада («прогрессивный» Горбачев завоевал для коммунизма — без боев, зато с согласия Запада — Анголу и Намибию, т.е. страны, которые во времена «консервативного» Брежнева еще сопротивлялись советизации, притом силой оружия).

С чем «Контра» борется, так это с полоноцентризмом и польской провинциальностью, которые, кстати, и стали опорой концепции соглашения с партией. У этой концепции долгая история: еще в начале 50-х годов появилась статья Ежи Туrowsича и Станислава Стоммы, где постулировалось сотрудничество католиков, т.е. подавляющего большинства населения, с марксистскими властями при сохранении «идейных отличий», и все это «ради блага нации».

Кроме того, «Контра» хочет показать читателю весь мир — таким, как он есть, т.е. без идеологической призывности массовой информации, где доминируют сторонники «прогресса». Статьи о договоре по разоружению, о роли АНК в Южно-Африканской Республике или об идейном значении популярных на Западе и идущих также в Польшу американских фильмов «Батальон» и «Пропащий без вести» — явления, редкие в польской публицистике.

Много внимания посвящает «Контра» международным делам: Никарагуа («мини-Ялта»), Панама (к генералу Норьега, другу Фиделя Кастро и врагу США, некоторые западные средства информации относятся с немалой снисходительностью), связи Андреаса Папандреу с Организацией освобождения Палестины, уличные бои, устроенные пацифистами в Западном Берлине, деятельность министра иностранных дел ФРГ Геншера («Контра» присудила «премию мира имени Чемберлена» этому некоммунистическому политику, который заслуживает звания Лучшего Друга тов. Горбачева, — Вилли Брандт и весь Социнтерн были исключены из числа кандидатов, так как трудно отличить их взгляды от взглядов самого Горбачева).

Но журнал не ограничивается лишь чисто политической тематикой, он публикует также заметки о популярных среди польской независимой общественности «интеллектуалах» — проводниках «прогрессивного мышления»: о Джейн Фонда, проф. Томпсоне, Льве Копелеве, Бертольде Брехте, Гюнтере Грассе, Герберте Маркузе; размышления о политической линии «Нью-Йорк таймс» или «Шпигеля»; о господстве марксизма в американских университетах. Все это почти не освещается в польской независимой печати. Если прибавить к этому тот факт, что редакторы «Контры» знают:

- к чему стремились африканские сторонники социализма Нкрума и Ньерере;

- что «прогрессист» Мгабе убил в полтора-два десятка раз больше негров, чем полиция ЮАР за всю свою историю;

- чем руководствовались те австрийцы, которые вступали в национал-социалистическую партию;

- что ФРГ, с точки зрения нравственного здоровья, — самая больная страна в Западной Европе;

- что миссис Барбара Микульски, выбранная главным образом голосами балтиморских поляков, — самый просоветский сенатор во всем Сенате США, —

- то можно сделать вывод: в Польше (а наверно, и во всем лагере) такого еще не было.

Особое место занимает в «Контре» проблема польско-русских и польско-советских отношений. Редакция посвящает им отдельную рубрику «Кто враг — Россия или коммунизм?», а сверх того, публикует еще несколько статей и заметок, связанных с этой темой. Точка зрения «Контры» однозначна: она борется с распространенным среди поляков «синдромом Кухажевского» (автора книги «От бе-

лого царизма к красному». — Пер.), согласно которому причины порабощения поляков коренятся прежде всего в зависимости Польши от России, а Советский Союз есть не что иное, как перекрашенная в красный цвет старая Россия, при этом остается в стороне как международный характер коммунизма, так и тот факт, что коммунистическое устройство порождено марксистско-ленинской идеологией. Несколько цитат из статьи «Враг — советские: польские и чужеземные».

Невероятно, но после почти полувека жизни при коммунизме значительная часть польских независимых сил продолжает считать, что борется с „русским империализмом“. Более того, привычка называть Совдепию „Россией“ распространяется и укореняется, а когда ее принимаешь, то остается уже шаг до не имеющих никакой ценности аналогий из нашей прошлой истории. Таким образом укрепляется и антирусская настроенность поляков. [...] Стань правящие Польшей коммунисты независимыми от Кремля, это не принесет нам свободы. Кроме того, не надо забывать, что некоммунистическая Россия (с любым другим строем) не имела бы никакого законного права, а в современном мире — и возможности господствовать над Польшей или, например, даже над Латвией. [...] Если бы сегодня объявился новый Деникин, то, хоть левые во всем мире изображали бы его дьяволом, а многие поляки вспоминали Новосильцева, мы поддержали бы его изо всех сил. „Контра“ — что очевидно — является решительно антисоветской, но отнюдь не антирусской. [...] Мы считаем, что антирусские настроения в сегодняшней Польше хоть и понятны, но, не говоря уже обо всем остальном, довольно бессмысленны. Наоборот, мы считаем, что с освободившимися от коммунизма русскими следует искать таких же контактов и сближения, как с украинцами и литовцами.

На страницах «Контры» присутствуют многочисленные русские авторы, то в виде прямых цитат, иллюстрирующих их отношение к советской власти (Буковский, Максимов, Войнович), то в виде упоминаний и ссылок (Геллер, Солженицын). Журнал помещает также обширное интервью с Владимиром Буковским, которого редакция считает самым выдающимся политическим деятелем среды эмиграции из всех стран советского лагеря.

Чтобы дополнить картину, следует вспомнить, что «Контра» публикует две малоизвестные в Польше исторические статьи Юзефа Мацкевича (о нэпе и о большевистском перевороте), а также помещает ряд переводов текстов западных авторов: Жана-Франсуа Ревеля, Пола Джонсона, Джорджа Уилла, Марка Фалькоффа, Питера Бергера, Джона Р.Сильбера. Большинство их получило на Западе ярлык «консервативных публицистов», что не всегда точно, ибо корни американского неоконсерватизма — в известной степени левые (т.е. «либеральные» в американском значении этого термина), а, например, также цитируемый в «Контре» Сидней Хук — социалист. Редакция считает, что в Польше нужна социалисти-

ческая партия — для воссоздания полной политической панорамы, однако нужно, чтобы это была партия, отвергающая теорию классовой борьбы и диктатуры пролетариата и готовая возвратить социалистическому движению один из его утраченных принципов — сопротивление коммунистическому тоталитаризму.

Успех «Контры» (говорят, только в Варшавском университете было распродано 800 экземпляров), несмотря на высокую цену и большой объем (318 стр.), безусловно вытекает из того, что она предлагает тип интеллектуального подхода, до сих пор в Польше отсутствовавший. Обещанное содержание следующего номера (средства массовой информации и Вьетнам, поражения Запада, обе ближневосточные войны, дезинформация) наверняка обеспечит журналу читателей (если их не испугает объем — в нем должно быть чуть не 700 страниц).

Издательство «Неподлеглось» выпустило также ряд книг: «Почему мы были во Вьетнаме» Нормана Подгореца, «Никарагуа — кровоточащее сердце Америки» Мартина Криле (после публикации книги в Западной Германии автора исключили из СДПГ), «Дорога к рабству» Фридриха Августа фон Хайека, «Дело полковника Мясоедова» Юзефа Мацкевича (перепечатка с книги, вышедшей в издательстве Нины Карсов «Контра»), «КГБ — Марека Цесельчика. Тиражи некоторых книг уже полностью распроданы. То же издательство публикует, кроме того, несколько журналов, в большей степени занимающихся текущими событиями: «Ориентация направо» (вышло уже свыше 40 номеров), «Контра — Информационный бюллетень» (пока три номера), «Депутат ПНР» («номер 1-й и последний»), «Бойкот» (журнал начал выходить перед июньскими выборами 1989 года).

Предполагаю, что, хотя развитие событий в Польше зависит в первую очередь от режиссеров практической политики, для развития свободной мысли немало значит вопрос, найдет ли предлагаемый «Контрой» подход отклик среди интеллигенции. Редакция пишет:

Мы знаем, что Польша лежит на „Востоке“, так же, как знаем всё об интересах, влияниях и т.п. Более того, мы не считаем, что коммунизм — уже „анахронизм“ или „кончается“. Сверх того, мы считаем, что здешнее подразделение коммунистического движения работает нас само по себе, в той же степени, в какой это делает коммунистический центр. Мы знаем все это, но, несмотря на это, считаем, что „сегодняшний порядок“ можно и нужно наконец отвергнуть — для начала в голове.

Еще одно важное явление мы можем наблюдать в Польше, на «опытном полигоне» советской системы: экономическая и экологическая разруха, идеология стыдливо отодвинута на второй план, гражданское общество возродилось, а власть партии — продолжается. Не предвестие ли это новой формы коммунизма, с которой мы вступим в XXI век? Его сила — в слабости мыслящих элит, кото-

рые застыли в заколдованном кругу мышления мнимыми историческими аналогиями и уклоняются от риска потерять привилегированное положение в обществе. Реакция «Контры» — это призыв к отваге и интеллектуальной свободе.

Томаш Мянвич

ТЕЛЕГРАММА...ТЕЛЕГРАММА...ТЕЛЕГРАММА...ТЕЛЕГРАММА...ТЕЛЕГРАММА...ТЕЛЕ

**Ежи Гедройцу, «Культура», Мезон-Лаффит
Ценко Бареву, «Бъдъште», Париж**

Дорогие друзья!

От редакции и редколлегии нашего журнала, от имени авторов призыва в поддержку «Континента» благодарим за полученную от вас финансовую помощь. Радуемся не только деньгам, которые пойдут на наше общее дело, но и тому, что среди первых, кто пришел нам на помощь, — воистину братские редакции журналов польской и болгарской эмиграции, на своем опыте знающие нелегкую жизнь эмигрантской журналистики. Нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность.

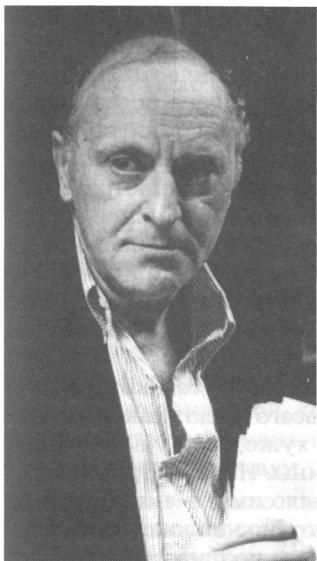
«КОНТИНЕНТ»

НАША АНКЕТА

НИКАКОЙ МЕЛОДРАМЫ

Беседа с Иосифом Бродским

Ведет журналист Виталий Амурский



— Первый вопрос, от которого мне трудно удержаться сейчас, хотя я понимаю, что вы слышите его не в первый раз, связан с вашим жизненным и писательским опытом в эмиграции, в изгнании...

— Действительно, все, что я могу сказать об этом, думаю, я уже сказал на бумаге. Я даже написал специальную работу — «Состояние, которое мы называем изгнанием». Я не говорящий, а пишущий писатель, и поэтому не могу сейчас развернуть эту тему, представлю ее как можно проще.

В этом опыте нет ничего особенного в сравнении с многочисленными перемещенными лицами в мире — с гастарбайтерами, с арабами, ищущими работу во всех странах... Если вспомнить вьетнамцев, сотнями тысяч переезжающих с места на место, если подумать обо всех людях, которые оказались в изгнании, то писателю говорить о его личных условиях в изгнании просто неприлично. Но поскольку именно это является предме-

том вопроса, то могу сказать: это более или менее нормальные условия. Вообще если вы писатель, то всегда так или иначе находитесь среди незнакомцев, даже в своем родном городе. Если вы пишете, вы поэт и т.п., то — писатель в некотором смысле не является активным членом общества, он скорее наблюдатель, и это до известной степени ставит его вне общества. Помимо того, вечером, после рабочего дня, когда вы появляетесь на улице, существуют минимальные ценности, которые связывают вас с людьми вашего родного языка, вашей национальности, вашей расы. Та же ситуация предстает, когда вы идете по улицам чужого города, в чужой стране. Фактически, я бы сказал, это даже легче, более здраво. Писательский процесс остается тем же самым: я просто пользуюсь пером и бумагой, пишушей машинкой — вот и все. Действительно, нет никакой мелодрамы. Думаю, что не стоит распространяться об изгнании, потому что это просто нормальное состояние. Изгнание — это даже лучше для тела писателя, когда он изгнан с Востока на Запад, то есть приезжает из социалистической страны в капиталистическую. Уровень жизни здесь выше и лучше, то есть уже это ему выгодно.

Писатели наших дней, в отличие от тех, которые были в прошлые столетия, чаще всего имеют какую-нибудь престижную работу. Гораздо хуже, если у вас не было известности до отъезда с родины. Но, как правило, высылают именно тех, у кого было имя, — поэтому, я думаю, мы оказываемся в достаточно неплохой ситуации. Можно сколько угодно страдать по своей стране и говорить, что люди тебя не понимают и т.д., впадать в ностальгию, но, я бы сказал, следует идти навстречу реальности, отдавать себе отчет в ней.

Вот и все, что я могу сказать об изгнании. Я могу сказать больше, но зачем?

— После получения Нобелевской премии — изменилось ли что-то в вашем подходе к творческой работе, наметились ли новые темы? Как вам пишется сейчас?

— Нормально. Так же, как всегда писалось. Может быть, я пишу чуть меньше, но длиннее.

Говорить о тематике трудно. Стихотворение — это скорее лингвистическое событие. Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи — о Времени. О том, что Время делает с человеком. Каждый год, на Рождество, я стараюсь написать по стихотворению. Это единственный День рождения, к которому я отношусь более или менее всерьез.

— Этому, надо полагать, есть причина?

— Вы знаете... это самоочевидно. Не знаю, как случилось, но, действительно, я стараюсь каждое Рождество написать по стихотворению, чтобы таким образом поздравить Человека, Который принял смерть за нас.

— Тем не менее, как мне кажется, тема христианства — в традиционном понимании — не обозначена достаточно отчетливо, выпукло, что ли, в вашей поэзии... Или я ошибаюсь?

— Думаю, что вы ошибаетесь...

— Не могли бы вы сказать об этом подробнее?

— Я не буду пересказывать содержание своих стихотворений, их форму, их язык. Не мне об этом судить, не мне об этом рассуждать. Думаю, она как-то проявляется в системе ценностей, которые в той или иной степени присутствуют в моих произведениях, которые мои произведения отражают...

— Входящий в число глубоко почитаемых вами поэтов Осип Мандельштам, по утверждению его вдовы Надежды Яковлевны, несмотря на свое еврейское происхождение, глубоко принял православие и был «христианским поэтом». С таким, на мой взгляд, категоричным и несколько суженным представлением о нем сложно согласиться, читая отдельные стихи 30-х годов, «Четвертую прозу», «Египетскую марку»... А как вы, автор пронизанного глубокой внутренней болью «Еврейского кладбища в Ленинграде», пришли к христианству? Как оно, если позволите так выразиться, осознаётся вами?

— Ну, я бы не сказал, что высказывание, которое вы процитировали, справедливо. Все зависит от того, как узко или широко понимать христианство, как узко или широко понимала его Надежда Мандельштам в том или ином контексте. Что касается меня — в возрасте 24 лет или 23-х, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. То есть метафизические горизонты иудаизма и христианства произвели довольно сильное впечатление. Или — не такое уж сильное, по правде сказать, потому что так сложилась моя судьба, если угодно, или обстоятельства: Библию трудно было достать в те годы — я сначала прочитал Бхагавад-гиту, Махабхарату, и уже после мне попала в руки Библия. Разумеется, я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно... Я бы, надо сказать, почаще употреблял выражение иудео-христианство, потому что одно немыслимо без другого. И, в общем-то, это примерно та сфера или те параметры, которыми определяется моя, если не обязательно интеллектуальная, то, по крайней мере, какая-то душевная деятельность.

— *Ваша литературная работа не ограничивается поэзией. За последние годы вы написали немало статей, эссе, составивших довольно большой том, вышедший в Соединенных Штатах под названием «Less Than One» («Меньше, чем единица»), опубликованный в Западной Европе, в частности во Франции, под заголовком «Loin de Byzance» («Далеко от Византии»).* Нельзя при этом не обратить внимания на две стороны вашей прозы. Во-первых, большинство вещей написано по-английски. Во-вторых, в ряде из них с особой остротой повествуется об отдельных биографических моментах вашей юности, о родительском доме, о послевоенном быте... Словно душа ваша бежит постоянно в те края, в те годы... Впрочем, схожая ностальгическая нота в вашей поэзии прозвучала довольно дав-

но, в пору создания «Школьной антологии», и потом как-то затихла... Однако в первую очередь хотелось бы понять, чем оказалось вообще вызвано ваше обращение к прозе: чувством ли, что та или иная тема требует особого жанрового подхода, либо желанием углубиться в иную языковую стихию?

— Я постараюсь ответить на это, но думаю, что ответ будет несколько разочаровывающим. Дело в том, что я начал писать прозу исключительно по необходимости. Вообще мною не так много написано, и написано, как правило, по заказу — для англоязычной аудитории. То есть либо надо было написать рецензию на ту или иную книгу, на произведение того или иного автора, либо предисловие (что до известной степени есть скрытая форма рецензии), либо послесловие. При этом, как вы знаете, когда вам заказывает статью газета или журнал, ее нужно написать к определенному сроку. Разумеется, я мог бы сначала писать по-русски, перевести на английский, напечатать в двух местах и таким образом загребсти побольше денег. Но все заключается в том, что к сроку таким образом никогда не поспеешь, и поэтому я принялся — примерно года с 1973-го, если не ошибаюсь, а может быть, даже раньше — писать прямо по-английски. Среди этих статей, видимо, две или три действительно относятся к тому месту и к тому периоду, о котором вы говорите, то есть к послевоенному периоду. Первая статья, которую я написал по своему внутреннему побуждению и которая дала название сборнику, — это «Less Than One», и вторая — «A Room and a Half». Я уже не знаю, почему, но мне захотелось в английском языке запечатлеть то, что в английском никогда запечатлено не было, да и по-русски не особенно, хотя, впрочем, я думаю, что существует масса литераторов, которые этим периодом занимаются. Мне просто захотелось оставить на бумаге в другой культуре то, что в ней не должно быть теоретически. Да... Это с одной стороны. С другой стороны, вторая статья, «Полторы комнаты», — это памяти моих родителей, и я ее писать по-русски прос-

то не мог, и я в тексте объясняю причину, по которой не могу и не хочу писать о своих родителях по-русски, учитывая то, что с ними сделала, с одной стороны, политическая система в России; с другой стороны — не просто политическая система... Это свидетельствует о некоем более обширном феномене, явлении... Я хотел, по крайней мере, освободить своих родителей от России таким образом, чтобы просто их существование стало фактом английского языка, если угодно. Может быть, я немного переоценивал, преувеличивал свои возможности. Но, тем не менее, думаю, мне удалось сделать то, к чему я стремился.

Статьи в сборнике написаны преимущественно по-английски, за исключением, по-моему, статьи о Марине Цветаевой — это комментарий к ее стихотворению «Новогоднее», и это переведено на английский. И еще одна статья, «Путешествие в Стамбул», была написана по-русски, но при переводе на английский я назвал ее «Бегство из Византии», несколько удлинил и, как мне кажется, даже улучшил.

Собственно говоря, никаких границ между прозой и поэзией в моем сознании не существует. Что касается «Школьной антологии» — к сожалению, мне не удалось ее закончить, даже не успел ее по-настоящему начать: там, собственно, только пять или шесть стихотворений. Я предполагал «сделать» целый класс, но это было тогда, там — и сейчас писать, продолжать я просто не в состоянии. Я просто не знаю, что произошло со всеми этими людьми, я не в состоянии уследить или достаточно узнать о них, фантазировать же мне не хочется.

Что касается вообще повествования как такового, то есть рассказа, я могу это делать и в стихах, и в прозе. Иногда... ну, просто устаешь от стихов... Более того, когда вы пишете прозу, то, в общем, возникает ощущение, что день более оправдан. Потому что, когда вы пишете стихи, там, скажем, все очень шатко и очень неуверенно. То есть вы не знаете, что вы сделали за день или

чего не сделали. В то время как прозы всегда можно написать две страницы в день.

— Вы сказали, что не могли и не хотели писать о своих родителях по-русски и сделали их существование фактом английского языка. Эссе «Полторы комнаты», в котором такая идея была реализована, датировано 1985 годом. Однако четыре года спустя, в августе 1989 года, у вас родилось стихотворение «Памяти отца: Австралия». Оно написано именно по-русски. Таким образом (пользуясь вашим определением стиха), можно ли считать, что в данном случае произошло не только лингвистическое событие?

— Я думаю, прежде всего не следует эти вещи смешивать, потому что в одном случае речь идет о прозе, а в другом о стихах. Несколько стихотворений о родителях, о членах моей семьи... несуществующей... я писал и до и после. Так что, в общем, это процессы разнообразные, не надо их принимать как противоречие.

— В начале нашей беседы, говоря о писательском процессе, вы заметили как о само собой разумеющемся, что пользуетесь пером, бумагой, пишущей машинкой. Это, понятно, нормальный набор «инструментов» любого автора. Интереснее и важнее другое: как, каким чудом, где и когда чаще всего приходят к вам строки? За рулем машины, в транспорте, в уличной суете, в тишине ночной квартиры?

— Ночью я, как правило, сплю. А иногда, действительно, некоторые строчки приходят в голову в транспорте, иногда дома, за столом и т.д. Как я пишу? Я просто не знаю. Я думаю, что стихотворение начинается с некоего шума, гула, если угодно, у которого есть свой психологический оттенок. То есть в нем звучит как бы если не мысль, то, по крайней мере, некоторое отношение к вещам. И когда вы пишете, вы стараетесь на бумаге к этому гулу более или менее приблизиться, в известной степени рациональным образом. Кроме того, я думаю, что не человек пишет стихотворение, а каждое предыдущее стихотворение пишет следующее. Поэтому

главная задача, которая, наверное, стоит перед автором, — это не повторяться; для меня каждый раз, когда этот гул начинает звучать, он звучит несколько по-новому...

— *Существует, образно говоря, еще «шум литературы», в котором вы, видимо, распознаёте близкие вам по духу голоса Одена, Мандельштама, Цветаевой... На сегодняшний день к ним добавились какие-то новые голоса?*

— Вообще никаких новых голосов я назвать не могу. Вы перечислили те, которые звучали всегда. Ну, может быть, я добавил бы кого-то к этому перечню, потому что он в самом деле полнее. Но никаких новых голосов — ни русских, ни английских, ни немецких, ни французских и т.д. — я не зарегистрировал за последние два или три года.

— *Как вы расцениваете тот факт, что в Советском Союзе стали публиковаться ваши стихи? Ваше отношение к такому поэтическому возвращению на родину?*

— Для меня оно не является неожиданностью. Это меня радует приятным образом, естественно. Я предполагал, что так или иначе это произойдет, но не предполагал, что так быстро. Уезжая, покидая отечество, я написал письмо тогдашнему генеральному секретарю ЦК, Леониду Ильичу Брежневу, с просьбой позволить мне присутствовать в литературном процессе в своем отечестве, даже находясь вне его стен. На это письмо ответа тогда не последовало — ответ пришел через шестнадцать лет...

— *На сегодняшний день у вас нет никаких официальных приглашений посетить Советский Союз?*

— Официальных нет. Неофициальных — тоже.

— *Этот вопрос я уже задавал вам в Стокгольме, в день получения вами Нобелевской премии, и тогда, помню, вы не ответили на него с достаточной ясностью. Сейчас же мне хочется повторить его: если бы приглашение вы получили, вы бы туда поехали?*

— В этом я, говоря откровенно, сомневаюсь. Потому что я не могу себя представить в положении туриста в стране, в которой я родился и вырос. Других вариантов

на сегодняшний день у меня нет и, полагаю, уже никогда не будет. Кроме того, я думаю, что если имеет смысл вернуться на место преступления, потому что там могут быть зарыты деньги — или уж не знаю почему преступник возвращается на место преступления, — то на место любви возвращаться особого смысла нет. Я ни в коей мере не противник абсурда, не противник абсурдизации существования, но не хотел бы, по крайней мере, быть ответственным за это. По своей воле вносить дополнительный элемент абсурда в свое существование особенно не намерен.

— *Всё же вы, насколько я знаю, небезразлично относитесь к тем событиям, которые происходят в «Империи» — в Советском Союзе и вообще в странах Восточной Европы. Не случайно же оказалась написана пьеса «Демократия!»...*

— Это правда. Я отношусь к этому с интересом, с любопытством. Некоторые события приводят меня в состояние абсолютного восторга, как, например, перемена государственного порядка в Польше, в Венгрии, то, что происходит на сегодняшний день (когда мы говорим с вами обо всех этих делах) в Германии... Но, в общем, одновременно с чрезвычайно активными сентиментами, у меня как бы рождается мысль с... опасениями... Я опасаясь не того, что, скажем, все переменится — власть в Москве, кто-то пожелает снова ввести войска в Европу и т.д., и т.д. Меня несколько тревожит то, чем все это обернется в случае «торжеств справедливости» во всех этих странах, в том числе в России. Представим себе, что там воцарится демократический строй. Но в конце концов демократический строй выразится в той или иной степени социального неравенства. То есть общество никогда, ни при какой погоде счастливым быть не может — слишком много в нем разных индивидуумов. Но дело не только в этом, не только в их натуральных ресурсах и т.д. Я думаю, что счастливой экономики не существует, или она для данного общества может носить чрезвычайно ограниченный, изолированный характер. Бла-

гополучие может испытывать семья, но уже, скажем, не квартал — в квартале всегда возникнут разнообразия. Поэтому я просто боюсь, что в состоянии эйфории те люди, которые предполагали, что они производят поворот на 180 градусов, могут довольно скоро обнаружить, что поворота на 180 градусов не существует, потому что мы есть человечество. В определенном социальном контексте любой поворот на 180 градусов — это, в конце концов, всегда поворот на 360 градусов. Вполне возможно, что возникнет к концу века ситуация, которая существовала в начале века, то есть при всех демократических или полудемократических системах (как даже и в России зачатки прививались): снова появятся оппозиционные партии и т.д., и т.д., но все это будет носить уже количественно несколько иной, видимо, более драматический характер, потому что изменилась демографическая картина мира, изменилась, грубо говоря, к худшему, то есть нас стало больше.

— *Вернемся, однако, к камням старой Европы... Вы уже не в первый раз в Париже, во Франции. Какие чувства вы испытываете, приезжая сюда?*

— Весьма смешанные. Это замечательный город, замечательная страна, но в чисто психологическом плане — это ощущение трудно определить — я постоянно ощущаю свою несовместимость с этим местом. Не знаю, чему это приписать. Может быть, тому, что я не знаю языка, и прежде всего именно этому?.. Вероятно, это и есть самое главное объяснение. Но, думаю, что, и зная язык (хотя, впрочем, я не хотел бы фантазировать подобным образом), я ощущал бы себя здесь если и не абсолютно аналогично, то близко к этому. Не знаю, как сказать, но, если оценивать свое существование, свои склонности рациональным образом, я, видимо, человек, принадлежащий к другой культуре, если угодно. Не знаю, к русской или английской, но это, во всяком случае, не французская культурная традиция.

— *Можно сказать, что тени великих французских писателей, мыслителей вас не трогают?*

— Это неправда. Но их не так много. Никого не было лучше, чем Паскаль, — это один из главных для меня авторов вообще во всей истории христианского мира или мировой культуры. Но, в общем, французская поэзия, особенно современная, оставляет меня достаточно холодным. Во многих отношениях, полагаю, я — продукт французской литературы XVIII-XIX веков. Это неизбежно для любого мыслящего существа.

Французская же культура вообще, хотя это и диковатый взгляд — смотреть на целую национальную культуру, оценивать ее, но поскольку ваш вопрос ставит меня в это положение, — представляется мне скорее декоративной. Это культура, отвечающая не на вопрос: «Во имя чего жить?» — но: «Как жить?»

— *Человек во Вселенной представлялся Паскалю как нечто «среднее между всем и ничем» («un milieu entre rien et tout»).* Эта мысль, полагаю, не прошла мимо вас?

— Эта мысль не прошла мимо меня, действительно...

По, так сказать, стандартной церковной (христианской) иерархии человек стоит ближе к Богу, чем ангел, потому что он сам создан по образу и подобию Божьему, чего нельзя сказать об ангеле. Вот почему, допустим, Джотто живописует ангелов без второй половины тела. У них, как правило, голова, крылья, немножко торса... То есть серафимы, херувимы и т.д. — более ничто, чем человек. Что же касается человека во Вселенной, то сам он ближе к ничто, чем к какой бы то ни было реальной субстанции. Но все это чистый солипсизм, и только человек себя сам представляет, и, что бы он о себе ни сказал, в том числе Паскаль, — это всегда предмет полемики, умозаключения. Поскольку же мы говорим в этих рамках, в рамках умозаключений, то одно умозаключение стоит другого.

Думаю, что всякая оценка более или менее интересна только тогда, когда известен возраст человека, который ее дает. Также я полагаю, что книги, например, надо издавать с указанием не только имени автора, названия романа и т.д., но и с указанием возраста, в кото-

ром это написано, чтобы с этим считаться. Читать — и считаться. Или не читать — и не считаться.

— Оставаясь в теме разговора о французских авторах, которая, естественно, дает возможности отклоняться к более широким вопросам, в том числе вопросам творческим, я хотел бы спросить о влиянии на вас Анри де Ренье. В одном из своих интервью вы как-то заметили, что наряду с Бахом (и до известной степени Моцартом) именно у него вы научились конструкции стихотворения...

— Пожалуй, не стихотворения, а вообще принципу конструкции.

Довольно давно (мне было примерно лет 25) мне в руки попались три его романа, переведенные Михаилом Кузминым. Действие двух, по крайней мере, происходило зимой в Венеции, а в третьем — кажется, в Виченце или Вероне. Но не в этом дело. Видимо, в то время я находился в стадии весьма восприимчивой. Во всяком случае, на меня произвело впечатление то, как эти книжки были сконструированы: это были типичные произведения европейской литературы, скажем, 10—20-х годов. Книжки были довольно тонкие, и вообще все, что в них происходило, развивалось довольно быстро. Главы — в полторы-две страницы. То есть это было в сильной степени нечто противоположное традициям русской литературы, прежде всего русской прозы — по крайней мере, как мы ее застали в XX веке. Разумеется, там были пильняки, бабели и т.д., и т.д., но это на меня не производило особого впечатления. Тут же все было очень ясно — я понял одну простую вещь: в литературе важно не только, что ты рассказываешь, но, как в жизни, — что за чем следует. То есть очень важно именно чередовать вещи, не давать им затягиваться. Именно этому, думаю, я научился до известной степени у Анри де Ренье. Или, по меньшей мере, он оказался в тот момент тем, у кого я смог это усвоить.

— Тот факт, что обращение к Анри де Ренье у вас произошло через Кузмина, позволяет сделать предположе-

ние, что к этому мастеру вы обнаружили в те годы особый интерес...

— Нет... Как поэт, Кузмин на меня довольно долго не производил никакого впечатления. По крайней мере, в тот период, о котором мы говорим, то есть между двадцатью и тридцатью, я его довольно мало читал, а то, что читал, мне не представлялось чрезвычайно интересным, вызывало даже некоторое раздражение. Почему, думаю, моя реакция была такова? Просто потому, видимо, что в те времена меня — человека молодого, развивающегося — занимала в большей степени дидактическая сторона искусства, в ущерб чистой эстетике. То есть я думал, что эстетика — это средство дидактики или, по крайней мере, нечто вторичное. Потребовалось некоторое количество лет, пожалуй, целое десятилетие, пока я не дошел, что называется, «собственным умом» до переоценки Кузмина...

— *Иными словами, он возвысился в ваших глазах?*

— Чрезвычайно! Я считаю, что это замечательный поэт, один из самых замечательных поэтов XX века...

Вообще мы, русские, находимся в довольно шикарной или, скорее, чрезвычайно интересной ситуации. Русская поэзия обеспечила русского читателя невероятным выбором. Выбор — не в том, какие стихи тебе больше нравятся: вот я буду читать этого, а этого читать не буду. Дело в том, как это ни странно, что нация, народ, культура во всякий определенный период не могут себе позволить почему-то иметь более чем одного великого поэта. Я думаю, это происходит потому, что человек все время пытается упростить себе духовную задачу. Ему приятнее иметь одного поэта, признать одного великим, потому что тогда, в общем, с него снимаются те обязательства, которые искусство на него накладывает.

В России произошла довольно фантастическая вещь в XX веке: русская литература дала народу, ну, примерно десять равновеликих фигур, выбрать из которых одну-единственную совершенно невозможно. То есть все эти десять, скажем — шесть, скажем — четыре, являют-

ся, на мой взгляд, метафорами индивидуального пути человечества в этом мире.

Что такое вообще поэт в жизни общества, где авторитет Церкви, государства, философии и т.д. чрезвычайно низок, если вообще существует? Если поэзия и не играет роль Церкви, то поэт, крупный поэт как бы совмещает или замещает в обществе святого, в некотором роде. То есть он — некий духовно-культурный, какой угодно (даже, возможно, в социальном смысле) образец.

В России возникла ситуация, когда вам даны четыре, пять, шесть, десять возможных идиом существования. На этих высотах иерархии не существует. Невозможно, например, сказать, что (то есть я бы сказал, конечно, но это уже в полемическом пылу) Цветаева лучше поэт, чем Мандельштам. Поэтому, например, я не ставлю Кузмина выше других, но не ставлю его и ниже.

— Примерно представляя круг ваших литературных привязанностей, я хотел бы вас спросить о ваших склонностях в музыке, живописи. В какой степени они присутствуют в вашей жизни, как отражается их влияние?

— Думаю, я продукт всего этого. Продукт этих влияний. Это даже не влияние — это то, что определяет и формирует.

Но, занимаясь генеалогией и перечислением, кто, что и когда, скажу, что именно на сегодняшний день или, по крайней мере, на протяжении последнего десятилетия мне дороже всего в искусстве.

В музыке это, безусловно, Гайдн. Я считаю его одним из самых выдающихся композиторов. В полемическом пылу или для того, чтобы сагитировать публику относительно Гайдна, я мог бы сказать, что он интереснее, чем Моцарт или, допустим, Бах. Но на самом деле это не так — опять-таки на этих высотах иерархии не существует! Чем Гайдн мне привлекателен? Первое — тем, что это композитор, который оперирует в известной гармонии, как бы сказать?... — гармонии баховско-моцартовской, но, тем не менее, он все время неожиданен. То есть самое феноменальное в Гайдне — что это абсолютно не-

предсказуемый композитор. Вы никогда не знаете, что произойдет дальше. Это примерно то, что меня и в литературе интересует и в некотором роде перекликается с тем, что я сказал вам об Анри де Ренье.

Что касается музыки XX века, то у меня нет никаких привязанностей ни к кому. За исключением, пожалуй, «Симфонии псалмов» Стравинского.

В живописи это всегда был (думаю, уже на протяжении лет двадцати) самый замечательный, на мой взгляд, художник — опять-таки мы говорим о старых добрых временах, о Ренессансе в данном случае, — Пьеро делла Франческа. Одно из сильнейших впечатлений — то, что для него задник, архитектура, на фоне которой происходит решающее событие, которое он живописует, важнее, чем само событие или, по крайней мере, столь же интересно. Скажем, фасад, на фоне которого распинают Христа, ничуть не менее интересен, чем Сам Христос или процесс распятия.

Если говорить о XX веке, то у меня довольно много привязанностей. Наиболее интересные явления для меня — это Брак и несколько французских художников (в общем, наиболее интересная живопись в этом веке была именно французская): Дюфи, Боннар. И Вюйяр, конечно. Но это — другое дело. Там, скорее, литографии...

Это, конечно, чисто субъективно. Но это перекликается более или менее с эстетикой той изящной словесности, которая мне интереснее всего на сегодняшний день. То есть совмещение определенной старомодности, общего пространства, фигур и т.д. как, например, у Боннара, с эффектом моментального прозрения, который мы находим у Дюфи — такое нечто буддийское, типа сатори, — и совершенно замечательной реконструкции мира, драматического, но без какого бы то ни было перегиба, нажима, как у Брака.

Вот эти три элемента, которые мне чрезвычайно дороги, и это то, в чем я себя узнаю.

— Вы много путешествуете, побывали в разных уголках земли. Судя по вашим произведениям, одни из них

оказались отмечены неизгладимыми впечатлениями — Венеция, Рим, Северная Англия... Париж, как было замечено, вызывает у вас весьма смешанные чувства, но и тут, очевидно, вы получили большой эмоциональный импульс — трудно иначе представить, как бы, например, могли появиться «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»... Но, может быть, все это результат более или менее преходящих ощущений, связанных с тем или иным моментом жизни, внутреннего состояния. Однако меня не покидает чувство, что ваше особое — сентиментальное — отношение остается постоянным именно к Северной Европе («В северной части мира я отыскал приют, в ветреной части, где птицы, слетев со скал, отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют с криком поверхность рябых зеркал», «О облака Балтики летом! Лучше вас в мире этом я не видел пока...»).

— В общем, да... Но я бы этого не преувеличивал. То, что касается Скандинавии, то это просто экологическая ниша. Я чувствую себя там совершенно естественным образом.

Стыдно и неловко об этом говорить, но думаю, что я вообще человек англоязычного мира и не случайно произошло то, что произошло. То есть на это можно смотреть как на нелепый прыжок судьбы, но мне в нем видится некоторая закономерность.

— Исходя из банальной аксиомы о связи судьбы поэта, художника с его творчеством, я хотел бы сейчас спросить вас еще вот о чем. В своем недавнем стихотворении «Fin de siècle» вы пишете: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я...» Тема смерти неоднократно находила место в вашем творчестве, однако, как мне кажется, она еще никогда не обнажалась так остро. Или, по крайней мере, не имела такого конкретного временного выражения...

— Ну, это совершенно естественно... Это не моя «заслуга», а — как бы сказать? — «заслуга» хронологии. То есть, действительно, столетие кончится через одиннадцать лет, и я, думаю, этих одиннадцати лет не проживу. Всё. Мне 49 лет, у меня было три инфаркта, две

операции на сердце... Поэтому у меня есть несколько оснований предполагать, что я не проживу еще столько...

— *Тем не менее, хочется верить, что вы не отказываетесь строить какие-то планы на будущее?*

— Вот этого как раз я и не делаю. Декарт говорил: «Dum spiro spero» — «Пока дышу — надеюсь». Но на этот счет есть еще другое замечательное выражение у английского философа Фрэнсиса Бэкона: «Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин».



IMPRIMEUR
70001 VESOUL

Achevé d'imprimer en janvier 1990
Dépôt légal n° 3616

В ПОДДЕРЖКУ «КОНТИНЕНТА»

Дорогие друзья!

Пятнадцать лет назад, при финансовой поддержке известного немецкого издателя Акселя Шпрингера, группа свободомыслящих представителей интеллигенции Востока и Запада основала литературный, политический и религиозный журнал «Континент», в редколлегию которого вошли такие известные люди, как Роберт Конквест, Артур Кестлер, Владимир Буковский, Сидней Хук, Армандо Вальядарес, Норман Подгорец, Александра Толстая и большинство из нас, подписавших это письмо.

Журнал поставил своей целью объединить интеллектуальные силы Востока и Запада в их борьбе за демократию. На протяжении пятнадцати лет «Континент» выходил не только по-русски, но и переводился на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, греческий, голландский, португальский, польский, норвежский языки. На его страницах публиковались Александр Солженицын, Ален Безансон, Владимир Максимов (главный редактор журнала), Клод Симон, Сол Беллоу, Мстислав Ростропович, Василий Аксенов, Александр Галич и многие другие всемирно известные авторы. Их выступления в журнале имели огромное влияние на мировое общественное мнение.

К сожалению, после смерти Акселя Шпрингера его наследники в конце концов решили прекратить финансирование журнала по экономическим, а возможно, и политическим причинам. Общеизвестно, что издание такого рода на Западе не может приносить какого-либо дохода, принимая во внимание, что большая часть тиража посылается в Россию и Восточную Европу бесплатно.

Мы убеждены, что в настоящее время такой журнал, как «Континент», может и должен оказывать влияние на процесс демократизации в Советском Союзе и Восточной Европе.

Многие писатели на Востоке и на Западе крайне заинтересованы в публикации своих работ на страницах журнала. Редакционный портфель «Континента» полон рукописями как уже известных, так и молодых авторов из России, восточноевропейских и западных стран. Для них и их читателей было бы большим разочарованием, если бы «Континент» прекратил свое существование.

Мы надеемся, что в этот критический период вы придете журналу на помощь и окажете ему серьезную финансовую и политическую поддержку.

*ИОСИФ БРОДСКИЙ, МИЛОВАН ДЖИЛАС, ЭЖЕН ИОНЕСКО,
ЧЕСЛАВ МИЛОШ, АНДРЕЙ САХАРОВ*

Взносы можно направлять на банковский счет Фонда друзей «Континента»: «Les Amis de la revue Continent», N°3.726130.8, Société Générale, Agence AG, 45 av. Kléber, 75116 Paris, FRANCE

или на счет ассоциации «Континент-США»: Kontinent-USA, N°23920090, Meritor Bank, 4301 Connecticut Ave. N.W., Washington D.C., 20008 USA

Владимиру Максимова

Дорогой Володя!

.....

Я не буду сейчас говорить о всех злободневных публикациях историков, критиков, писателей и поэтов, которые печатал Ваш журнал. Много он сделал нужного и доброго! И должен существовать и делать! Нужен и должен! И любой здравомыслящий и интеллигентный человек должен это понять! И помочь! Помочь выжить не просто журналу, а СЛОВУ! Слову правды. И очень оно нам нужно. Очень! Думаю, что «Континенту» должны помочь не только люди, любящие Россию, а все, кто любит живое Слово и борется за правду.

Передаю в поддержку журнала «Континент» десять тысяч ам. долларов.

Успехов журналу!

Верю в его живучесть!

Еще не вечер!

С уважением

Михаил Шемякин

20 ноября 1989 г.

В ответ на это письмо от авторов призыва
В ПОДДЕРЖКУ «КОНТИНЕНТА» (см. 3-ю стр. обложки)
поступили отклики благодарности, напечатанные
в русской эмигрантской прессе.

Со следующего номера «Континент» начнет регулярно
публиковать списки жертвователей.

Этот, 62-й номер журнала издан на личные деньги
В.Е.Максимова и Н.Е.Горбаневской.